

Библиотека журнала «Путь»

*Фридрих
Ницше*

ТАК ГОВОРИЛ
ЗАРАТУСТРА

СТИХОТВОРЕНИЯ



Москва
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА «ПРОГРЕСС»

ББК 87.3
Н 70

Переводы *Я.Э. Голосовкера* и *В.Б. Микушевича*
Подготовка текста *А.В. Михайлова*
Научная сверка *Е.В. Ознобкиной*
Редактор *В.П. Гайдамака*
Художник *В.К. Кузнецов*

Ницше Ф.

Н70 Так говорил Заратустра: Пер. с нем. — М.: Издательская группа «Прогресс», 1994. — 512 с.

Н $\frac{0301000000-122}{006(01)-94}$ без объявл.

ББК 87.3

- © Материалы архива С.О. Шмидта
- © Подготовка текста, комментарии, предисловие. А.В. Михайлов
- © Перевод стихотворений. В.Б. Микушевич
- © Оформление. Издательская группа «Прогресс», 1994

ISBN 5-01-004250-9

Вместо предисловия

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О КНИГЕ НИЦШЕ

...Ich will nicht vermischt und verwechselt werden.

...Я не хочу, чтобы меня смешивали и путали с другими.

Ф. Н и ц ш е. Так говорил Заратустра

Публикуемое нами произведение — это памятник. И притом памятник сразу же нескольких великих дел — не мертвый памятник мертвого, а памятник-воплощение живых дел. Тот текст, который мы издаем, — памятник сразу двоим его творцам. Один — немецкий философ, филолог и поэт Фридрих Ницше (1844—1900), слишком хорошо известный у нас по одному своему имени, а другой — Яков Эммануилович Голосовкер (или Яков Голосовкер, как пишет он себя на титульном листе книги Ницше) (1890—1957), философ, филолог и поэт, многострадалец, свергнутый в мучения борющимся с духом и духовностью временем¹.

Перевод книги Ницше, подготовленный Я.Э. Голосовкером, — необыкновенный. Переводчик предполагал выпустить его в свет и был поддержан в такой своей иллюзии авторитетными в те времена деятелями — А.В. Луначарским и Г. Лукачем. Перевод предназначался для издательства «Academia», и на титульном листе рукописи стоит год — 1934. Книгу намеревались издать тогда в серии «Мастера стиля». Разумеется, она так и не уви-

¹ О Я.Э. Голосовкере теперь написано превосходное эссе: Н. В. Б р а г и н с к а я. Слово о Голосовкере // Вопросы философии, 1989, № 2, с. 106—110. См. также: Н. В. Б р а г и н с к а я. Об авторе и о книге // Я.Э. Голосовкер. Логика мифа. М., 1987, с. 188 — 206.

дела свет, и сейчас, глядя на это уже довольно далекое время, мы можем думать, что не было, вероятно, другого года, когда появление такой книги в России было бы менее своевременным и вместе с тем более своевременным, менее уместным и более уместным, менее подходящим и более подходящим. Год великого голода и ненасытных репрессий, когда большинство жителей страны по закону извечного человеческого привыкания притерпелись уже к тому месту, где привелось им жить и где нещадно вытаптывался всякий вольный дух, — и тут же еще опасный сосед, фашистская Германия, где настоятельно пропагандировали имя Ницше: стечение обстоятельств, в которое, словно в какую-то жуткую пасть, нелепо и страшно бросать мысль именно в той форме, какую придает ей книга Ницше «Так говорил Заратустра»

Перевод, выполненный Я.Э. Голосовкером, был необыкновенным и неповторимым. Именно поэтому он в известном смысле никак не устаревает, а тоже остается памятником мысли и стиля. Создавая свой перевод спустя неполные полвека после того, как Ницше написал и издал свою книгу, — 1883—1885 годы, — Я.Э. Голосовкер все еще оставался в предельной близости к кругу мыслей и образов ее, он загорался ими, он волновался ими и ими же увлекался к дерзко-вольному словотворчеству уже в стихии русского языка, вторя немецкому автору уверенно и смело. Голосовкер был конгениален Ницше, а это означает не то, что он был таким же «гениальным», как порой неверно понимают это слово, а то, что он был одержим тем же духом, что и Ницше. Конгениальность означает родство, возникающее на очень глубокой почве с общими корнями, сходство восприятий, мыслительных ходов, эстетических реакций, — это родство и позволяет с уверенностью и с убежденностью следовать за каждым витком впечатлевающейся в слове мысли, даже и за каждым странным вывертом ее, и глубоко верить в образный строй

книги и каждого ее отрывка, каждой ее фразы. Родство это простирается от малого до великого, от порывов чувства и той формы, какую они принимают, до целого — до того мифотворчества, в какое облекается все движение мысли.

И Ницше, и Голосовкер творили мифы — первый тогда, когда философски мыслил, второй — даже и тогда, когда стремился отдать точный, научный ответ в том, что такое миф. Так это сделала сама история культуры: эстетически чуткие и податливые на новые веяния времени личности как раз и ощутили новую возможность мифа, то есть живой образной схемы, которая самой же этой личностью и изобретается, придумывается, однако с ясным ощущением того, что такая живая образная схема содержит в себе непреложность и непременность для всех. Только если Ницше жил в самом начале этого нового периода мифотворчества и был едва ли не первым, малопонятным поначалу представителем его в философии, то Голосовкер оказался, пожалуй, в арьергарде всего этого движения, ядро которого относилось к рубежу XIX—XX веков. Голосовкер как бы запаздывал, но этим он для нас теперь и ценен. Он не просто был хорошо осведомлен о том, что такое миф, из истории культуры, из книг, но внутренне, интуитивно знал, что такое миф. Не всякое знание одинаково хорошо передается — рационально, в изложении; иногда требуется, чтобы личность совпала с какой-либо главной тенденцией эпохи, ее культуры, — тогда складывается впечатление, что мыслитель прямо черпает из сокровищницы времени, для других недоступной. Вот эпоха и позволяла узнать, что же такое миф. Таким же глубоким внутренним ощущением того, что есть миф, отличался и Алексей Федорович Лосев (1893—1988), наш великий философ и филолог, к счастью доживший до наших дней. Чтобы разуть суть мифа, нужна была и предельная эстетическая тонкость ощущения, музыкальность слу-

ха, простирающаяся и на мысль, хотя бы и самую отвле-
ченную, — такой музыкальностью, каждый по-своему,
отличались и все названные нами мыслители: Фридрих
Ницше, Я.Э. Голосовкер, А.Ф. Лосев. Со своей музыкаль-
ностью мысль проникает в уголки, неведомые другим, она
конкретна и детальна и потому может становиться поэти-
ческой, а твердое и уверенное знание того, что такое миф,
и с другой стороны велит ей быть поэтичной — творить как
образ и даже сюжет то, что иным покажется необяза-
тельным, недоказуемым, малоубедительным — на ху-
дой конец вообще непрочитываемым.

Поэтому чтобы по-настоящему оценить перевод Го-
лосовкера, надо хорошо знать или, вернее, ощутить, че-
го хотел достичь Ницше своей книгой, как он вообще
думал, как писал, как творил: все это доходит до самой
фактуры книги, которую нельзя изменить. Хорошо чув-
ствуя это, Голосовкер создавал перевод буквальный,
или буквалистский. Это соответствовало переводче-
ским тенденциям 1920—1930-х годов, но здесь оказа-
лось как нельзя более кстати: важен ведь не какой-то
общий стилистический итог того, что пишет Ницше, и не
какой-либо общий смысл написанного им, но доводимая
до последней чувственной выявленности фигура напи-
санного, потому что и она сама есть слагаемое общего эс-
тетического впечатления, потому что и в ней продолжа-
ется тонкая, слишком тонкая работа мысли. В своем
буквализме Голосовкер заходил очень далеко, притом
вполне оправданно: в этой первой публикации его пере-
вода, рассчитанной на самого широкого читателя, мы не
могли последовать за ним во всем, не решаясь, к при-
меру, воспроизвести следующую особенность его пере-
вода. Передавая сложное немецкое слово двумя или
тремя русскими, Голосовкер соединяет их дефисом и
воспринимает их как ритмическое единство, как смыс-
ловую неразложимость. Этот нарочитый, если не ска-
зать вычурный, прием особым образом членит фразу и

создает свой смысловой эффект. Тем не менее для первого ознакомления с непростым текстом Ницше в переводе Голосовкера такой прием был бы, на наш взгляд, чрезмерным, — возможно, как последняя капля, он переполнил бы терпение читателей.

Весь этот оправданный буквализм перевода вынуждает нас сначала немного сказать о форме и стиле произведения Ницше, прежде чем мы перейдем к его содержанию и идеям.

Фридрих Ницше был большим мастером афоризма, афористической формы, а в книге «Так говорил Заратустра» он пользуется такой формой особым способом. Многие читатели, видимо, заметят, что изложение книги по-своему приглядывается к Библии, воспроизводя ее деление на главы и так называемые стихи — здесь небольшого размера отрезки, иной раз не заключающие в себе и целого предложения. В этом внешнем уподоблении собственного текста библейскому сказалось, конечно, высокое мнение Ницше о своей книге и ее предназначении. Библия — это основной текст всех христианских вероисповеданий, Ветхий Завет — основной текст иудаизма, исторический Заратустра был основателем великой религии древнего Ирана¹, и сам Ниц-

¹ О Заратустре см.: И. С. Брагинский. Древнеиранская литература // История всемирной литературы, т. 1. М., 1983, с. 252—271; М. Бойс. Зороастрийцы. Верования и обычаи, 2-е изд. М., 1988. Наш выдающийся иранист покойный Иосиф Самуилович Брагинский полагал, что Заратустра в книге Ницше имеет все же известное отношение к древнеиранскому Заратустре: «Поскольку можно судить, особенно по первым главам его книги, кое-что в ней отражает традиционную биографию пророка. В главе «О сверхчеловеке и о последнем человеке» (то есть в «Предисловии Заратустры». — А.М.) также можно проследить реальное отражение гимнов Заратустры... Но элементы подлинного историзма переплетаются у Ницше со своевольным толкованием учения Заратустры» (И. С. Брагинский. Из истории персидской и таджикской литератур. М., 1972, с. 91).

ше весьма близок к тому, чтобы свою книгу считать основополагающей если не для религии, то для мировоззрения будущего, пусть даже и отдаленного будущего. Для Ницше этот его текст безусловно сопоставим по значению с библейским, и отсюда подражание его внешнему строению. Правда, членение Библии на главы и стихи не принадлежит ей исконно — оно было произведено значительно позднее, в Средние века и в эпоху Возрождения, однако для Ницше было важно то, что в сознании его современников такие членение и строй были неразрывно связаны с Библией.

Но, вторя Библии, Ницше достигает совсем иного результата: созданные им главы и «стихи» отнюдь не похожи на библейские, и это тоже входило в намерения писателя. Нет другой книги, где было бы меньше последовательного повествования, эпического покоя, рассказа, пусть даже и самого возвышенного, или летописной «информативности», чем в книге Ницше. Напротив, здесь кипит гимническая страстность, небывалое воодушевление и такая взволнованность, которая, кажется, вот-вот обернется срывом голоса. И притом, в отличие от Библии, тоже не чуждой временами ни страстности, ни порыву, ни накалу чувства (Псалмы Давидовы!), в книге Ницше за всю эту приподнятость несет ответ исключительно личность с ее индивидуальным голосом, да еще личность, которая противопоставляет себя всем остальным, которая одинока в целом мире и говорит только от имени человеческой общности отдаленнейшего будущего! Как чувствует, ощущает и переживает себя этот одинокий «субъект», — все это перенесено в текст, в его строение — вплоть до правописания, до знаков препинания, до расположения текстов на странице.

Все сделано для того, чтобы передать читателю впечатление, будто всякий текст Ницше повисает в вольном воздушном пространстве, что он царит в нем, не смотря на всю свою внутреннюю напряженность. Сам

текст словно говорит: все, что заключаю я в себе, идет от меня, ничто постороннее на меня не влияет и не может повлиять. Вольно размещаясь в свободном, легком пространстве, текст как бы заявляет свои права и на это пространство — символически присваивает его себе. И он, текст, выговаривает себя совершенно, полно! Однако — и это второе впечатление — такой совершенно выражающий себя текст отнюдь не закончен в себе, он чужд пластичности, объемности: мало того, что весь он порыв, — а этому противоречила бы классическая изваянность текста, — ему и нельзя выговориться до конца, потому что он слишком многое берет на себя и выражает такую великую мысль, что та как бы уходит в бесконечность. Она простирается в бесконечность и уходит в будущее — так как она, эта мысль, загадывает себе будущее. И вот все расположение текста с его библейскими по своему образцу главами и стихами должно дать явное представление о том, как начатая, но все продолжающаяся и, в сущности, никогда не кончающаяся мысль переходит в вольное пространство и простирается в будущее: отсюда и три звездочки, поставленные в завершение каждого текста, причем поставленные именно так, чтобы текст не закруглялся и подытоживался ими, но чтобы он помнил о продолжении и не знал покоя. Вот, пожалуй, единственный момент, в котором пространство чуть сопротивляется тексту: эти звездочки поддерживают всякий текст, пружиня, и не дают ему завершиться, замкнуться в себе, не дают мысли закруглиться, но любой отрезок текста, любой его фрагмент передают следующему.

К звездочкам, отмечающим условную завершенность отдельных отрезков, прибавляются еще многообразные средства, с помощью которых Ницше отмечает переход в «пространство» и отдельных абзацев, и «стихов», высказываний. Тут он пользуется и точкой с тире, и точкой с двумя тире, обходится порой без всякого

знака, удовлетворяется иногда самой обыкновенной точкой или изредка запятой; он начинает новый абзац с заглавной буквы, а иногда с тире, и все это, кажется, с капризным непостоянством и наобум. Так это и есть, потому что «ум», который регулирует все это распределение значков, всю эту интерпункцию на границе абзацев (или «стихов»), и есть «каприз» полновластно правящего в этом пространстве субъекта, который, разумеется, не просто хочет заявить о своей полновластии, — хочу, мол, так и поступаю, — но который каждый миг вслушивается в свои желания, настроения, в свои прихоти, в ритм своего внутреннего протекания, в гладкость и дробность этого потока и в соответствии с услышанным выставляет свои знаки препинания. Так что здесь перед нами не что иное, как весьма красноречивое символическое выявление внутренней жизни такого субъекта — носителя ощущений и носителя мысли, причем все это во внутреннем единстве и сплошном переходе. Разумеется, всю эту произвольность и бессистемность, с которой расставлены на гранях разделов текста знаки препинания, необходимо со всей дотошностью воспроизводить, потому что сама бессистемность есть здесь система и потому что каждый такой знак, поставленный, казалось бы, совершенно произвольно, обращает наше внимание на конкретность тончайшего движения мысли-чувства. Всякий знак, всякая комбинация знаков (например, точка с тире) подобны видимому жесту. Несомненно и то, что нередко такие жесты предполагают уже немыслимую степень нашего вчувствования в текст, уже невероятную способность читателя проникать в дух произведения. Но и такие чрезмерные ожидания только соответствуют поэтике произведения Ницше. А поэтика Ницше соответствует духу эпохи и очень рано, новаторски схватывает и постигает этот дух.

«Так говорил Заратустра» — это целая эпоха из истории человеческой личности, которая переживает свои периоды и в каждом таком периоде по-своему ощущает и по-своему понимает, истолковывает себя. «Зацепившись» за знаки препинания, мы уже сказали что-то об этой личности, — она ведь и лежит в основе произведения, она отражается в нем, увлеченно воспроизводя себя. Она очень глубока, эта личность, а глубина ее открывается прежде всего потому, что такая личность глубоко всматривается и внимательно вслушивается в себя; это личность, давно уже завоевавшая себя, давно уже привыкшая ощущать себя единственной владелицей своего внутреннего мира, на который никто да не смеет посягнуть, и теперь продолжающая устраиваться внутри этого своего мира. Устраиваясь, она открывает все новые и новые свои богатства, и весь мир для нее — это прежде всего ее внутренний, бесконечно богатый, мир. Так понимает личность, так толкует человека эта эпоха: так умирает солдат у Льва Толстого — за долю секунды, разделяющую пулевое ранение и смерть, душа, прежде чем расстаться с телом, успевает пробежать целую жизнь и охватить целый мир своих переживаний. Но вот что показательно: душа в эту роковую минуту повернута внутрь себя, занята внутренним, протекающим в ней процессом, она наблюдает себя и все содержание мира извлекает из своего внутреннего, в ней бесконечно текущего процесса. Только потому, что это так, и писатель тоже способен перенестись в такую наблюдающую саму себя человеческую душу, и только потому, что человек в эту эпоху вообще так понимает, так истолковывает себя, подобному самоанализу может предаваться и писатель, и его герой, и умирающий на поле сражения солдат.

Ницше не изобретает тут ничего нового, только эта ситуация у него еще больше углубляется, то есть личность у него еще зорче и внимательнее к себе и еще бо-

лее замкнута на себя. Герой Ницше, его Заратустра, уже совершенно изъят из мира и свой мир строит только по собственному желанию и воле. Так же и вообще философствует Ницше: словно изъясв себя из мира и наблюдая ход своей мысли — как протекает он в своей капризной произвольности. Иной раз Ницше-философ задевает локтями своих противников, своих недругов, и точно так поступает его Заратустра: все встречи и столкновения Заратустры с окружающим миром происходят словно во сне, и мы не можем узнать, где кончается мир представлений этого героя и где рассказывается нечто «объективное». Все внешнее вошло внутрь мира личности, которая беспрестанно наблюдает, толкует и анализирует сама себя, но и более того — творит миф своей внутренней действительности.

Эта личность — *экстатическая*. Это означает, что она свое существование истолковывает как экзистенцию, как выхождение за пределы самой себя, и как состояние экстаза, то есть выхода за пределы самой себя. Такой экстаз можно понять как непрестанную экспансию личности, которая распространяет свое влияние на мир и не довольствуется данностью, тем, что она имеет, тем, что она сама есть. Такая экспансия прекрасно согласуется с устремленностью личности внутрь себя, в свои глубины и в свои скрытые от нее же самой тайны. Экстатический мир личности и завоевывается ведь именно как мир личности, ей принадлежащий, как ее внутренний мир. Существование как экзистенция характеризуется тем, что личность никогда не бывает равна самой себе — она одновременно больше и меньше себя, она всегда — в порыве к большему. То, что Ницше называет «волей к власти», и есть философское, метафизическое выражение такой устроенности человеческой «экзистенции».

Здесь мы подходим уже к собственно философскому содержанию книги Ницше, которое — в этом можно

быть твердо убежденным — захватывает всю книгу в целом как некоторое построение, как некоторую внутреннюю устроенность текста, включая даже знаки препинания и осмысление пространства, в какое погружен этот текст. Воля к власти — это основная черта человеческого существования, не равного самому себе и рвущегося завоевать себя и все свое. Личность заведомо уверена, что она богаче того, что она знает о себе, — на такой психологически осмысленной почве осмысляется здесь древний призыв: «Познай себя!» Личность познает себя как экзистенцию. Или, что для нее то же самое, как волю к власти. Итак, эта воля к власти есть воля к овладению самим собою, к овладению всем своим миром. Вот первый и главный смысл ницшевской воли к власти. Вслушиваясь и всматриваясь в саму себя, поглощенная этой деятельностью, личность здесь, конечно, знает только саму себя. Этот мир солипсизма, если вспомнить модное некогда словечко, — мир, в котором есть только одна личность; она и знает только сама себя, и познает сама себя, она одна только и властвует в своем мире, и борется за власть в своем мире; она одна только и стремится к тому, чтобы в своем существовании быть больше самой себя.

Этот «экстатизм» как самоистолкование личности был в 1880-е годы уже разлит в воздухе европейской культуры. Разумеется, он редко когда мог достичь той таинственной ясности, какую обретает он у Ницше. Я.Э. Голосовкер, который досконально знал тут всю суть дела, писал так: «Для чудесного мира мифа характерны еще две черты: явность тайного и тайна явного. Такова эстетическая игра чудесного»¹. Когда Ницше пишет: «воля к власти», — то он уже вступил в область такого мифа. Миф сам толкует себя и сам же одновремен-

¹ Я. Э. Г о л о с о в к е р. Логика мифа. М., 1987, с. 32.

но загадывает свою загадку. Загадка мифа не такова, чтобы она когда-либо разгадывалась и мы оказывались на развалинах разгаданного и тем самым объясненного до конца, ликвидированного мифа. Миф — это такая загадка, которая предлагается для все нового и нового разгадывания, но не может быть разгадана окончательно. Мы можем только что-то объяснить в мифе, показать, откуда и куда он идет: здесь, говоря о личности, мы видим, что она истолковывает себя и что ее истолкование начинает приобретать форму мифа. Форма разрастается и, будучи самодовлеющей, художественной, не может быть ужата, сокращена, сведена к кратким положениям. Вся в целом книга «Так говорил Заратустра» и есть такой миф истолковывающей себя личности — миф как самоистолкование личности. Можно сказать также, что это проекция самой личности, ее портрет, как сама она понимала себя и умела истолковать себя.

В России дух экстазма великолепно выразил Александр Николаевич Скрябин — всем своим творчеством, и прежде всего своей «Поэмой экстаза» (1905), в которой находит воплощение присущий самонаблюдающей, самоистолковывающей личности порыв к будущему. Этот порыв как решительность движения вырастает на таинственных, полных мистического смысла, тихих томительных звучаниях, словно сосредоточенных на себе, словно внимательно слушающих самих себя. Поэтика экстазического в европейском искусстве рубежа веков и основывается на этом феномене как бы самовслушивающегося и сосредоточенно наблюдающего за самим собой звука и слова: Клод Дебюсси завершает в 1894 г. симфоническую поэму «Послеполуденный отдых фавна» по стихотворению Стефана Малларме, и, слушая это произведение, можно только удивляться тому, с какой точностью поэтика его, сама динамика его погруженности в себя предвидена, уже воссоздана в литературном произведении Ницше «Так говорил Зара-

тустра», — не говоря уже о том, что здесь можно найти и те же идиллические, полные сладостного томления эпизоды, что и у Малларме — Дебюсси. Как поэт, Ницше стал одним из основоположников новой художественной поэтики творчества, а в то же время создал произведение, весь принципиальный философский смысл которого стал вырисовываться лишь значительно позднее.

К той же метафизике человеческого существования относится и другое понятие, или образ, Ницше — понятие сверхчеловека. Оно точно так же характеризует экстатическую человеческую личность, постигающую себя как таковую; однако сверхчеловек — это итог самопознания такой личности, идеал ее. И коль скоро существование выходящей за свои пределы личности нацелено на будущее, то познавший себя человек и есть человек будущего. Сверхчеловек — это человек, уже извлекивший из себя, в своей воле к власти, свои возможности быть больше того, что он есть.

Разумеется, такой человек не имеет ни малейшего отношения к биологии, к эволюционной теории Дарвина и т.п., с чем легко смешивали ницшевское разумение человека в век дарвинизма. И сам Ницше, говоря о «пестовании» (*Zucht*) нового человека, подсказывал современникам слишком краткие и близорукие способы истолкования своих представлений. Однако немецкое слово подразумевает отнюдь не только выведение новых пород или видов, но и дисциплину: дисциплинируя себя, то есть подчиняя себя воле к власти и борьбе за власть (с самим же собою!), человек, как мыслил его Ницше, устанавливает себя на то, чтобы быть больше самого себя, и умеет удержать за собой эту новую высоту. В этом смысле такой познавший себя человек, умеющий утвердить в себе такое самознание, и есть сверхчеловек. Как можно судить по поэме Клода Дебюсси, да и по некоторым текстам самого же Ницше,

поэтика экстаза далеко не всегда предполагает какую-то нервную взвинченность, истерику или даже возвышенный пафос стремления к цели. Экстаз может протекать порой и в умиротворенных формах. Но экстатическому человеку, который живет пониманием своих устремлений к высшему и большему и который таким путем утверждает себя и свой мир перед лицом решительно всех, очень просто сорваться на крик, истерику и как бы сорваться с цепи: он как-никак должен вытеснить из мира всех остальных, а такая — пусть и внутренняя эпохой — задача весьма двусмысленна. Ницшевское презрение ко всему серому, среднему, усредненному, жалкому, филистерскому, низкому укрепляется его метафизикой и становится своего рода жизненной позой. Сам Ницше, измученный многими болезнями, почти неработоспособный в течение долгих лет, почти инвалид, часто попросту срывается, и такие срывы ложатся бременем на его философскую мысль, отягощая ее моментами жестокости, бесцеремонной нетерпимости. Всякий раз ницшевская метафизика срывается на моральное и тогда выглядит аморализмом. Хотя смысл философии заключался совсем в ином — в том, чтобы возвысить человека или даже заставить человека подняться до самого себя, то есть до уровня заданных ему возможностей! Когда Ницше рассуждает о войне (также и в книге «Так говорил Заратустра»), то такие рассуждения со злонамеренной поспешностью представляют как защиту войн. Однако коль скоро вместе с персонажем книги Ницше, да и вместе с самим ее автором мы перенеслись в область мифа, нам не позволено вырывать из этого философско-поэтического мира какие-либо частности, заявляя, что они относятся не к мифу, а к самой действительности. Когда Ницше говорит о войне, то он имеет в виду не войну как реальность истории XIX века — сам он как санитар участвовал во франко-прусской войне 1870—1871 гг. и был внутрен-

не глубоко подавлен ее реальностью, — а известное изречение Гераклита о войне (Полемос) как принципе различения вещей: «Война — отец всех, царь всех: одних она объявляет богами, других — людьми, одних творит рабами, других — свободными» (фрагмент 53 в новом переводе А.В. Лебедева¹).

Здесь будет кстати сказать о том, как часто читали Ницше и как нельзя его читать. В романе Леонида Добычина «Город Эн» (1935) есть такой эпизод: «Кондратьева, вскочив с качалки, побежала к нам. Мы похвалили садик и взошли с ней на верандочку. Там я увидел книгу с надписями на полях — «Как для кого!» — было написано химическим карандашом и смочено. — «Ого!» — «Так говорил, — прочла маман заглавие, — Заратустра». — Это муж читает и свои заметки делает, — сказала нам Кондратьева... У Кондратьевых был кто-то именинник. Толчая была и бестолочь. Я улизнул в «приемную». Там пахло йодоформом. «Панорама Ревеля» и «Заратустра» с надписями на полях лежали на столе»².

Этот эпизод романа относится к самому началу XX века: провинциальный интеллигент, врач, читает тогдашнюю новинку — русский перевод книги Ницше. Эта книга, лежащая на столе, потом еще несколько раз возникает в романе: на полях ее, может быть и вовсе не дочитанной до конца, потом дети рисуют свои картинки. Но манера чтения, подмеченная зорко наблюдавшим мелочи писателем, вызывает усмешку поспешностью реакции: казалось бы, хорошо, что книга задевает за живое и заставляет откликаться, когда вызывает несогласие, — однако реакция явно поспешна и слишком непосредственна для такой книги, как «Заратустра», она разрывает ткань произведения и отрицает и уничтожает

¹ Фрагменты ранних греческих философов, ч. I. М., 1989, с. 202.

² Л. Д о б ы ч и н. Город Эн. Рассказы. М., 1989, с. 35, 39.

его как целое. Между тем мы уже видели, какого рода целое составляет это произведение, — оно уходит в область мифа, трудно поддающегося интерпретации и вообще не поддающегося до конца разгадке, но и в этой области как бы плавно переходит в пространство, в бесконечность. Именно поэтому вырывать что-то отдельное и частное из такого целого, торопиться соглашаться или не соглашаться с отдельными высказываниями автора — дело неуместное для интерпретации, а для понимания и вовсе пустое. Увы! германист, представляющий русскому читателю произведения немецкой литературы, то и дело вынужден объяснять, что эти произведения — трудные, а потому требуют к себе внимательного, особо бережного, неторопливого отношения. Так устроена эта литература, в чем можно видеть ее достоинство или, может быть, недостаток. Разве что Э.Т.А. Гофмана не приходится так представлять, потому что все читают его охотно и с удовольствием, он не требует толкований и совсем не труден. Однако не только русский провинциальный врач, но и немецкие профессора долгие годы упорно читали Ницше именно так — «точечно», вырывая фразы из контекста, не находя ключа к тексту. А ключ — это уходящее в бескрайность целое текста.

Только путая Гераклита со второй — или с первой мировой войной, можно было превратить Ницше-антимилитариста в проповедника войны. Только так — Ницше — врага Германской империи и немецко-прусского императора — в их пропагандиста. Только так ненавистника немцев, который даже считал зазорным для себя считаться немцем и был уверен (ошибочно!) в своем польском происхождении, — в германского националиста. Только так — юдофила Ницше в юдофоба, то есть ценителя евреев — в антисемита. Но недаром же Ницше считал лучшим из поэтов Генриха Гейне и уверял, что уже повстречаться с евреем — благодеяние судьбы.

Трудно найти человека — философа или писателя, — который говорил бы о немцах столь резко и оскорбительно, как Ницше! Поэтому, читая Ницше, мы должны собрать все свое внимание и, главное, не торопиться.

В Ницше, наверное, много болезненного; сам называя себя «декадентом» и непременно выписывая это слово по-французски (само явление пошло ведь из Франции), Ницше сознавал свою болезненность: может быть, есть что-то неестественное в той колоссальной дистанции, которую как высоту все снова и снова старается взять Ницше — из глубины болезней, лишаящих его сил, унижающих, пригибающих к земле, и до абсолютного здоровья «сверхчеловека», превышающего в себе человеческую обычность, человеческую норму. Ницше возвысился даже до того, чтобы идеей «вечного возвращения всего» благословить все сущее и живое, — тогда все, что ни есть, даже все самое среднее и пошрое, все-таки в конечном счете достойно того, чтобы быть: жизнь хороша сама, как она есть, со всеми ее изъянами, пороками. Это высшее усилие мысли Ницше, и ему наверняка присуще что-то нездоровое: чрезмерно много нервных усилий, переломов и преломлений, слишком много «злобного коварства» (любимое выражение Ницше) тратит он на свое восхождение к высшему, к здоровью. Вообще говоря, экстаз, исхождение есть нечто одностороннее, пока он не уравнивается возвращением к себе, а у Ницше такого равновесия нет и в помине, как нет его и во всей литературе, и во всем искусстве, и во всей эстетике экстаза на рубеже XIX—XX веков. Во всем этом большая односторонность, сплошной порыв, сжигающее себя пламя. Во всем этом есть и след, прожитой опыт французского декаданта 1880-х годов, декаданта, разрушающего гармонию покоя и разделяющего лень и порыв, идиллию и борьбу. Все это есть и в Ницше. Но ведь мы не обязаны «оп-

равдывать» его во всем, а только должны самую односторонность его уметь прочитывать предельно многогранно.

Тем, кто привык слышать стереотипные приговоры Ницше, возможно, будет удивительно услышать о том, что вся поэтика и эстетика Ницше — это поэтика и эстетика героического. Ведь героическое по тривиальным представлениям никак не вяжется с декадансом! Но героическое у Ницше и есть преодоление декаданса через движение вверх, к здоровью, к самоутверждению, это борьба за самого себя как за «сверхчеловека» в самом себе, борьба за самопознание-самодисциплину, борьба, которую можно было бы назвать самоотверженной, если бы, по понятию Ницше, то не была борьба во имя себя, борьба за самоутверждение. Человек в этом порыве ввысь — согласно метафизике существования, экзистенции, экстаза — берет на себя весь риск своего существования. Существование человека проникнуто риском и полно героического. Этот риск вечного накала в порыве к высшему пьянит, а отсюда постоянные образы *духовной* одержимости и опьяненности: предпоследний из входящих в книгу «Так говорил Заратустра» текстов, переведенный у нас как «Песнь бродящих в ночи» (один из возможных вариантов перевода, соответствующий оригиналу книги), более известен под названием «Опьяненная песнь», и такое наименование вновь великолепно передает в целом всю эстетику, все умонастроение экстаза.

Как бы ни искажался Ницше своими первыми толкователями, его эстетика героического экстаза была безошибочно вычитана в его произведениях, и она произвела колоссальное впечатление на умы Европы. Что тут говорить, если в России наряду с А.Н. Скрябиным, уже подготовленным к восприятию ряда идей Ницше духовной традицией крайнего спиритуализма, идеи героического экстаза были усвоены и А.М. Горьким, причем они вошли в самую глубину его произведений. И знаме-

нитые слова из пьесы «На дне» — «Человек — это звучит гордо!» — конечно же выражают собой суть взглядов Ницше. Человек, о котором заходит речь в этом столь выразительном восклицании, — это и есть человек, стремящийся превзойти себя в борьбе за себя же, человек, желающий и «волящий» большего от себя и в себе. Не приходится и говорить о том, что подобная откровенная, прямолинейная фраза была бы немыслима в творчестве русских классиков XIX века. Однако у А.М. Горького, этого великого писателя, характер творчества заметно меняется, приобретает новые черты; в творчестве писателя появляется возможность прославления «чистого» героизма вообще, чего прежде не бывало в русской литературе, но одновременно как-то особо и, возможно, не без влияния Ницше, усложняются, или обостряются, образы героев — так, что в персонажах обретаются — совсем непосредственно, или почти совсем непосредственно — задатки как положительных, так и отрицательных, дурных характеров. Они резко сталкиваются с другими и вместе явно не уживаются. То и другое словно болтается внутри личности, и одно может неожиданно просматриваться через другое. Личности — с резкими углами. Хотя все это в творчестве Горького создается на основе реалистического образа: внутрь его сплошной и жизнеподобной цельности закрадывается такая возможность сбоев и переосмысления. Достаточно сравнить с этим хотя бы то, как часто в книге Ницше освещение и оценка событий и характеров меняются на противоположные (особенно в четвертой, сказочно-мифологической книге «Заратустры», предоставляющей до какой-то степени возможность очеловечивания символически-экстатических персонажей повествования). Экстатизм Ницше может проникать, таким образом, и в традиционно-реалистическое литературное творчество, воспринимающее веяния новой эпохи.

Естественно, что влияние Ницше на европейскую культуру, особенно на западную, было в сущности универсальным, а формы преломления творчества Ницше — почти бескрайне разнообразными. Это и должно было быть так, если принять во внимание, что влияние Ницше не было, по существу, целостным, — это сейчас мы приближаемся к тому, чтобы распознавать его противоречивую и сложноустроенную целостность, — но раскладывалось на отдельные моменты и мотивы, включая и мотивы совершенно искаженного, почти полностью ложного истолкования Ницше. То, что при этом книга «Так говорил Заратустра» нередко находилась в самом центре внимания, легко объяснимо, — ведь эта книга представляет собою предельный и единственный во всем творчестве Ницше пример поэтически-философского произведения, где стороны, поэзия и философия, встречаются в единстве, где ни одна сторона не перевешивает. «Так говорил Заратустра» — эта книга попала в центр внимания читателей, привлекая своей ложной понятностью: на деле, именно вследствие единства ее поэтически-философского мифа, это, пожалуй, наиболее сложное создание Ницше. Срединное по своему положению в творчестве Ницше, оно содержит в себе всю полноту его философских идей.

Одной из идей, медленно вызревавших в мысли Ницше, была идея переоценки всех ценностей. Именно так должен был называться капитальный его труд, обдумывавшийся им в последние годы сознательной деятельности. Этот труд должен был представить всю сумму философии Ницше. Однако эта идея присутствует и в книге «Так говорил Заратустра» — не столько излагается, сколько именно присутствует как глубокая основа мысли, к которой философ должен подходить с самых разных сторон, пытаясь осмыслить ее. Коль скоро идея переоценки всех ценностей получает здесь философски-поэтическое освещение, этим уже оправдано централь-

ное положение книги во всей истории восприятия философии Ницше. И вот почему: то характерное для Ницше самопонимание человека, человеческой личности, о каком уже шла речь, имело еще некоторые важнейшие стороны. Поразительным образом эти стороны связывают Ницше со всем мировосприятием его эпохи, — однако так, что это нисколько не умаляет его роли первотворца и первоосмыслителя нового человеческого образа.

Каков же этот образ человека? Вместе со всей естественной наукой своего времени — а она тут прокладывала пути новому образу человека или даже, скорее, проявляла, выводила наружу то, к чему склонялись сами же люди середины XIX века, помимо всякой науки, — Ницше был убежден, что человек — существо исключительно посястороннее, что у него чисто чувственная, материальная основа. Может быть, кому-нибудь покажется странным, что таков был взгляд философа-«идеалиста», но это так. Вот он, человек: он брошен в этот мир, и ничего, кроме этой чувственности и материальности, у него и рядом с ним нет. Нет и ничего потустороннего, нет ни богов, ни бога, ни судьбы — вообще нет ничего, что бы извне, как сила духовная, определяло жизнь человека и историю людей. Можно думать, что сам экстатический образ человека у Ницше возник как бы на внезапно освободившемся пространстве, — человек растет ввысь, может превышать самого себя, свою сущность именно потому, что «наверху» нет никакого сдерживающего его или направляющего его начала: человек сам определяет свое бытие, но между тем определяет и *все* бытие. Бытие это в некотором, весьма глубоко, отношении есть все равно что *ничто*, все равно что опустошенность, из которой исчезло все само по себе высокое, идеальное. Однако главный факт — это то, что человек предоставлен сам себе. Хочет он того или нет, он управляет собой, управляет историей, он берет

и себя, и свою историю в свои руки: он единственный, кто может обладать ею. Поэтому ницшевский «сверхчеловек» (породивший в истории мысли такую путаницу) — это всего лишь человек, до конца осознавший свою роль в мире и понявший, что он, и только он — хозяин своей судьбы и своего бытия. «Сверхчеловек» Ницше — это призыв понять, что положение человека именно таково, и отделаться от любых иллюзий: религия, построенная на ней мораль — это для Ницше всего лишь застарелые иллюзии. Бог для культуры — самое высокое, а для Ницше самое низкое и позорное: верить в бога в его глазах стыдно и недостойно. Человек — один в мире, он в мире одинок. Именно этот мир постигается затем как мир по существу внутренний, как внутреннее пространство экстатической личности.

Такой новый образ мира и человека и означал переоценку всех ценностей. Тут не было ничего надуманного! В этой переоценке отразилось лишь последовательное додумывание до конца тенденций XIX века — тех, что сказались и в естественной науке того времени, и в бессознательных склонностях людей, и в самом искусстве. Была во всем этом и самая благородная сторона: человек вдруг почувствовал себя хозяином своей судьбы, своего положения в мире, ощутил себя независимым от какой-либо философии или мировоззрения, какие он должен был бы непременно разделять. Был в этом и какой-то новый источник человеческого достоинства, и момент равновесия человека и мира, оборачивавшийся особой прочностью самоощущения. Так — в наиболее благоприятных случаях. Ницше же вносил в эту ситуацию момент агрессивного отрицания традиции, такой действительно нигилистический момент, когда все старое, заветное должно было непременно рушиться. Поскольку сфера устоявшейся веры и морали сокращалась, все это не могло не повести к тяжелым конфликтам в душе многих, кто не способен был попросту отка-

заться от привычных взглядов и в то же время не мог избежать неблагоприятного, разрушительного воздействия Ницше. Сейчас нам яснее, что Ницше, настаивая на переоценке всех ценностей, невольно — как бы следуя прямоте и «честности» своего мыслительного склада — закреплял некоторую преходящую, характерную для середины XIX века ситуацию, некоторую иллюзию этого времени — иллюзию, основанную именно на временном *равновесии* человека и мира, человека и природы, иллюзию того, что отныне человек все сможет взять в свои руки и сумеет управлять всем. В том числе сможет взять в свои руки свою историю! Сама же история прекрасно опровергла подобные иллюзии. Однако при своем колоссальном влиянии Ницше не мог не нанести тяжелейший удар вере и морали людей: думая, что он пишет для совсем немногих («для всех и ни для кого», как значится в подзаголовке «Заратустры»), Ницше на самом деле предлагал людям следовать *удобной* для них иллюзии. Возвеличиваемая им самоопределяющаяся, направляющая себя личность должна была породить небывалое человеческое самоуправство. Так ярко сказавшаяся в Ницше иллюзия полного человеческого самоопределения — она сказала и помимо Ницше — навлекла на человечество огромные беды. В иных же случаях Ницше сознавал и открыто допускал, что человечеством управляют именно удобные для него иллюзии, — знание, которое, казалось бы, могло способствовать тому, чтобы с разоблачительным недоверием относиться не только к традиционным верованиям и взглядам, но и к своим собственным мнениям и суждениям.

Мысль Ницше на деле совмещала в себе несовместимое, а такое совмещение и есть, собственно, парадокс. Парадоксально неожиданна — и необозрима по своим последствиям — и книга Ницше «Так говорил Заратустра», этот затаенный и глубокий голос исторического сознания. В самой истории, затем в истории куль-

туры, в истории философии и искусства мы до сих пор остаемся свидетелями того, что из этой книги выступают, становятся достоянием сознания и осмысливаются новые вещи — все то, что до сих пор таинственным образом скрывалось, никем не замечалось в ней.

А.В. Михайлов

Перевод Я.Э. Голосовкера сверен Е.В. Ознобкиной по тексту нового критического издания: Fridrich Nietzsche. Kritische Studienausgabe, hrsg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari. 2. durchges. Auflage. München — Berlin/New York, 1988. Bd. 4.

Приведено в соответствие с этим критическим собранием сочинений Ницше и расположение стихотворений в нашем издании. В первую очередь это относится к не публиковавшимся при жизни Ницше фрагментам, которые издатели первого собрания его сочинений располагали достаточно произвольно, сводя безусловно не относившиеся к одному целому куски текста, подбирая фрагменты по тематическому принципу «цитатника» и т.д. Оригинальный, настоящий Ницше во всех случаях выглядит лучше, хотя он и более отрывочен.

Сохранены особенности пунктуации перевода.

ТАК ГОВОРИЛ ЗАРАТУСТРА
Книга для всех и ни для кого

*

Перевел Якоб Голосовкер

ПРЕДИСЛОВИЕ ЗАРАТУСТРЫ

1.

Когда Заратустре было тридцать лет от роду, покинул он родину и озеро родины и ушел в горы. Здесь вкушал он от духа своего и одиночества и подвизался десять лет неотступно. Но, наконец, обратилось его сердце, — и однажды поутру поднялся он с зарей наравне, стал к солнцу лицом и говорил ему так:

«Ты, великое светило! Чем было бы счастье твое, не будь тех у тебя, кому ты светишь?»

Десять лет восходило ты здесь над моей берлогой: ты пресытился бы этим светом и этой дорогой, не будь здесь меня, моего орла и моей змеи.

Но мы ожидали тебя что утро, от твоего преизбытка облегчали тебя и благословляли тебя за это.

Смотри! Я пресытился своей мудростью, как пчела, собравшая слишком много меду, мне нужны руки, которые протягиваются ко мне.

О, я одарял бы и оделял бы, пока мудрые среди людей не обрадовались бы вновь своей дурости и нищие — своему богатству.

Ради этого должен я вниз спуститься: как это делаешь ты что вечер, когда заходишь за море и даже преисподней несешь свет, ты, сверхбогатое светило!

Я должен подобно тебе **з а к а т и т ь с я**, как то говоритя у людей, к которым хочу я сойти вниз.

Так благослови же меня, ты, спокойное око, без зависти властное созерцать даже чрезмерное счастье.

Благослови кубок, перелиться готовый, чтобы золотой искрометью проливалась из него вода и разносила окрест отблеск твоей отрады.

Смотри! Этот кубок готов стать вновь пустым, и Заратустра готов стать вновь человеком».

— Так начался закат Заратустры.

*
* *
*

2.

Заратустра одиноко спускался с гор, и никто не повстречался ему. Но когда он вступил в леса, внезапно вырос перед ним старик, который покинул свою святую лачугу — кореньев в лесу поискать. И так говорил старик Заратустре:

«Не чужд мне этот странник: тому года, как проходил он здесь. Заратустрой назывался он; но он преображен.

Тогда нес ты свой пепел на гору: что ж хочешь ты ныне нести свой огонь в долины? Что же не страшишься ты кары поджигателю?

Да, узнаю Заратустру. Чисто его око, и у рта его не затаилось отвращение. Не потому ли ступает он точно танцор?

Преображен Заратустра, ребенком стал Заратустра, пробудился Заратустра: что же ищешь ты у спящих?

Словно в море, жил ты в уединении, и море носило тебя. Горе! Ты хочешь выйти на берег? Горе! Ты хочешь снова сам влачить свое тело?»

Заратустра отвечал: «Я люблю людей».

«А я-то почему, — молвил святой, — ушел в леса и пустыни? Не потому ли, что слишком сильно любил людей?

Теперь люблю я бога: людей не люблю. Человек для меня нечто уж слишком несовершенное. Любовь к человеку убила бы меня».

Заратустра отвечал: «Что говорил я о любви! Я несю людям дар».

«Ничего не давай им, — молвил святой, — лучше отними у них что-нибудь и неси вместе с ними — это им будет во благо!

А если хочешь им дать, то давай не больше, чем милостыню, и еще заставь ее у тебя вымалывать!»

«Нет, — отвечал Заратустра, — я не раздаю милостыни. Для этого я недостаточно беден».

Святой посмеялся над Заратустрой и говорил так: «Смотри же, чтоб они приняли твои сокровища! Они подозрительны к отшельникам и не верят, что мы приходим одарять».

Наши шаги звучат для них по улицам так жутко-одиноко. И чуть они ночью в своих постелях услышат, как проходит человек, задолго до восхода солнца, они, верно, спрашивают себя: куда крадется этот вор?

Не ходи к людям, оставайся в лесу! А не то иди к зверям! Почему не хочешь ты быть как я — медведем среди медведей, птицей среди птиц?»

«А что делает святой в лесу?» — спросил Заратустра.

Святой отвечал: «Я делаю песни и их пою, и когда я песни делаю, я смеюсь, и плачу, и бурчу: так славлю я бога.

Так пением, плачем, бурчанием и смехом славлю я бога, он же есть мой бог. Но что несешь ты нам в дар?»

Когда Заратустра услышал эти слова, поклонился он святому и проговорил:

«Что мог бы я дать вам! Но отпусти меня поскорей, чтобы я чего-нибудь не взял у вас». — И так расстались они, старец и муж, смеясь, как смеются двое ребят.

Но когда Заратустра остался один, говорил он так своему сердцу: «Неужели это возможно! Этот старик-святой в своем лесу еще вовсе не слышал о том, что б о г у м е р!» —

*
* *
*

Когда Заратустра пришел в ближайший город, который расположен у каймы лесов, нашел он в этом городе множество народа, столпившегося на базаре; было обещано народу представление в лице канатоходца. И Заратустра говорил так к народу:

Я учу вас о сверхчеловеке. Человек есть нечто, что должно преодолеть. Что же сделали вы, чтобы преодолеть его?

Все существа до сих пор создавали нечто превыше себя: а вы хотите быть отливом этого великого прилива и готовы скорей к зверю возвратиться, чем преодолеть человека?

Что такое обезьяна для человека? Посмешище или жгучий стыд. И тем же пусть будет человек для сверхчеловека: посмешищем и жгучим стыдом.

Вы прошли путь от червя к человеку, и многое в вас все еще червь. Некогда были вы обезьянами, и еще теперь человек больше обезьяна, чем любая из обезьян.

Даже если кто среди вас мудрейший из мудрых, и он только раздвой и двойца: не то растение — не то привидение. Но разве призываю я вас стать привидениями или растениями?

Да, я учу вас о сверхчеловеке!

Сверхчеловек — смысл земли. Пусть же ваша воля скажет: да б у д е т сверхчеловек смыслом земли!

Заклинаю вас, братья мои, б у д ь т е в е р н ы з е м л е и не верьте тем, кто рассказывает вам о надземных надеждах! Отравители они — равно, знают ли они об этом или нет.

Презрители жизни они, умирающие и сами отравленные, от которых устала земля: туда им и дорога!

Некогда богохульство было святотатственнейшей хулой, но бог умер и заодно с ним умерли и хулители. Хулить землю теперь тягчайшее святотатство, равно

как и чтить утробу неисповедимого выше, чем смысл земли!

Некогда презрительно смотрела душа на тело: и тогда это презрение было чем-то высшим: — душа хотела видеть тело тощим, уродливым, изможденным. Так думала она ускользнуть от него и от земли.

О, эта душа была еще сама тощей, уродливой и изможденной, и жестокость была наслаждением этой души.

Но еще и вы, братья мои, скажите же вы мне: что возвещает ваше тело о вашей душе? Разве ваша душа не нищета и грязь и жалкое самодовольство?

Впрямь, грязный поток человек. Надо быть морем, чтобы суметь принять в себя грязный поток и не оказаться нечистым.

Я учу вас о сверхчеловеке: он — это море, в нем может утонуть и ваше великое презрение.

Назовите мне наивысшее, что вы можете пережить. Это — час великого презрения. Час, когда даже ваше счастье вызывает у вас отвращение. В равной мере и ваш разум, и ваша добродетель.

Час, когда вы говорите: «Что мне счастье мое! Оно нищета, и грязь, и жалкое самодовольство. А счастье мое должно было оправдать само существование!»

Час, когда вы говорите: «Что мне разум мой? Алчет ли он знаменья, как лев пищи? Он нищета, и грязь, и жалкое самодовольство!»

Час, когда вы говорите: «Что мне добродетель моя! Еще она не обуяла меня безумием. Как устал я от моего добра и моего зла! Все это нищета, и грязь, и жалкое самодовольство!»

Час, когда вы говорите: «Что мне справедливость моя! Не вижу я, чтобы я стал жаром и углем. А справедливый — это жар и уголь!»

Час, когда вы говорите: «Что мне сострадание мое! Разве сострадание не крест, на котором распинают то-

го, кто любит людей? Но мое сострадание не крестное распятие».

Говорили ли вы уже так? Вопили ли вы уже так? Ах, если бы мне довелось услышать этот ваш вопль!

Не ваш грех — ваше довольство малым вопиет к небу, ваша скаредность даже в ваших грехах вопиет к небу!

Где же та молния, которая лизнула бы вас языком? Где то безумие, которое следовало бы вам привить?

Да, я учу вас о сверхчеловеке: он эта молния, он это безумие! —

Когда Заратустра все это сказал, кто-то из толпы выкрикнул: «Довольно! Мы наслушались о канатоходце; пора бы нам его показать!» И весь народ смеялся над Заратустрой. А канатоходец, полагая, что эти слова относятся к нему, принялся за дело.

*
* *
*

4.

Заратустра же смотрел на народ и удивлялся. Затем говорил он так:

Человек — это канат, закрепленный между зверем и сверхчеловеком, — канат над пропастью.

Опасно переходить, опасно быть в пути, опасно оглянуться, опасно содрогнуться и на месте замереть.

Если что велико в человеке, так это то, что он мост, а не цель: если что можно любить в человеке, так это то, что он п е р е х о д и гибельный х о д н а н е т.

Я люблю тех, кто не умеет жить, разве только как люди, что сходят на нет, ибо они переходят.

Я люблю великих презрителей, ибо они великие почитатели и стрелы тоски по другому берегу.

Я люблю тех, кто не привык искать основания в надзвездном мире, чтобы сойти на нет и стать жертвой: кто обрекает себя в жертву земле, чтобы некогда земля стала землей сверхчеловека.

Я люблю того, кто живет, чтобы познавать, и кто хочет познать для того, чтобы некогда жил сверхчеловек. Ибо так хочет он своей гибели-заката.

Я люблю того, кто работает и изобретает, чтобы построить дом сверхчеловеку и приготовить к его господству землю, зверей и растения: ибо так хочет он своей гибели-заката.

Я люблю того, кто любит свою добродетель: ибо добродетель есть воля к гибели-закату и стрела тоски по другому берегу.

Я люблю того, кто не оставляет для себя и капли духа, но хочет всецело быть духом своей добродетели: так проходит он, словно дух, по мосту.

Я люблю того, кто добродетель свою превращает для себя в страсть и рок: так ради своей добродетели рад он и жить еще и не жить.

Я люблю того, кто не хочет слишком много добродетелей. Одна добродетель куда больше добродетель, чем две, ибо она куда больше узел, на котором повисает рок.

Я люблю того, чья душа расточает себя, кто не ищет благодарности и не воздает ею: ибо он постоянно дарит и не хочет сберечь себя.

Я люблю того, кто стыдится, чуть кости в игре принесут ему счастье, и кто спрашивает тогда: неужели я плутоватый игрок? — ибо он хочет погибнуть.

Я люблю того, кто предваряет свои дела золотыми словами и всегда выполняет куда больше, чем обещает: ибо он хочет своей гибели-заката.

Я люблю того, кто оправдывает героев грядущего и вызволяет героев прошлого: ибо он хочет погибнуть от ныне бытствующих.

Я люблю того, кто своего бога карает, ибо своего бога любит: погибнуть должен он от гнева своего бога.

Я люблю того, чья душа даже при ранении глубока и кто может погибнуть и от ничтожного потрясения: поэтому охотно идет он по мосту.

Я люблю того, чья душа до краев полна, так что он самого себя забывает и все заключено внутри его: поэтому все влечет его к гибели-закату.

Я люблю того, кто волен духом и волен сердцем: поэтому голова его только внутренность его сердца, сердце же его влечет его к гибели-закату.

Я люблю всех тех, кто подобен тяжелым каплям, брызгами падающим из темной тучи, которая нависла над человечеством: они возвещают, что грядет молния, и как провозвестники гибнут.

Да, я провозвестник молнии, я тяжелая капля из тучи: но молния эта — сверхчеловек. —

*
* *

5.

Когда Заратустра проговорил эти слова, посмотрел он вновь на народ и умолк. «Вот стоят они, — говорил он своему сердцу, — вот смеются они: они не понимают меня, мой голос не для этих ушей.

Или нужно сперва оглушить им уши ударом, чтобы они научились слушать глазами? Или нужно грохотать подобно литаврам и проповедникам покаяния? Или они верят только зайке?

Есть нечто у них, чем они гордятся. Как же называют они то, что делает их гордыми? Образованием, и оно отличает их от пастухов-козодоев.

Потому так не любо слышать им о себе слово «презрение». Так вот же буду я говорить к их гордости.

Так вот же буду я говорить им о наипрезреннейшем, а это — последний человек».

И так говорил Заратустра к народу:

Время пришло, чтобы человек поставил себе свою цель. Время пришло, чтобы человек посадил семя своей высшей надежды.

Для этого почва его еще достаточно богата. Но эта почва будет некогда бедной и скудной, и ни одно высокое дерево не вырастет на ней впредь.

Увы! Близится время, когда человек уже не пустит вдалеку стрелы своей тоски, превыше человека, и тетива его лука разучится жужжать!

Говорю вам: надо еще хаос скрывать в себе, чтобы родить танцующую звезду. Говорю вам: внутри вас еще скрыт хаос.

Увы! Близится время, когда человек уже не сможет родить звезды. Увы! Близится время наипрезреннейшего человека, который уже не может презирать самого себя.

Смотрите! Я показываю вам последнего человека.

«Что такое любовь? Что такое творение? Что такое желание-чаянье? Что такое звезда?» — так спрашивает последний человек и моргает.

И вот земля стала маленькой и по ней скачет вприпрыжку последний человек, который все делает маленьким. Его порода неистребима, как земляная блоха; последний человек живет дольше всех.

«Мы обрели счастье», — говорят последние люди и моргают.

Они покинули те страны, где для них климат суров: ибо им нужно тепло. Они еще любят соседа и жмутся к нему: ибо им нужно тепло.

Стать больным или быть недоверчивым принято у них за грех: все ступают осмотрительно. Глупец, кто еще спотыкается о камень или о человека!

Чуть-чуть яду время от времени: это вызывает приятные сновидения. И много яду в конце, чтобы умереть приятной смертью.

Еще трудятся, ибо труд развлечение. Но заботятся, чтобы развлечение не утомляло.

Уже нельзя стать ни бедным, ни богатым: то и другое обременительно. Да и кому охота управлять? Да и кому охота повиноваться? То и другое обременительно.

Ни одного пастуха, и одно лишь стадо! Все хотят равного, все равны: кто чувствует иначе, тот идет добровольно в сумасшедший дом.

«Некогда весь мир был сумасшедшим», — говорят изысканные из них и моргают.

Все умны и все знают все, что случилось: потому нет насмешкам конца. Они еще ссорятся, но скоро мирятся — иначе это испортит желудок.

Есть свое наслаждение дневное, и есть свое наслаждение ночное: но здоровье превыше всего.

«Мы обрели счастье», — говорят последние люди и моргают. —

И на этом оборвалось первое слово Заратустры, называемое также «Предисловием»: ибо на этом месте прервали его крик и веселье толпы. «Поддай нам этого последнего человека, о Заратустра, — так восклицали они, — сделай каждого из нас таким последним человеком! И не нужен нам твой сверхчеловек!» И весь народ ликовал и прищелкивал языком. Заратустра же стал печален и сказал своему сердцу:

Они не понимают меня: я не голос для этих ушей.

Слишком долго, пожалуй, жил я в горах, слишком много прислушивался к родникам и деревьям: и вот говорю я к ним, как к пастухам-козодоям.

Непоколебима моя душа и ясна, как горы в час дополуденный. Но они думают, будто я холоден и будто насмешник я, который шутит страшными шутками.

И вот глядят они на меня и смеются: и при смехе они ненавидят меня. Лед в их смехе.



6.

Но тут случилось нечто, от чего уста у всех онемели и глаза от ужаса застыли. Как раз к тому времени канатоходец принялся за дело: он вышел из маленькой двери и зашагал по канату, натянутому между двумя башнями, так что канат этот висел над рыночной площадью и народом. И вот, когда канатоходец был на середине своего пути, маленькая дверь отворилась вторично и пестро одетый парень, смахивающий на скомороха, выскочил оттуда и быстро зашагал вдогонку за первым. «Вперед, черт колченогий, — завопил он неистовым голосом, — вперед, ленивая бестия, ты, продавец пяток всмятку, ты, бледнорожая немочь. Смотри, как бы не пощекотал я тебя своей пяткой. Что это ты тут околачиваешься между двумя башнями? Тебе бы в башне сидеть, тебя бы запереть надо, лучшему, чем ты, загораживаешь ты дорогу!» — И при каждом слове подступал он к нему все ближе и ближе, и когда он был уже не больше, чем на шаг, позади него, тут случилось нечто ужасное, от чего уста у всех онемели и глаза застыли: — он испустил какой-то дьявольский вопль и разом перепрыгнул через того, кто стоял ему поперек дороги, а этот, чуть он увидел, что его побеждает соперник, как тотчас потерял и голову, и канат: он выпустил свой шест и стремглав, быстрее, чем шест, полетел словно в водовороте рук и ног с высоты вниз. Рыночная площадь и народ уподобились морю под налетом урагана: все кинулось врассыпную, кто куда, друг на друга, друг через

друга, и особенно там, где должно было грохнуться тело.

Один Заратустра остался на месте, и как раз рядом с ним упало тело, донельзя изуродованное и изломанное, но еще не мертвое. Мгновение спустя к несчастному вернулось сознание, и он увидел возле себя на коленях Заратустру. «Что ты тут делаешь? — выговорил он наконец, — я давно знал, что черт подставит мне ногу. Теперь он тащит меня в ад; уж не хочешь ли ты ему воспрепятствовать?»

«Клянусь честью, друг, — отвечал Заратустра, — ничего такого и в помине нет, о чем ты говоришь: нет ни черта, ни ада. Твоя душа умрет прежде твоего тела: потому не страшись ничего!»

Умиравший посмотрел на него недоверчиво. «Если ты говоришь правду, — сказал он, — тогда, теряя жизнь, я ничего не теряю. Я немногим больше животного, которое научили танцевать кнутом да голодным куском».

«Ты не прав, — сказал Заратустра, — ты из опасности сделал себе призвание, тут нечего презирать. И ныне ты жертва своего призвания. За это я похороню тебя своими руками».

Но на последние слова Заратустры умирающий не дал ответа; он только шевельнул рукой, как бы желая в благодарность коснуться руки Заратустры. —

*
* *
*

7.

Между тем наступил вечер, и рынок погрузился в темноту: тогда разошелся и народ, ибо даже любопытство и страхи — и те устают. Заратустра же остался сидеть рядом с мертвецом на земле, погруженный в раз-

думье: так позабыл он о времени. Наконец настала ночь, и холодный ветер подул на одинокого. Тогда поднялся Заратустра и сказал своему сердцу:

Впрямь, добрый улов выпал сегодня на долю Заратустры! Человека он не поймал, но зато поймал труп.

Тревожно человеческое бытование, и все еще нет в нем смысла: скоморох может стать ему роком.

Я хочу преподать людям смысл их бытия: этот смысл сверхчеловек, молния из темной тучи человека.

Но еще далек я от них, и моя мысль не говорит их мыслям. Середина я еще для людей между шутком и трупом.

Темна ночь. Темны пути Заратустры. Идем же, ты, холодный, окоченелый попутчик! Я понесу тебя туда, где похороню тебя своими руками.

*
* *
*

8.

Когда Заратустра все это высказал своему сердцу, взвалил он труп себе на спину и пустился в путь. Но не прошел он и ста шагов, как подкрался к нему человек и стал шептать ему на ухо — и смотри! Говоривший был не кто иной, как скоморох из башни. «Уходи подальше от этого города, о Заратустра, — говорил он, — ненавидят тебя здесь слишком многие. Ненавидят тебя добрые и праведные и называют тебя своим врагом и уничижителем; ненавидят тебя ревнители правоверия и называют тебя опасностью для массы. Счастье твое, что над тобой смеялись: и впрямь, ты говорил, как скоморох. Счастье твое, что ты взял себе в товарищи мертвого пса; тем, что ты так унижил себя, ты себя на сегодня спас. Уходи же прочь из этого города — или завтра я перепрыгну через тебя, живой через мертвого». Сказав это,

человек скрылся. А Заратустра продолжал путь по темным улицам.

У ворот города повстречались ему гробокопы: они посветили ему факелом в лицо, узнали Заратустру и немало поглумились над ним. «Заратустра уносит мертвого пса: вот так здорово, Заратустра стал гробокопом! Ибо наши руки слишком чисты для такого гостинца. Не хочет ли Заратустра у черта его кус украсть? Что ж, не робей! И попируй на славу, если только черт — вор не попроворнее Заратустры! — он украдет их обоих, он слопает их обоих!» И они пересмеивались и перешептывались меж собой, скупившись.

Заратустра ни словом не отозвался на это и шел своей дорогой. Когда он пробродил часа два, все лесом да топями, наслушался он голодного воя волков до того, что и сам проголодался. И вот остановился он перед уединенным домом, где горел свет.

Голод нападает на меня, — сказал Заратустра, — как разбойник. Среди лесов и топей нападает на меня мой голод, и среди глубокой ночи.

Чудны прихоти у моего голода. Часто появляется он у меня только после еды, и сегодня он не появлялся весь день: где же мешкал он?

И, говоря так, постучался Заратустра в дверь дома. Показался старик; он нес свет и спросил: «Кто там стучится ко мне и к моему дурному сну?»

«Живой и мертвый, — сказал Заратустра. — Дайте мне поесть и попить, днем забыл я об этом. Тот, кто накормит голодного, усладит свою собственную душу: так говорит мудрость».

Старик ушел, но тотчас вернулся и предложил Заратустре хлеб и вино. «Здесь недобрые места для голодающих, — сказал он, — потому и живу я здесь. Зверь и человек приходят ко мне, отшельнику. Пригласи же и попутчика своего подкрепиться едой и питьем, он устал больше тебя». Заратустра отвечал: «Мертв мой попут-

чик, я вряд ли смогу убедить его это сделать». «Да мне до этого дела нет, — сказал ворчливо старик, — кто стучится гостем в мой дом, должен брать, что я ему предлагаю. Ешьте и будьте здоровы!» —

Затем шел Заратустра снова часа два, доверяясь дороге и свету звезд; ибо был он привычным ночным ходоком и любил всему спящему заглядывать в лицо. Но чуть забрезжило утро, оказался Заратустра в дремучем бору, и не виделось больше дороги крутом. Тогда положил он мертвого в дупло дерева у себя в головах — ибо хотел его охранить от волков — и сам лег на землю и на мох. И тотчас заснул, усталый телом, но с непреклонной душою.



9.

Долго спал Заратустра, и не только заря утренняя прошла по его лицу, но и солнце полудня. Наконец открыл он глаза: удивленно смотрел Заратустра на лес и тишину, удивленно заглянул он в самого себя. Затем разом вскочил, словно мореход, внезапно завидевший землю, и возликовал: ибо увидел он новую истину. И так говорил он тогда своему сердцу:

Свет взошел для меня. Нужны попутчики мне, притом живые, — не мертвые попутчики и не трупы, которые я ношу с собою, куда хочу.

Нужны живые попутчики мне, которые следуют за мной, ибо сами за собой хотят они следовать — и туда, куда я хочу.

Свет взошел для меня: не к народу будет говорить Заратустра, а к попутчикам! Нет, не станет Заратустра пастухом и верным псом стада.

Отманить многих от стада — ради этого пришел я. Пусть ярится на меня народ и стадо: разбойником хочет прослыть у пастухов Заратустра.

Пастухи, говорю я, но они называют себя добрыми и праведными. Пастухи, говорю я, но они называют себя ревнителями правоверия.

Посмотрите-ка на добрых и праведных! Кого ненавидят они всего сильнее? Того, кто крушит их скрижали ценностей — крушителя, нарушителя: — а это и есть созидатель.

Посмотрите-ка на ревнителей всякого правоверия! Кого ненавидят они всего сильнее? Того, кто крушит их скрижали ценностей — крушителя, нарушителя: — а это и есть созидатель.

Попутчиков ищет созидатель, а не трупы, но и не стада, и не правоверных. Сподвижников ищет созидатель — тех, кто новые ценности врежет в новые скрижали.

Попутчиков ищет созидатель и жнецов-сподвижников, ибо все созрело у него для жатвы. Но недостает ему той сотни серпов: потому вырывает он колосья злаков и злится.

Попутчиков ищет созидатель и тех, кто точить умеет свои серпы. Ниспровергателями назовут их и презрителями всего доброго и злого. Но они те, кто пожинает и празднует.

Сподвижников-созидателей ищет Заратустра, сподвижников по жатве, сподвижников по празднеству ищет Заратустра: что общего у него со стадами, пастухами и трупами!

И ты, мой первый попутчик, прощай! Надежно схоронил я тебя в твоём дуплистом дереве, надежно сохранил я тебя от волков.

Но я покидаю тебя, все сроки вышли. Между утренней зарей и утренней зарей пришла ко мне новая истина.

Не пастухом мне быть, не гробокопом. Не буду я говорить впредь с народом; в последний раз говорил я к мертвому.

К созидателям, пожинателям, празднователям хочу примкнуть я товарищем: радуго им хочу показать я и все ступени к сверхчеловеку.

Отшельникам воспою мою песнь; и кто имеет еще уши для вещей неслыханных, тому отягощу я сердце своим счастьем.

Я хочу к своей цели, я иду своим путем; через нерешительных и медлительных перепрыгну я далеко вперед. Итак, да будет мой путь их путем к гибели-закату!



10.

Так говорил Заратустра своему сердцу, когда солнце стояло на полдне: затем поглядел он вопросительно ввысь — ибо услышал над собой крик пронзительный птицы. И впрямь! Орел плыл широкими кругами по воздуху, и висела на нем змея, но не как добыча его, а скорей как подруга: ибо держалась, вокруг шеи его обвившись кольцами.

«Это мои звери! — сказал Заратустра и обрадовался от всего сердца. —

Прегордый зверь под этим солнцем и премудрый зверь под этим солнцем — они вылетели на разведку.

Разведать хотят они, жив ли еще Заратустра. И впрямь, жив ли я еще?

Опаснее, по мне, жить среди людей, чем среди зверей, опасными путями ходит Заратустра. Пусть же ведут меня мои звери!»

Когда Заратустра высказал это, вспомнил он слова святого в лесу, вздохнул и говорил так своему сердцу:

«О если бы мне быть мудрее! О если бы мне всем
нутром быть мудрым, как моя змея.

Но невозможного прошу я: так вот попрошу же я
свою гордость всегда идти с моей мудростью в ногу!

И если когда-нибудь покинет меня моя мудрость: —
любит она улетать невесть куда! — пусть же гордость
моя улетает тогда с моей дуростью!»

— Так начался закат Заратустры.

*
* * *

РЕЧИ ЗАРАТУСТРЫ

О трех превращениях

Три превращения духа вам назову я: как оборачивается дух в верблюда, и верблюд во льва, и в ребенка лев напоследок.

Много тяжелого предстоит духу, сильному, выносливому духу, исполненному преклонения: тяжелого, непомерно тяжелого требует сила его.

Что тяжело? Так спросит выносливый дух, так станет он на колени, подобно верблюду, и потребует доброго вьюка себе.

Что всего тяжелее, скажите, герои? Так спросит выносливый дух, чтобы это взять на себя и радоваться силе своей.

Не в том ли оно: унижить себя, чтобы боль причинить своему высокомерию? Свою дурость заставить блистать, чтоб осмеять свою мудрость?

Или в том оно: сказать своему делу прости, когда оно празднует свою победу? Выходить на высокие горы, чтобы искушать искушителя?

Или в том оно: желудями и травой познания питаться и истины ради голодать душой?

Или в том оно: быть больным и прочь отсылать утешителей, и дружбу заключать с глухими, которые не слышат, чего ты хочешь?

Или в том оно: входить в грязную воду, если она вода истины, и не отгонять прочь от себя ни лягушек холодных, ни жарких жаб?

Или в том оно: любить тех, кто нас презирает, и привидению протянуть руку, когда оно хочет нагнать на нас страх?

Всю эту тяжесть берет на себя выносливый дух: как верблюд, который, чуть он навьючен, спешит в пустыню, так спешит и дух в свою пустыню.

Но в глубоком уединении пустыни свершается второе превращение: здесь во льва оборачивается дух, свободу хочет добыть он себе и господином быть в своей собственной пустыне.

Последнего господина себе ищет он здесь: врагом хочет он стать ему и своему последнему богу, победы ради хочет он бороться с великим драконом.

Кто же этот великий дракон, которого дух не хочет впредь называть: господин и бог? «Ты-должен» — вот имя великому дракону. Но дух льва говорит: «Я хочу».

«Ты-должен» лежит на дороге, золотом искрящийся чешуйчатый зверь, и на каждой чешуе золотом сверкает: «Ты должен!»

Тысячелетние ценности сверкают на этих чешуях, и так говорит могущественный дракон: «Ценности всех вещей — они сверкают на мне».

«Все ценности уже созданы, и всякая созданная ценность — это я. Поистине не должно быть впредь «Я хочу!»» Так говорит дракон.

О, друзья мои, зачем еще нужен лев в духе живом? Отчего не довольно вьючного животного, жертвенного и почтительного?

Создавать новые ценности — это еще не по силам и льву: но себе свободу создать для нового созидания — это по силам льву.

Себе свободу создать и священное нет, даже пред долгом: для этого, братья мои, и надо быть львом.

Себе право захватить на новые ценности — это чудовищный захват для выносливого и почтительного духа. Поистине хищный захват для него, дело хищного зверя.

Как святыню любил он когда-то «Ты-должен»: невольный обман и своеволие вынужден он находить и в

святыне, чтобы добыть себе свободу от своей любви: львом надо быть для такой добычи.

Но скажите, братья мои, что в силах свершить ребенок, но что свершить не по силам и льву? Почему хищник-лев должен стать еще и ребенком?

Невинность — дитя и забвенье, новое начинание, игра, самокатящееся колесо, перводвижение, священное слово «да будет!»

Да, для игры созидания, братья мои, нужно священное слово «да будет!»: с в о е й воли хочет ныне дух, с в о й мир выигрывает погибший для мира.

Три превращения духа вам назвал я: как в верблюда обернулся дух, и верблюд во льва, и в ребенка лев напоследок. — —

Так говорил Заратустра. В ту пору пребывал он в городе, названье которому: Пестрая Корова.

*
* *
*

О кафедрах добродетели

Восхваляли Заратустре некоего мудреца, который умеет-де складно говорить о сне и добродетели: за это превозносят и вознаграждают его, и все юноши сидят перед его кафедрой. К нему пошел Заратустра и вместе со всеми юношами сидел перед его кафедрой. И так говорил мудрец:

Почтение и стыд перед сном! Это прежде всего! И избегать встречи со всеми, кто плохо спит и ночью бдит!

Вор, и тот стыдлив перед сном: тихо крадется он в ночи. Бесстыден, однако, сторож ночной, без стыда носит он свой рог.

Не малое искусство — уметь спать: ради этого надо день напролет бодрствовать.

Десять раз на день ты должен преодолевать самого себя: это дает здоровую усталость и это мак для души.

Десять раз ты должен снова примиряться с самим собою; ибо преодоление — это горечь, и плохо спит не примирившийся.

Десять истин ты должен обрести на день: не то ты будешь искать истину и ночью, и твоя душа останется голодной.

Десять раз на день ты должен смеяться и быть веселым: не то потревожит тебя ночью желудок, этот отец скорби.

Немногие знают это: надо всеми добродетелями обладать, чтобы крепко спалось. Буду ли я лжесвидетельствовать? Буду ли я прелюбодействовать?

Буду ли я зариться на служанку ближнего своего? Все это плохо мирилось бы с здоровым сном.

И даже тогда, когда ты всеми добродетелями обладаешь, нужно еще смекнуть: сами добродетели послать вовремя спать.

Чтобы они не занялись передрыгами, эти прелестные бабенки! И из-за тебя, злосчастный!

Живи в мире с богом и соседом: так хочет здоровый сон. И живи в мире и с соседским чертом! Не то будет он у тебя бродить по ночам.

Почитай начальство и повинуйся ему, хотя бы даже и кривому начальству! Так хочет здоровый сон. При чем же тут я, если власть любит ходить на кривых ногах?

Тот, по мне, наилучший пастух, кто пасет своих овец на заливном лугу: это не мешает доброму сну.

Не ищущи я ни высоких почестей, ни великих сокровищ: от этого воспаляется селезенка. Но плохо спится без доброго имени и малого сокровища.

Небольшое общество для меня приятнее, чем общество злое: только пусть оно приходит и уходит вовремя. Это не мешает доброму сну.

По душе мне также все нищие духом: они содействуют сну. Блаженны они, особенно если им всегда воздавать по заслугам.

Так протекает день у добродетельного. Но чуть наступит ночь, остерегаюсь я призывать сон! Не хочет сон, чтобы его призывали, этот сон, господин добродетелей!

Но я продумываю, что я делал и думал день-деньской. Пережевывая, спрашиваю себя, терпеливо, подобно корове: каковы же твои десять преодолений?

И каковы твои десять примирений, и десять истин, и десять поводов к смеху, которыми ублажало себя твое сердце?

Среди таких обдумываний и убаюкиваний сорока мыслями нападает на меня внезапно сон, незванный, господин добродетелей.

Сон стучится ко мне в глаза: мои глаза тяжелеют. Сон касается моего рта: рот остается открытым.

Впрямь, на мягких подошвах приходит ко мне приятнейший из воров и крадет у меня мои мысли: дураком стою я тогда, как эта кафедра.

Но не долго стою я одурелым: уже я лежу. —

Когда Заратустра слушал эти речи мудреца, засмеялся он в своем сердце: ибо свет при этом взошел ему. И так говорил он своему сердцу:

Глуп, по-моему, этот мудрец с его сорока мыслями: но мне думается, что спать он здоров!

Счастлив тот, кто поселился вблизи этого мудреца! Заразителен такой сон, даже сквозь толстенную стену заразителен он.

Верно, чары живут в его кафедре. И не напрасно сидели юноши перед проповедником добродетели.

Его мудрость гласит: бдись, чтобы хорошо спать. И впрямь, если бы у жизни не было смысла и пришлось мне выбирать бессмыслие, это было бы для меня достойным избрания бессмыслием.

Теперь-то мне вполне ясно, чего искали некогда прежде всего, когда искали учителей добродетели. Хорошего сна искали себе и к тому еще добродетели, маком цветущей!

Для всех этих хваленых мудрецов при кафедре вся мудрость была сном без сновидений: не знали они лучшего смысла жизни.

И сегодня порой встречаются люди вроде этого проповедника добродетели, не всегда, впрочем, столь же честные: но их время миновало. И не долго им еще стоять: уже они лежат.

Блаженны сонливые: ибо скоро заснут они. —

Так говорил Заратустра.

*
* *

Об иномирниках

Когда-то и Заратустра метнул свою мечту по ту сторону человека, подобно всем иномирникам. Творением бога — страдальца и мученика — казался тогда мне мир.

Сном казался тогда мне мир и поэмой бога-поэта; радужным дымом перед взором божественно-недовольного.

Добро и зло, и радость и страдание, и я и ты — радужным дымом чудилось мне все перед творческим взором. Свой взор отворотить от себя хотел творец, — и вот сотворил он мир.

Упоение для страдальца отвлечь свой взор от своих страданий и самому забыться. Упоением и самозабвением чудился мне некогда мир.

Этот мир, вечно несовершенный, вечно несовершенства зеркало и несовершенное зеркало — упоение для его несовершенного творца: — таким чудился мне некогда мир.

Так метнул и я некогда свою мечту по ту сторону человека, подобно всем иномирникам. По ту сторону человека по истине?

Ах, братья, этот бог, сотворенный мной, был делом человеческих и безумием человеческим, подобно всем богам!

Человеком был он, только жалкой человеческой тварью и моим «я»: из моего собственного пепла и жара явился он мне, этот призрак, — и впрямь! Не явился он мне из потустороннего мира!

Что случилось, братья мои? Я преодолел себя самого, страдальца, я отнес свой собственный пепел на гору, пламя более светлое обрел я в себе. И вот! О т с т у п и л от меня тот призрак!

Страданием было бы теперь для меня и мукой для исцеленного — верить в подобные призраки: страданием было бы это теперь для меня и унижением. Так говорю я иномирникам.

Страдание и бессилие — они создали все иномирия; и то короткое безумие счастья, которое переживает только глубоко страдающий.

Усталость, которая одним прыжком хочет достигнуть последнего предела, одним прыжком смерти, бедная слепая усталость, которая не в силах больше хотеть: ею сотворены все боги и иномирия.

Верьте мне, братья мои! Это тело отчаялось в теле — это оно ощупало пальцами одураченного духа последние стены.

Верьте мне, братья мои! Это тело отчаялось в земле — это оно слышало, как вещает ему чрево бытия.

И тогда захотело оно головой напролом сквозь последние стены, и не только головой, — туда в «иной мир».

Но «иной мир» до конца скрыт от человека, тот нечеловеческий, обесчеловеченный мир, чья суть небесное ничто; и чрево бытия вовсе не вещает человеку, разве только в облике человеческого.

Впрямь, трудно даются доказательства бытия и трудно принудить его заговорить. Скажите мне, братья, разве самое диковинное на свете не доказано всего доказательнее?

Да, это «я», противоречия и путаница этого «я» тверже и честнее всего твердят о своем бытии, это созидающее, волящее, оценивающее «я», которое есть мера и ценность всех вещей.

И это честнейшее бытие, это «я» — оно говорит о теле и хочет тела даже тогда, когда творит, и мечтает, и помахивает сломанными крыльями.

Все честнее научается оно говорить, это наше «я»; и чем больше научается оно, тем больше находит оно слов и почестей для тела и земли.

Новой гордости научило меня мое «я», этой гордости учу я людей: не прятать голову в песок небесный, но гордо держать ее, земную голову, созидающую смысл земле!

Ныне новой воле учу я людей: хотеть той дороги, по которой слепо шел человек, и принять ее и уже с нее не сбиваться в сторону, подобно больным и умирающим!

Больными и умирающими были те, кто презирал тело и землю и изобрел небесное и искупительные капли крови: но и эти сладкие и мрачные яды брали они у тела и земли!

Убежать хотели они от своего злополучия, а звезды были слишком далеко. И вот вздыхали они: «О если б

были небесные дороги — проскользнуть в иное бытие и счастье!» — и вот изобрели они себе свои лазейки и кровавые напитки.

От своего тела и этой земли, мнилось им, горé вознеслись они, неблагодарные. Но кому обязаны были они судорогами и восторгом своего вознесения? Своему телу и этой земле.

Ласков Заратустра с больными. Впрямь, не гневается он на них за их способы утешения и неблагодарности. Пусть выздоравливают они себе и преодолевают себя и пусть создают себе высшее тело!

Не гневается Заратустра и на выздоравливающего, когда тот с нежностью поглядывает на свое заблуждение и тайком бродит в полночь близ гробницы своего бога: но болезнью и больным телом остаются для меня еще и слезы его.

Много болезненного народа находилось всегда среди тех, кто стихотворствует и богоискательствует, бешено ненавидят они и познающего, и самую младшую из добродетелей, чье имя — честность.

Всегда смотрят они назад, в мрачные времена: впрочем, тогда заблуждение и вера были чем-то иным; все неистовство разума было богоподобием, а сомнение грехом.

Хорошо знаю я этих богоподобных: они хотят, чтобы в них уверовали и чтобы сомнение было грехом. Хорошо знаю я и то, во что сами они всего крепче веруют.

Впрямь, не в иномирия и искупительные капли крови, а в тело верят они всего крепче, и их собственное тело для них — их вещь в себе.

Но вещь болезненная для них тело: и охотно вырвались бы они из кожи вон. Потому прислушиваются они к проповедникам смерти и сами проповедают об иномириях.

Прислушайтесь-ка, братья мои, к голосу здорового тела: куда более честен и чист этот голос.

Куда более честно и чисто говорит здоровое тело, совершенное и соразмерное: и говорит оно о смысле земли.

Так говорил Заратустра.

*
* *
*

О презрителях тела

К презрителям тела хочу я сказать мое слово. Пусть не переучиваются и пусть не переучивают они, а только своему собственному слову пусть скажут: прощай! — и затем онемеют.

«Я — тело и душа», — так говорит дитя. И почему бы не говорить, как дети?

Но пробудившийся, знающий, говорит: я всецело тело и ничто кроме тела; а душа — только слово для какого-то «нечто» в теле.

Тело — большой разум, множественность при едином чувстве, и мир и война, и стадо и пастух.

Орудием твоего тела будет также, о брат мой, и твой малый разум, называемый тобою «духом», малое орудие и игрушка твоего большого разума.

«Я» говоришь ты и гордишься этим словом. Но нечто большее, во что ты не хочешь верить, — тело твое и его большой разум: он не говорит «я», он творит это «я».

Что чувство чувствует, что дух познает, — все это никогда не завершается в себе. Но чувство и дух рады убедить тебя, будто они завершение всех вещей: так тщеславны они.

Орудия и игрушки ум и дух: позади них еще самость. Самость ищет глазами чувств, прислушивается ушами духа.

Всегда прислушивается самость, всегда ищет она; она сравнивает, принуждает, завоевывает, сокрушает. Она господствует, господствует и над «я».

Позади твоих мыслей и чувств, о брат мой, стоит могучий повелитель, неизвестный мудрец, — он называется самость. В твоём теле живёт он, твоё тело — это он.

Больше разума в твоём теле, чем во всей твоей мудрости. И кто может знать, для чего нужна телу твоему вся твоя мудрость?

Смеется твоя самость над твоим же «я» и над его гордыми подскоками. «Что мне подскоки и взлеты мысли? — говорит она себе. — Окольный путь к моей цели. Я только помочи для «я» и вдохновитель его понятий».

Самость говорит «я»: «Здесь чувствуй боль!» И вот страдает оно и все думает про себя, как бы не страдать, — для этого и д о л ж н о оно думать.

Самость говорит «я»: «Здесь чувствуй радость!» И вот оно радуется и все думает про себя, как бы это почаще радоваться — для этого и д о л ж н о оно думать.

К презрителям тела хочу я сказать слово. От их презрения их преклонение. Как назвать то, что создало преклонение, и презрение, и ценность, и волю?

Созидающая самость создала себе преклонение и презрение, создала себе радость и горе. Созидающее тело создало себе дух — руку своей воли.

Даже всем своим безумием и презрением вы, презрители тела, служите своей самости. Говорю вам: сама ваша самость хочет умереть и отворачивается от жизни.

Она не в силах делать, что ей всего милее: — созидать превыше самого себя. Вот что ей всего милее, вот чему отдана вся её страсть.

Но слишком поздно ей за это братья: — потому хочет погибнуть ваша самость, вы, презрители тела.

Погибнуть хочет ваша самость, и потому стали вы презрителями тела! Ибо уже не в силах вы созидать превыше самого себя.

Потому и негодуете вы на жизнь и на землю — невольная зависть проглядывает в косом взгляде вашего презрения.

Я не иду вашим путем, вы, презрители тела! Вы для меня не мосты к сверхчеловеку! —

Так говорил Заратустра.

*
* *
*

О радостях и страстных страданиях

Брат мой, если ты богат добродетелью и это твоя добродетель, то ты ею богат не сообща с другими.

Впрочем, ты хочешь ее по имени назвать и ласкать; ты хочешь ее теревить за ушко и с ней забавляться.

И слушай! Уже ее имя разделяешь ты сообща с народом, и ты сам стал с твоей добродетелью народом и стадом!

Лучше было бы тебе сказать: «Тому имени нет, того не выразить, в чем мука и сладость души моей, а также и голод нутра моего».

Пусть твоя добродетель будет слишком высока, чтобы довериться именам; и если вынужден ты говорить о ней, так не стыдись и с запинкой говорить о ней.

Так говори и запинаясь: «Это м о е добро, это люблю мне, таким оно всецело по вкусу мне, только таким хочу я добро».

Не хочу я его как заповедь бога, не хочу я его как закон-человека и нужду-человека: не будет оно для меня указателем пути к иным сверхземлям и райским садам.

Добродетель земная — ее люблю я: мало мудрости в ней и всего меньше разума всечеловеческого.

Но эта птица свила себе гнездо у меня: потому я люблю ее и льну сердцем к ней, — и вот сидит она у меня на своих золотых яйцах».

Так запинайся и так восхваляй свою добродетель.

Некогда был ты богат страстями, и ты называл их злыми. А теперь ты богат только добродетелями: они выросли из твоих страстей.

Ты свою высшую цель вложил в сердце этим страстям: и вот стали они твоими добродетелями и страстными радостями.

И будь ты из породы запальчивых, или сластолюбивых, или изуверов неистовых, или мстительных душ:

Все твои страсти обернулись напоследок в добродетели и все твои черты — в ангелов.

Некогда дикие псы были в твоём подземелье: напоследок обернулись они в птиц, перелетных певуний.

Из своих ядов сварил ты себе бальзам; свою корову — печаль доил ты — и вот пьешь ты сладкое млеко от ее вымени.

И впредь не вырастет никакое зло из тебя, разве только то зло, которое вырастет из борьбы твоих добродетелей.

Брат мой, коль выпало тебе на долю счастье, тебе на долю выпала одна добродетель, не больше: тем легче пройдешь ты по мосту.

Великолепно иметь много добродетелей, но участь тяжкая; и немало людей уходило в пустыню и убивало себя, ибо уставали они быть битвой и полем битвы добродетелей.

Брат мой, зло ли война и битва? Но необходимо это зло, необходимы зависть, и недоверие, и клевета среди твоих добродетелей.

Вглядись, как любая из твоих добродетелей алчет высшего: ей нужен весь твой дух, чтоб он был ее герольдом, ей нужна вся твоя сила в гневе, ненависти, любви.

Ревнует любая добродетель к другой, и до чего же ужасна ревность. Даже добродетели могут погибать от ревности.

Кого пламя ревности опояшет, тот в конце концов, скорпиону подобен, против самого себя обратит ядовитое жало.

Ах, брат мой, неужели ты еще никогда не видел, как добродетель клеветает сама на себя и пронзает себя?

Человек есть нечто, что должно преодолеть: и потому должен ты любить свои добродетели, — ибо от них погибнешь ты. —

Так говорил Заратустра.

*
* *
*

О бледном преступнике

Вы не хотите убивать, о судьбы и заклатели жертв, пока животное не склонит головы? Так вот же, бледный преступник склонил голову: его глаза говорят о великом презрении.

«Мое «я» — нечто, что должно преодолеть: мое «я» для меня — великое презрение человеков» — так говорят эти глаза.

Что он сам осудил себя, то было его высшим мгновением: не дайте же возвышенному упасть обратно в свою низину!

Нет спасения тому, кто так от себя самого страдает, разве только мгновенная смерть спасет.

Ваша казнь, о судьбы, да будет состраданием, а не местью. И, казня, следите за тем, чтобы самим оправдывать жизнь!

Не достаточно примиряться с тем, кого вы казните. Да будет ваша печаль любовью к сверхчеловеку: так оправдываете вы своей жизни продление!

«Враг» говорите, а не «злодей»; «больной» говорите, а не «подлец»; «глупец» говорите, а не «грешник».

А ты, красный судья, если бы ты решился громко высказать все, что ты уже совершил мысленно, тогда закричал бы каждый: «Прочь гони эту мразь и ядовитую гаду!»

Но говорю: одно — мысль, другое — дело, третье — картина дела. Колесо причинности между ними не катится.

Одна картина сделала этого бледного человека бледным. Ему по плечу было дело его, когда он это дело совершал: однако картины его не вынес он, когда оно было совершено.

Всегда смотрел он на себя как на свершителя единого дела. Безумием называю я это: исключение обернулось для него в обыкновение.

Черта одурманивает курицу; удар, им нанесенный, одурманил его бедный разум — безумием по следам называю я это.

Слушайте, судьи! Есть еще другое безумие: и это безумие перед делом! Ах, вы недостаточно глубоко проникли в эту душу!

Так говорит красный судья: «Почему вдруг убил этот преступник? Он хотел ограбить». Но я говорю вам: его душа хотела крови, а не грабежа: он жаждал счастья ножа!

Однако его бедный разум этого безумия не понял и обольстил его. «Что кровь! — говорил он. — Не хочешь ли ты по меньшей мере совершить при этом грабеж? Отмстить?»

И он прислушался к своему бедному разуму: как свинец давила его та речь, — и он ограбил, как только убил. Он не хотел стыдиться своего безумия.

И вот снова свинец его вины на нем и снова его бедный разум так туг, так туп, так тяжел.

Если бы он сумел тряхнуть головой, с него скатилась бы эта тяжесть: но кто встряхнет эту голову?

Что такое этот человек? Только куча болезней; силой духа они врываются в мир: здесь хотят они найти свою добычу.

Что такое этот человек? Клубок свирепых змей, которые, пребывая вместе, остаются редко в покое, — и вот расплзаются они кто куда и ищут себе добычи в мире.

Взгляните на это бедное тело! Чем страдало оно, чем томилось, все истолковывала себе эта бедная душа — как радость убийства и как жажду счастья ножа.

Кто сегодня болен, того одолевает зло, принятое сегодня за зло: боль хочет он причинять тем самым, что ему причиняет боль. Но были иные времена и иные зло и добро.

Некогда злом было сомнение и воля быть самим собою. Больного принимали за еретика и ведуна: как еретик и ведун страдал он и хотел заставлять страдать других.

Но это не проникает в ваши уши: это вредит добрым, говорите вы мне. Но что мне до ваших добрых!

Многое в ваших добрых внушает мне отвращение, но только не их зло. Как хотел бы я, чтобы их обуяло безумие, от которого бы они погибли, как этот бледный преступник!

Впрямь, мне хотелось бы, чтобы их безумие называлось истиной, или верностью, или справедливостью: но у них своя добродетель, чтобы жить долго, и притом в жалком самодовольстве.

Я над потоком перила: ухватись за меня, кто в силах меня ухватить! Но я для вас не костыль. —

Так говорил Заратустра.

*
* * *

Из всего написанного я люблю только то, что писано кровью. Кровью пиши: и ты познаешь, что кровь есть дух.

Не так легко понять чужую кровь: я ненавижу читающих празднолюбцев.

Кто читателя знает, тот уже ничего не делает для читателя. Еще на сто лет читателей — и сам дух просмердит.

Что каждому позволено учиться читать, надолго портит не только искусство письма, но и искусство мысли.

Некогда дух был богом, затем он стал человеком, а ныне становится он еще и чернью.

Кто кровью и притчами пишет, тот хочет, чтобы его не читали, а наизусть заучивали.

В горах кратчайший путь — с вершины на вершину: но для этого нужны длинные ноги. Пусть же притчи будут вершинами: а те, к кому говорят они, — большими и рослыми.

Воздух редкий и чистый, опасность близкая, и дух полный веселой злобы: так оно хорошо мирится одно с другим.

Я хочу, чтобы кобольды окружали меня, ибо я мужествен. Мужество, разгоняющее призраки, само создает себе кобольдов — это мужество хочет смеяться.

Я уже не чувствую так, как вы: это облако, которое я вижу под собой, эту тьму и тяжесть, над которыми смеюсь я, — для вас это грозное облако!

Вы смотрите вверх, когда стремитесь к возвышению. А я смотрю вниз, ибо я возвышен.

Кто из вас может одновременно смеяться и быть возвышенным?

Кто поднимается на высочайшие горы, тот смеется над всеми трагедиями сцены и над всеми трагедиями жизни.

Мужественными, беззаботными, насмешниками, насильниками — такими хочет нас мудрость: она женщина и любит только воинов.

Вы говорите мне: «Жизнь нести тяжело». Но к чему же вам тогда ваша гордость до полдня и ваша покорность вечером?

Жизнь нести тяжело: не притворяйтесь же такими неженками! Все мы изрядные вьючные ослы и ослицы.

Что общего у нас с бутоном розы, который дрожит, чуть капля росы соберется на его лепестках?

Верно: мы любим жизнь, но не потому, что привыкли к жизни, а потому, что к любви привыкли.

Есть в любви всегда немного безумия. Но есть всегда и немного разума в безумии.

Даже мне, — а я благожелателен к жизни, — кажется, что мотылькам и мыльным пузырям и всем, кто подобен им среди людей, скорее всего дается счастье.

Видеть, как порхают эти легкие, пустячные, красивые, подвижные созданыица, — вот что доводит Заратустру до слез и до песен.

Я бы уверовал только в того бога, который умел бы танцевать.

И когда я увидел своего черта, я нашел его серьезным, положительным, глубоким, торжественным: то был дух тяжести — из-за него падают все вещи.

Убивают не гневом — убивают смехом. Так воспряньте, и давайте убьем дух тяжести!

Я научился ходить: с тех пор я позволяю себе бегать. Я научился летать: с тех пор не хочу я ждать толчка, чтобы срываться с места.

Теперь я легкий, теперь я летаю, теперь я вижу себя над собой, теперь бог танцует в танце моем.

Так говорил Заратустра.

*
* * *

Око Заратустры увидело, что некий юноша избегает его. И вот как-то вечером, когда он бродил один по горам, которые обступают город, называемый «Пестрая Корова», внезапно набрел он, гуляя, на этого юношу, который сидел, прислонившись к дереву, и усталым взглядом смотрел в долину. Заратустра взялся рукой за дерево, под которым сидел тот юноша, и заговорил так:

Если бы я захотел вдруг потрясти это дерево руками, мне это было бы не под силу.

Зато ветер, для нас невидимый, терзает и гнет его, куда хочет. Всего жесточе нас гнут и терзают невидимые руки.

Тогда юноша встал в смущенье и сказал: «Я слышу Заратустру. Я только что думал о нем». Заратустра же отвечал:

«Чего же ты пугаешься? — Знай, с человеком бывает то же, что и с деревом.

Чем больше стремится он ввысь к небу и к свету, тем упорней корни его стремятся в землю, вниз, во мрак, в глубину — к злу».

«О да, к злу, — воскликнул юноша. — Как случилось, что ты открыл мою душу?»

Заратустра улыбнулся и сказал: «Иную душу никогда не откроют, разве что сперва ее выдумают».

«О да, к злу! — еще раз воскликнул юноша. —

Ты изрек истину, Заратустра! Я не верю даже самому себе с тех пор, как устремился ввысь, и уже никто не верит мне, — как это так случилось?»

Я меняюсь слишком стремительно: мое сегодня опровергает мое вчера. Я часто перескакиваю ступени, когда взбираюсь, — этого не прощает мне ни одна ступень.

Чуть я наверху, я оказываюсь всегда одиноким. Никто не говорит со мной, холод одиночества заставляет меня дрожать. Чего же хочу я на высоте?

Мое презрение и мое чаяние растут неразрывно; чем я выше взбираюсь, тем сильнее презираю того, кто взбирается. Чего хочет он на высоте?

О как стыжусь я своего восхождения и спотыкания! О как издеваюсь над своим тяжелым сопением! О как ненавижу взлетающих! О как устаю я на высоте!»

Здесь юноша умолк. Заратустра же рассматривал дерево, под которым они стояли, и говорил так:

Это дерево стоит одиноко на утесе. Оно далеко переросло человека и зверя.

И если бы оно захотело говорить, то не нашло бы никого, кто бы его понимал: так высоко выросло оно.

И вот оно ждет и ждет — чего же ждет оно? Оно к облакам подошло слишком близко: оно, верно, ждет первой молнии?

Когда Заратустра это сказал, юноша воскликнул порывисто: «Да, Заратустра, ты говоришь истину. Своей гибели искал я, когда порывался ввысь, и ты та молния, которую ждал я! Взгляни, что я теперь с тех пор, как ты явился нам? **З а в и с т ь** к тебе — она сокрушила меня!» — Так говорил юноша и горько плакал. Заратустра же обнял рукой его стан и увел его с собою.

И вот, когда они прошли немного вместе, стал Заратустра говорить так:

Разрывается сердце мое. Больше, чем все слова твои, говорит мне взор твой о грозящей тебе беде.

Еще не свободен ты — еще ты и щ е ш ь свободы. Переутомил тебя твой поиск бессонницей и бодрствованием.

В свободную высь порываешься ты, по звездам тоскует твоя душа. Но и твои дурные влечения тоскуют по свободе.

Твои дикие псы хотят на свободу; они радостно лают в своем подвале, когда твой дух стремится отворить все темницы.

Ты пока еще узник, о свободе мечтатель: ах, мудрой становится узников этих душа, но вместе дурной и коварной.

Должен очиститься и освобожденный духовно. От тюрьмы и от гнили еще много в нем: чистым должен стать его взор.

Да, я знаю твою опасность. Но всей любовью моей и надеждой заклинаю тебя: не гони от себя своей любви и надежды!

Благородным себя еще чувствуешь ты, и благородным тебя еще чувствуют все, кто зол на тебя, кто бросает злобные взгляды. Знай же, что всем поперек дороги стоит благородный.

И добрым стоит поперек дороги благородный: и даже когда они называют его добрым, они этим хотят устранить его.

Новое хочет создать благородный, новую добродетель. Старого хочет добрый и чтобы старое сохранялось.

Но не в том опасность для благородного, что он станет добрым, а в том, что он станет наглецом, насмешником, разрушителем.

Ах, я знал благородных, — они утратили свою высшую надежду. И вот клеветали они на все высокие надежды.

Теперь жили они, обнаглев, служа мимолетным усладам, и дальше, чем на день, не заглядывали вперед.

«И дух — похоть», — так говорили они. Тогда разбили крылья их духа: теперь ползает он и грязнит, когда гложет.

Когда-то мечтали героями стать и они: сластолюбцы — вот кто они теперь. Содрогание и скорбь — для них герой.

Но моей любовью и надеждой заклинаю тебя: не изгоняй героя из своей души! Свято храни свою высшую надежду! —

Так говорил Заратустра.

*
* * *

О проповедниках смерти

Есть проповедники смерти: и земля полна теми, перед кем следует проповедовать уход из жизни.

Полна земля лишними из лишних, испорчена жизнью счетно-несчетными. Пусть же их манят «вечной жизнью» из этой жизни!

«Желтые»: так называют проповедников смерти, или «черными». Я же покажу их вам еще и в иных цветах.

Вот они, свирепо-страшные, что носят внутри себя хищника и не знают иного выбора, кроме похотей или самоистязания. Но и похоти их самоистязания.

Еще не успели они стать людьми, эти страшные: пусть же проповедуют они об уходе из жизни и сами прахом идут!

Вот они, чахоточные душою: едва родились они, как уже умирать начинают и тоскуют по учениям усталости и отречения.

Они предпочитают быть мертвыми, и нам лучше не перечить их воле! Поостережемся же, как бы не пробудить этих мертвых и не повредить эти живые гробы!

Чуть встретится им больной, или старик, или труп: и тотчас говорят они: «Жизнь опровергнута».

Но только они опровергнуты, и их глаз, который видит только одно лицо у-бывания.

Окутанные мрачным унынием и падкие на маленькие случайности, которые смерть приносят: так ждут они и стискивают зубы.

Или иначе: они набрасываются на сласти и тут же посмеиваются над своим ребячеством: они цепляются за свою соломинку — жизнь и посмеиваются над тем, что все еще цепляются за соломинку.

Их мудрость гласит: «Глупец, кто остается жить, но какие же мы глупцы! И это и есть самое глупое в жизни!»

«Жизнь — сплошное страдание», говорят другие и не лгут: позаботьтесь же, чтобы вы прекратились! Так позаботьтесь же, чтобы жизнь прекратилась, раз она сплошное страдание!

И да гласит так учение вашей добродетели: «Ты должен сам себя убить! Ты должен сам себя украсть у бытия!» —

«Сладострастие — грех, — так говорят одни из тех, кто проповедует смерть, — позвольте же нам отстраниться и не рожать детей!»

«Рожать — трудно, — говорят другие, — к чему же рожать? Рожают только несчастных!» И они тоже проповедники смерти.

«Сострадание необходимо, — так говорят третьи. — Возьмите все, что есть у меня! Возьмите все, что сам я есмь! Тем слабее буду я привязан к жизни!»

Будь они всем нутром сострадательными, они от жизни отвратили бы своих ближних. Быть злыми — вот что было бы их подлинной добротой.

Но избавления от жизни хотят они: что им до того, если всех других еще крепче привяжут они к жизни своими цепями и дарами! —

Даже вы, для кого жизнь иступляющий труд и тревога: разве вы не до конца устали от жизни? Разве вы не до конца созрели для проповеди смерти?

Вы все, кому люб иступляющий труд и все, что стремительно, ново, неведомо, — вы плохо переносите себя, ваше усердие — бегство и воля к самозабвению.

Если бы вы больше верили в жизнь, вы бы меньше отдавались мгновению. Но внутри вас мало содержания, чтобы ждать, — мало даже для того, чтоб лениться!

Всюду разносится голос тех, кто проповедует смерть: и земля полна теми, пред кем следует проповедовать смерть.

Или «о вечной жизни»: что для меня одно и то же, — только бы они поскорей прахом пошли!

Так говорил Заратустра.



О войне и воинской братии

От наших злейших врагов не хотим мы пощады, как не хотим и от тех, кого мы всем нутром любим. Так позвольте мне сказать вам правду!

Собратья по войне! Я люблю вас всем своим нутром, я был и остаюсь вам подобным. К тому же я ваш злейший враг. Так позвольте мне сказать вам правду!

Я знаю зависть и ненависть вашего сердца. Вы недостаточно велики, чтобы не знать ни зависти, ни ненависти. Так будьте же достаточно велики, чтобы не стыдиться их!

И если подвижниками познания не по силам вам быть, то сумейте быть его воинами. Они попутчики и предвестники такого подвижничества.

Я вижу тьму солдат: как хотел бы я видеть тьму воинов! На единый образец скроена их одежда: да не будет на единый образец то, что скрыто под одеждой!

Я хотел бы вас видеть такими, чей глаз всегда ищет врага — в а ш е г о врага. У иных из вас ненависть проглядывает с первого взгляда.

Своего врага ищите впредь, свою войну ведите впредь, и за мысли свои! И когда ваша мысль падет, пусть ваша честность даже над этим ликует победно!

Любите мир, как средство к новым войнам. И короткий мир любите больше, чем длительный.

Вас призываю не к работе, а к борьбе. Вас призываю не к миру, а к победе. Ваша работа да будет борьбой, ваш мир да будет победой!

Можно молчать и тихо сидеть, если при вас стрелы и лук: иначе болтовня и брань. Ваш мир да будет победой!

Вы говорите, правое дело — вот что освящает даже войну? Я говорю вам: правая война — вот что освящает любое дело.

Война и доблесть свершили больше великих дел, чем любовь к ближнему. Не ваша жалость, а ваша храбрость спасала до сих пор обездоленных.

«Что хорошо?» — спросите вы. Быть храбрым хорошо. Предоставьте маленьким девочкам говорить: «Быть хорошим значит быть и красивым и трогательным».

Вас называют людьми без сердца: но ваше сердце правдиво, и люблю я стыдливость вашей сердечности. Вы стыдитесь своего прилива, а другие стыдятся своего отлива.

Вы безобразны? Добро же, собратья мои! Так окутайте себя возвышенным, этим плащом безобразного!

И когда ваша душа станет великой, тогда станет она заносчивой, и в вашей возвышенности скрыта злоба. Я знаю вас.

Во злобе сходится заносчивый со слабосильным. Но им не понять друг друга. Я знаю вас.

Вы вправе иметь только врагов, достойных ненависти, но не врагов, достойных презрения. Вы должны

гордиться вашим врагом: тогда успехи вашего врага — ваши успехи.

Бунт — благородство раба. Вашей гордостью да будет повиновение! Само ваше повеление да будет повиновением!

Для доброго воина «ты должен» звучит приятнее, чем «я хочу». И все, что любо вам, должны вы сперва повелеть себе.

Ваша любовь к жизни да будет любовью к вашей высшей надежде; а вашей высшей надеждой да будет высший помысел о жизни!

Но высший помысел ваш должны вы принять как мое повеление — а оно гласит: человек есть нечто, что должно преодолеть.

Живите же своей жизнью повиновения и войны! Что толку век-вековать! Какой воин ищет пощады!

Я вас не щажу, я вас люблю всем своим нутром, со братья по войне! —

Так говорил Заратустра.

*
* *
*

О новом идоле

Где-то еще есть стада и народы, но не у нас, братья мои: у нас государства.

Государство? Это что такое? Добро! Откройте же уши! Теперь я скажу вам мое слово о смерти народов.

Государство — это самое холодное среди самых холодных чудовищ. Холодно лжет оно; и вот какая ложь выползает из его пасти: «Я, государство, есмь народ».

Ложь! Созидателями были те, кто создал народы и повесил веру и любовь над ними: так служили они жизни.

Душители, вот кто ставит ловушки для многих и называет их государством: они повесили меч и несчет похотей над ними.

Где еще существует народ, там не понимает он государства и ненавидит его как дурной глаз и грех против обычаев и прав.

Такое знаменье даю я вам: каждый народ говорит на своем языке добра и зла: языка его не понимает сосед. Свой язык изобрел он себе в своих обычаях и праве.

Но государство лжет на всех языках добра и зла; и что ни скажет оно — солжет, и что ни имеет оно, все оно украло.

Все в нем подлог; крадеными зубами кусает оно, зубастое. Даже внутренности его — подлог.

Смешение языков добра и зла: это знаменье даю я вам как знаменье государства. Впрямь волю к смерти означает это знаменье! Впрямь оно подмигивает проповедникам смерти!

Счетно-несчетные рождаются на свет: для лишних из лишних изобретено государство!

Взгляните, как оно приманивает к себе, этих счетно-несчетных! Как оно проглатывает их, и жует, и пережевывает!

«Нет на земле большего, чем «я»: я емь упорядочивающий перст божий», — так рычит чудовище. И не только длинноухие и близорукие падают на колени!

Ах, и внутри вас, великие души, нашептывает оно свои темные лжи! Ах, оно угадывает богатые сердца, что охотно расточают себя!

Да, и вас разгадало оно, вас, победители старого бога! Вы устали от борьбы, и вот служит ваша усталость новому идолу!

Героями и людьми чести хотел бы он себя обставить, этот новый идол! Охотно греется он в солнечном сиянии безгрешных совестью, этот холодный изверг!

Все готов он в а м дать, если в ы ему поклонитесь, новому идолу: так покупает он себе блеск вашей доблести и взор ваших гордых глаз.

Уловить на приманку хочет он вами этих счетно-несчетных! Да, адская штука тут изобретена, конь смерти, брэнчащий убором божеских почестей!

Да, смерть для несчетно-многих тут изобретена, смерть, что сама себя прославляет как жизнь: впрямь на радость всем проповедникам смерти!

Государством именую я, где все потребители яда, и хорошие, и дурные: государством, где все сами себя теряют, и хорошие, и дурные: государством, где медленное самоубийство всех называется — «жизнь».

Взгляните-ка на этих лишних из лишних! Они воруют изобретения и сокровища мудрых: образованием называют они свое воровство, — и все обращается для них в болезнь и злую напасть!

Взгляните-ка на этих лишних из лишних! Они всегда больны, они изрыгают свою желчь и называют это газетой. Они проглатывают друг друга, но не в силах даже переварить один другого.

Взгляните-ка на этих лишних из лишних! Богатства стяжают они и оттого нищают. Власти хотят они и прежде всего рычага власти, денег, — таковы они, эти немощные-неимущие!

Взгляните, как карабкаются они, эти проворные обезьяны! Они карабкаются друг через друга и в передрыге срываются в грязь и низину.

К трону стремятся все они: в том их безумие, — как будто счастье восседает на троне! Часто грязь восседает на троне — часто сам трон стоит на грязи.

Безумцы они для меня, и карабкающиеся обезьяны, и оголтелые головы. На мой нюх дурно пахнет их идол, это холодное чудовище: на мой нюх дурно пахнут они, все вместе взятые, эти идолопоклонники.

Братья мои, разве вы задохнуться хотите от смрада их похотей? Лучше разбейте окна и прыгайте на волю!

Посторонитесь же от скверного запаха! Прочь от идолопоклонства лишних из лишних!

Посторонитесь же от скверного запаха! Прочь отступите от чада этих человеческих жертв.

Свободна еще и теперь для великих душ земля. Пустует еще множество мест для отшельников — мест, овеваемых запахом тихих морей.

Свободна еще кругом для великих душ свободная жизнь. Впрямь, кто малым доволен, тот и не приневолен: хвала неприметной бедности!

Лишь там, где кончается государство, начинается человек, не лишний из лишних: там начинается песнь Необходимого — неповторимый, незаменимый напев.

Там, где к о н ч а е т с я государство, — так взгляните же туда, братья мои! Разве не видите вы эту радугу и эти мосты сверхчеловека? —

Так говорил Заратустра.

*
* *
*

О базарных мухах

Беги, мой друг, в свое уединение! Я вижу тебя оглушенным шумихой великих людей и изжаленным жалами малых.

Мудро умеют леса да утесы наедине с собою молчать. Вновь уподобись дереву, которое ты любишь, дереву раскидистому: тихо, вслушиваясь, нависает оно над морем.

Где кончается уединение, там начинается базар; и где начинается базар, там начинается шумиха великих лицедеев, жужжание ядовитых мух.

В мире даже наилучшие вещи ничего не стоят, если нет героя, который их представляет: великими людьми называет народ этих комедиантов.

Мало что смыслит народ в великом, то есть в создающем. Зато чувствами он богат для всех комедиантов и лицедеев великих событий.

Вокруг избирателей новых ценностей вертится мир: — незримо вертится он. А вокруг актеров вертятся народ и слава: таково течение мира сего.

Есть у актера дух, но мало совести духа. Всегда верит он в то, чем он сильнее всего вынуждает верить — верить в с е б я!

Завтра у него новая вера, послезавтра еще того новее. Чувства его быстротечны — как у народа, и нрав переменчив.

Опрокинуть — значит у него: доказать. Сбить кого с толку — значит у него: убедить. А кровь для него всем доводам довод.

Истину, которая проскальзывает только в тонкие уши, называет он ложью и «ничто». Впрямь, он верует только в богов, поднимающих в мире большую шумиху!

Полон важными скоморохами базар — и народ похваляется своими великими людьми! — они для него господа дня.

Но день торопит их: потому и они торопят тебя. И одно требуют они от тебя: да или нет. Горе, неужели ты хочешь усесться на стуле между за и против?

Из-за этих безусловных и торопливых не пылай ревностью, любовник истины! Никогда еще не вешалась истина на руку безусловного.

Из-за этих внезапных возвращайся обратно в свое убежище: да или нет? — с ними накидываются только на базаре.

Длительно переживают все глубокие колодцы: долго надо им ждать, пока им удастся познать, что упало в их глубину.

В сторону от базара и славы удаляется все великое: в стороне от базара и славы жили спокон веков изобретатели новых ценностей.

Беги, мой друг, в свое уединение: я вижу тебя изжальленным ядовитыми мухами. Беги туда, где веет суровый, ядреный воздух!

Беги в свое уединение! К маленьким и жалким жила ты слишком близко. Беги от их незримой мести! В сравнении с тобою они насквозь Месть.

Не поднимай и руки против них! Несчетны они, и не твой жребий быть хлопущей для мух.

Несчетны они, эти маленькие и жалкенькие; иному гордому зданию дождевые капли и сорняки уже служили к гибели.

Ты не камень, но ты уже стал полным от несчетных капель. Ты еще лопнешь и рассыплешься от множества капель.

Усталым я вижу тебя от ядовитых мух, до крови исцарапанным вижу тебя в тысяче мест; твоя гордость не хочет даже возненавидеть.

Крови хотелось бы им от тебя при всей их невинности, крови жаждут их бескровные души — и вот жалят они при всей невинности.

Но ты, глубокий, ты страдаешь слишком глубоко даже от маленьких ран; и еще не успел ты исцелиться, а уж тот же ядовитый червяк ползет по твоей руке.

Но слишком ты горд, чтобы убивать этих лакомок. Берегись, однако, чтобы не стало для тебя роком сносить всю их ядовитую неправоту!

Они обжужжали тебя даже своим славословием: навязчивость их славословие. Они ищут близости твоей кожи и твоей крови.

Они льстят тебе словно богу или дьяволу; они визжат перед тобою словно перед богом или дьяволом. Что с того! Льстецы они и визгуны, и только.

Часто они даже прикидываются перед тобой любезными. Таково всегда лукавство трусов. Да, трусы лукавы!

Они умничают на твой счет в своей тесной душонке — сомнителен ты в их глазах всегда! Все, о чем много умствуют, становится сомнительным.

Они карают тебя за все твои добродетели. Они прощают тебе от души только — твои промахи.

Так как ты кроток и правосуден, ты говоришь: «невиновны они в своем маленьком бытии». Но их тесная душонка думает: «Виновно всякое великое бытие».

Если даже ты милостив к ним, они все еще чувствуют твое презрение; и они возвращают тебе твое благодеяние тайными злодеяниями.

Твоя безмолвная гордость всегда претит их вкусу; они ликуют, тогда ты случайно бываешь настолько скромным, чтобы быть тщеславным.

Что мы раскрываем в человеке, то мы и разжигаем в нем. Итак, остерегайся малых сих!

Перед тобой они чувствуют себя маленькими, и их низость тлеет и пылает против тебя незримой мезтью.

Не замечал ли ты, как часто немели они, когда ты к ним подходил, и как их сила уходила от них, словно дым от угасающего огня?

Да, друг мой, укор совести — вот кто ты для своих ближних: ибо они не стоят тебя. Потому ненавидят они тебя и охотно высосали бы из тебя всю кровь.

Твои ближние будут всегда ядовитыми мухами; чем ты велик, — то и делает их все более ядовитыми и все более мухообразными.

Беги, мой друг, в свое уединение и туда, где веет суровый, ядреный воздух! Не твой жребий — быть хлопшкой-для-мух. —

Так говорил Заратустра.



О целомудрии

Я люблю лес. В городах плохо жить: там слишком много страстных.

Разве не лучше попасться в руки убийце, чем в мечту страстной женщины?

И посмотрите-ка на этих мужчин: их глаза говорят, — ничего лучше не знают они на земле, как лежать, прильнув к женщине.

Слизь на дне их души: и горе, если в их слизи есть еще вдобавок и дух!

Будьте хотя бы как звери совершенны! Но от зверя неотделима невинность.

Разве я призываю вас к умерщвлению чувства? Я призываю вас к невинности чувств.

Разве я призываю вас к целомудрию? Целомудрие у некоторых добродетель, но у большинства почти что порок.

Эти-то воздерживаются, пожалуй: но сука-чувственность с завистью выглядывает отовсюду, за что бы они ни взялись.

Даже на высоты их добродетели и в самую глубь их холодного духа следует за ними эта зверюга и все ее беспокойство.

И как учтиво умеет эта сука-чувственность вымаливать кусок духа, когда ей отказывают в куске мяса!

Вы любите быть зрителями трагедий и всего, что терзает сердце? Но мне подозрительна ваша сука.

У вас слишком свирепые глаза, и вы смотрите сладострастно на страдающих. Не переоделось ли ваше сладострастие и не называется ли оно теперь состраданием?

И еще вот какую притчу приведу я вам: немало из желавших изгнать своего беса вселилось в свиней.

Кому целомудрие в тягость, тому надо его отсоветовать: дабы не стало оно дорогой в ад — то есть к слизи и похоти души.

Я говорю о грязном? Так это, на мой взгляд, не самое худое.

Не тогда, когда истина грязна, а тогда, когда истина мелка, познающий неохотно вступает в ее воды.

Впрямь, есть всем нутром целомудренные: они более кротки сердцем, они смеются охотнее и чаще, чем вы.

Они смеются и над целомудрием и спрашивают: «Что такое целомудрие?»

Не есть ли целомудрие глупость? Но эта глупость пришла к нам, а не мы к ней.

Мы предложили этой гостье приют и приязнь: и вот живет она у нас — пусть же остается, сколько ей заблагорассудится!»

Так говорил Заратустра.



О друге

«Один всегда около меня лишний, — так думает отшельник. — Всегда один на один — со временем дает два!»

«Я» и «меня» всегда слишком рьяны в беседе: как вытерпеть это, не будь на свете друга?

Для отшельника друг всегда третий: третий — это пробка, чтобы не позволить беседе двух погрузиться в темную глубь.

Ах, слишком много глубин для отшельников. Потому так тоскуют они по другу и по его высоте.

Наша вера в других выдает, во что хотелось бы нам верить в себе самих. Наша тоска по другу наш предатель.

Нередко с помощью любви хотят лишь перепрыгнуть через зависть. Нередко уязвляют и создают себе врага, чтобы скрыть свою уязвимость.

«Будь хоть врагом моим!» — так говорит истинное благоговение, которое не рискует просить о дружбе.

Когда хотят иметь друга, надо хотеть вести войну за него: чтобы вести войну, надо уметь быть врагом.

В своем друге надо еще и чтить врага. Можешь ли ты подступить к своему другу вплотную, но так, чтобы не переступить на его сторону?

В своем друге надо иметь своего лучшего врага. Ты должен к нему всем сердцем прилепиться, если ты противоборствуешь ему.

Ты не хочешь носить перед своим другом одежды? Для твоего друга должно быть честью, что ты предстал перед ним таким, каков ты есть? Но он за это шлет тебя к черту!

Кто себя не скрывает, тот против себя возмущает: настолько основательна у вас причина бояться наготы! Да, если бы вы были богами, вы могли бы стыдиться своих одежд!

Не нарядиться тебе достаточно красиво для своего друга: ибо ты должен быть для него стрелой и чаяньем по сверхчеловеку.

Видел ли ты своего друга спящим, — чтобы узнать, как он выглядит? Да и что такое вообще лицо твоего друга? Это твое собственное лицо в грубом и несовершенном зеркале.

Видел ли ты когда своего друга спящим? Не испугался ли ты, что твой друг так выглядит? О, мой друг, человек есть нечто, что должно преодолеть.

И в искусстве угадывания и молчания должен быть умельцем друг: не все следует тебе хотеть видеть. Сно-

видение может выдать тебе, что творит твой друг, бодрствуя.

Да будет угадыванием твое сострадание: чтобы ты прежде узнал, хочет ли твой друг сострадания. Быть может, он любит в тебе неослабное око и взор вечности.

Пусть сострадание к другу живет скрыто под твердой скорлупой; на нем ты должен себе зуб стереть. Так обретет оно свою ценность и сладость.

Чистый ли ты воздух, и одиночество, и хлеб, и лекарство для своего друга? Иной от собственных цепей не в силах избавиться и все же для друга он избавитель.

Если ты раб? Тебе не надо быть другом. Если ты тиран? Тебе не надо иметь друзей.

Слишком долго жил в женщине скрытый раб и тиран. Потому женщина и не доросла до дружбы: она знает только любовь.

В любви женщины есть несправедливость и слепота ко всему, чего не любит она. Но и в зрячей любви женщины все еще есть нечаянность, и молния, и ночь рядом со светом.

Еще не доросла женщина до дружбы: все еще женщины кошки и птицы. Или в лучшем случае коровы.

Еще не доросла женщина до дружбы. Но скажите мне, вы, мужчины, кто из вас дорос до дружбы?

О, эта ваша бедность, мужчины, и эта ваша скупость души! Сколько вы уделяете другу, столько уделю я лучше врагу своему, да и не стану от этого беднее.

Бывает товарищество: да будет дружба!

Так говорил Заратустра.

*
* * *

Много стран видел Заратустра и много народов: так открыл он многих народов добро и зло. Не нашел Заратустра на земле большей власти, чем добро и зло.

Жить не мог бы народ, не умея он оценивать; хочет он сохранить себя, так не должен он оценивать, как оценивает сосед.

Многое, что одобрял один народ, в глазах другого было посмешищем и позором: вот что обрел я. Много нашел я такого, что здесь называлось злом, а там обряжалось в пурпур почестей.

Никогда ни один сосед не понимал другого: неизменно изумлялась его душа безумию и злобе соседа.

Скрижаль высших благ висит над каждым народом. Вглядись, то скрижаль его преодолений; взглядишь, то голос его воли к власти.

То похвально, что ему трудно дается; что непреложно и трудно, то называет он добром; а что из крайней нужды вызволяет: самое редкое, самое трудное — нарекает он священным.

Все, что ведет к его господству, победе и блеску на зависть и страх соседу, — принимает он за высокое, первое, за мерило, за смысл всех вещей.

Впрямь, о брат мой, стоит узнать тебе нужды народа, и страну, и небо, и соседа его: тогда дано угадать тебе и закон его преодолений, и то, почему по этой лестнице взбирается он к своей надежде.

«Ты должен быть всегда первым и превышать других: не должна никого любить твоя ревнивая душа, разве что друга» — вот что заставляло трепетать душу грека: и он шел своей дорогой величия.

«Резать правду и луком и стрелами искусно владеть», — вот что казалось и желанным, и трудным тому

народу, от которого идет имя мое — имя, которое мне и желанно, и трудно нести.

«Чтить отца своего и мать свою и до самого корня души покорствоваться воле их» — эту скрижаль преодоления повесил над собою другой народ и стал потому могучим и вечным.

«Верность блюсти и верности ради отдать честь и кровь даже за недоброе и опасное дело»: так, поучая себя, превозмогал себя другой народ, и так, превозмогая себя, стал он тяжел и чреват великими надеждами.

Впрямь, люди сами себе дали все их добро и зло. Впрямь, они не приняли его, не нашли его, не оказалось оно перед ними, как раздается голос с неба.

Человек впервые вложил ценности в вещи, чтобы сохранить себя, — он создал смысл вещей, человеческий смысл! Потому и называет он себя «человек» — это значит «оценивающий».

Ценить значит созидать: услышьте же это вы, созидатели! Ценить — в том драгоценность и сокровище всех ценных вещей.

Из оценки впервые возникает ценность: без оценки пуст был бы орех бытия. Услышьте же это, вы, созидатели!

Смена ценностей — смена создателей. Вечно уничтожает тот, кому дано быть творцом.

Созидателями были сперва народы и лишь много позднее единичные личности. Впрямь, сама единичная личность — еще самое юное из творений.

Народы некогда повесили над собой скрижаль добра. Любовь, рожденная господствовать, и любовь, рожденная повиноваться, — они вместе создали себе такие скрижали.

Древнее порыв к стаду, чем порыв к «я»: и пока добрая совесть называется стадом, только дурная совесть говорит: «я».

Впрямь, лукавое «я», безлюбное «я», которое в пользу многих ищет пользу свою: то не за-рождение стада, а его за-хождение — гибель, закат.

Любящими были те и созидающими, кто создал добро и зло. Пламя любви пылает в именах всех добродетелей и пламя гнева.

Много стран видел Заратустра и много народов: не нашел Заратустра на земле большей власти, чем дела любящих: «добро» и «зло» — имя им.

Впрямь, чудовище — власть этой хвалы и хулы. Скажите, кто укротит его, о братья? Скажите, кто наложит этому зверю цепи на его тысячи вый?

Тысячи целей были до сих пор, ибо были тысячи народов. Только цепей недостает пока на эти тысячи вый, недостает единой цели. Еще нет у человечества цели.

Но скажите же мне, братья мои: если человечеству недостает еще цели, так не недостает ли, пожалуй, и... самого человечества? —

Так говорил Заратустра.

*
* * *

О любви к ближнему

Вы теснитесь вокруг ближнего и вы богаты для этого красивыми словами. Но я говорю вам: ваша любовь к ближнему — это ваша дурная любовь к самим себе.

Вы спасаетесь у ближнего от самих себя и рады видеть в том добродетель: но я насквозь вижу всю вашу «самоотверженность».

«Ты» старше, чем «я»; «ты» к святым причтено, а не «я»: потому жметя человек к ближнему своему.

Так я призываю вас любить ближнего? Скорее, я призываю вас бежать от ближнего и любить дальнего!

Выше, чем любовь к ближнему, стоит любовь к дальнему и грядущему; еще выше, чем любовь к человеку, ценю я любовь к вещам и призракам.

Этот призрак, перед тобой пробегающий, о брат мой, прекраснее тебя; почему не отдашь ты ему свою плоть и кость? Но тебе страшно и ты бежишь к своему ближнему.

Вы стали сами для себя нестерпимы и недостаточно любите себя: и вот хотите ближнего и позолотить себя его заблуждением.

Я хотел бы, чтобы нестерпимы вам стали всяческие ближние и их соседи; тогда бы из самих себя пришлось вам создать себе друга и его изливающегося через край сердце.

Вы на дом к себе зовете свидетеля, когда хотите о себе лестно говорить; и когда вы соблазните его лестно думать о вас, сами вы думаете лестно о себе.

Лжет не только тот, кто говорит наперекор своему знанию, но по-настоящему лжет тот, кто говорит наперекор своему незнанию. Вот вы говорите о себе и ложью о себе при общении обманываете соседа.

Так говорит глупец: «Общение с людьми портит характер, особенно если у тебя его нет».

Один идет к ближнему, когда ищет себя, а другой — желая потерять себя. Ваша дурная любовь к самим себе творит из вашего одиночества камеру-одиночку.

Дальние — вот кто расплачивается за вашу любовь к ближнему; и даже если вас собралось всего лишь пятеро, должно умереть шестому.

Не люблю я и ваши праздники: слишком много актеров находил я там; к тому же и зрители кривлялись часто не хуже актеров.

Не о ближнем учу я вас, а о друге. Да будет друг для вас праздником земли и чааньем сверхчеловека.

Я учу вас о друге и о его переполненном сердце. Но надо уметь губкою быть, чтобы полюбили вас переполненные сердца.

Я учу вас о друге, в котором мир предстоит завершённым, чаша добра, — о созидающем друге, что всегда готов подарить вам завершённый мир.

И как для него развернулся мир, так вновь для него он и свивается в кольца, как становится добро из зла, как становится цель из случайности.

Да будет грядущее и дальнейшее причиной твоего сегодня: ты должен в своем друге возлюбить сверхчеловека как свою причину.

Братья мои, любить ближнего не призываю я вас: я призываю вас любить дальнего.

Так говорил Заратустра.



О пути созидателя

Ты хочешь, брат мой, уйти в уединение? Хочешь найти к самому себе путь? О, помедли еще немного и выслушай меня.

«Кто ищет, тот легко теряется сам. Всякое уединение — вина»: так говорит стадо. А ты долго принадлежал к стаду.

Этот голос стада еще зазвучит и в тебе. И чуть скажешь ты: «У меня и у вас не одна и та же совесть», — это прозвучит жалобой и скорбью.

Подумай, самую эту скорбь родила еще единая совесть: и этой совести последний отблеск рдеет еще на твоей печали.

Но ты хочешь идти по пути своей печали, он же есть путь к самому себе? Так яви мне свое право и свою силу на то!

Новая ли ты сила и новое ли право? Перводвижение? Самокатящееся колесо? Можешь ли ты принудить звезды, чтоб они кружились вокруг тебя?

Ах, сколько же на свете алчности к возвышению! Сколько судорог честолюбия! Яви мне, что ты не из числа алчных и честолюбивых!

Ах, есть на свете столько великих мыслей, от которых пользы не больше, чем от мехов: они раздувают и делают более пустыми.

Свободным называешь себя? Господствующую в тебе мысль хочу я услышать, а не то, что ты ускользнул от ярма.

Тот ли ты, впрямь, кто был в п р а в е ускользнуть от ярма? Есть не мало таких, кто, отбросив свое холопство, отбросил свою последнюю ценность.

Свободный от чего? Что до этого Заратустре? Ясностью пусть возвещает мне твое око: свободный д л я ч е г о?

В силах ли ты дать самому себе свое зло и свое добро и повесить волю свою над собой как закон? В силах ли ты быть самому себе и судьей и мстителем своего же закона?

Страшно быть наедине с глазу на глаз с судьей и мстителем собственного закона. Так звезда бывает выброшена в пустынную прострannость и в ледяное дыхание одиночества.

Еще сегодня страдаешь ты от множества, ты, одинокий: еще сегодня при тебе все твое могущество и твои упования.

Но день придет, и утомит тебя одиночество, день придет, и скрючится твоя гордость, и твое мужество хрустнет. Вопить будешь ты в тот день: «Я одинок!»

День придет, и не увидишь ты больше высокого в себе, а свое низкое слишком близко увидишь; само возвышенное в тебе будет пугать тебя как привидение. Вопить будешь ты в тот день: «Все — обман!»

Есть чувства, которые готовы убить одинокого; не удалось им убить, — тогда они сами должны умереть! Но по плечу ли тебе быть убийцей?

Знакомо ли уже тебе, брат мой, слово «презрение»? И знакома ли пытка твоей справедливости — быть справедливым к тем, кто тебя презирает?

Ты принуждаешь многих смотреть на себя иными глазами; за это они предъявляют тебе жесткий счет. Ты подошел к ним близко и все же прошел мимо них: этого они тебе не простят никогда.

Ты далеко превзошел их: но чем выше поднимаешься ты, тем меньшим кажешься ты глазу зависти. Но больше всего ненавистен окрыленный.

«Как же намеревались вы быть ко мне справедливыми! — должен ты сказать. — Я выбираю для себя вашу несправедливость как мне определенную долю».

Несправедливостью и грязью забрасывают они одинокого: но, брат мой, если ты хочешь быть звездой, то это не значит, что ты должен светить им слабее!

И остерегайся добрых и праведных! Они охотно распинают тех, кто создает для себя свою собственную добродетель, — они ненавидят одинокого.

Но остерегайся и святой простоты! Для нее все то не свято, что не простовато; она охотно играет и с огнем — с огнем костров.

Остерегайся и своей любви! Слишком поспешно одинокий протягивает руку тому, кто ему повстречается.

Иному молодцу следует протянуть не руку, а только лапу: и я хочу, чтобы у лапы твоей были еще и когти.

Но злейшим врагом, с которым можешь встретиться ты, будешь всегда ты сам себе; ты сам подкарауливаешь себя в лесах и берлогах.

Одинокий, ты идешь по пути, ведущему к тебе самому! И мимо тебя проходит твой путь и мимо твоих семи бесов!

Еретиком будешь ты сам для себя, и ведуном, и прощателем, и дураком, и недовером, и нечестивцем, и злодеем.

Сжечь себя волен хотеть ты в собственном пламени: как же хотел ты обновиться, не став сперва пеплом!

Одинокий, ты идешь путем созидающего: ты хочешь бога создать себе из своих семи бесов!

Одинокий, ты идешь путем любящего: самого себя ты любишь и потому презираешь себя так, как презирают только любящие.

Созидать хочет любящий, ибо он презирает! Что знает тот о любви, кто не должен был презирать именно то, что любил.

Со своею любовью иди в свое уединение, и со своим созиданием, брат мой; и только позднее за тобою вслед заковыляет справедливость.

С моими слезами иди в свое уединение, брат мой. Я люблю того, кто хочет создать нечто превыше и сверх себя и так прахом идет. —

Так говорил Заратустра.

О старых и молодых женках

«Что так робко крадешься ты в сумерках, Заратустра? И что скрываешь ты бережно у себя под плащом?

Иль это клад тебе подарен? Или дитя тебе рождено? Иль ты сам ходишь воровскими путями, ты, друг злобных?» —

Впрямь, о брат мой! — сказал Заратустра, — это клад, мне подаренный: маленькая истина — ее несущая.

Но она капризна как малое дитя; и если я не затыкну ей рта, то она завопит благим матом.

Когда сегодня я шел своим путем, один, в пору, когда садится солнце, повстречалась мне старая женка и так молвила к моей душе:

«Разное говорил Заратустра также и нам, женщинам, но никогда не говорил он нам о женщине».

И я сказал ей в ответ: «О женщине следует говорить только в глаза мужчинам».

«Скажи и мне о женщине, — проговорила она; — я достаточно стара, чтобы тотчас обо всем позабыть».

И я уступил просьбе старой женки и говорил ей так:

Все в женщине загадка, и все в женщине имеет свою разгадку: имя же ей беременность.

Мужчина для женщины только средство: а цель — всегда ребенок. Но что такое женщина для мужчины?

Двоякого хочет настоящий мужчина: опасности и игры. Потому и хочет он женщину, как опаснейшую игрушку.

Для войны должен быть воспитан мужчина, а женщина для отдохновения воина: все прочее — вздор.

Переслащенные плоды воину не по вкусу. Потому по вкусу ему женщина; ибо горька даже сладчайшая женщина.

Лучше мужчины смыслит женщина в детях, но мужчина больше дитя, чем женщина.

В настоящем мужчине скрыто дитя: оно хочет играть. Пробудитесь, женщины, откройте же мне дитя в мужчине!

Да будет игрушкой женщина, красивой и чистой, как драгоценный камень, излучающий добродетели мира, который еще не создан.

Луч звезды пусть сияет в вашей любви! Пусть гласит ваша надежда: «О если бы мне родить сверхчеловека!»

В вашей любви да будет отвага! С вашей любовью на того наступайте, кто внушает вам страх!

В вашей любви да будет вам честь! Мало смыслят женщины в чести. Но да будет вашей честью: сильнее любить, чем вы сами любимы, и вторыми не быть никогда.

Пусть мужчина боится женщины, когда она любит: тогда готова она на любую жертву, а все прочее ей ни к чему.

Пусть мужчина боится женщины, когда она ненавидит: потому что мужчина в глубине души только зол, женщина же дурна.

Кого ненавидит женщина неистребимо? — Так говорило железо магниту: «Я тебя ненавижу неистребимо, ибо ты притягателен, но ты не настолько силен, чтобы к себе притянуть».

Счастье мужчины гласит: я хочу. Счастье женщины гласит: он хочет.

«Смотри, вот только сейчас мир стал совершенен!» — так думает каждая женщина, когда повинуется от полноты любви.

И повиноваться — долг женщины, и глубину находить для своей поверхности. Поверхность — чувство женщины, подвижная, бурливая пенка на мелководье.

Зато чувство мужчины глубоко, его поток шумит в подземных пещерах: женщина чувствует его силу, но не в силах ее понять. —

Тогда молвила мне в ответ старая женка: «Много любезных вещей наставлял Заратустра, и особенно для тех, кто для этого достаточно молод.

Странно, Заратустра мало знает женщин, и все же он не ошибся в них! Потому ли это, что от женщины можно всего ожидать?

Так прими же в благодарность маленькую истину! Я ведь достаточно стара для нее!

Запеленной ее и заткни ей рот: не то она завопит благим матом, эта маленькая истина».

«Дай мне, женщина, твою маленькую истину!» — сказал я. И так говорила старая женка:

«Ты идешь к женщинам? Так плетку не забудь!» —

Так говорил Заратустра.

*
* * *

Об укусе ехидны

Однажды задремал Заратустра под инжировым деревом — было жарко, и прикрыл он руками свое лицо. И вот подползла ехидна и укусила его в шею, так что Заратустра вскрикнул от боли. Когда же он отнял от лица руку, взглянул он пристально на змею: и узнала змея глаза Заратустры, повернулась неловко и хотела дать тягу. «Погоди-ка, — сказал Заратустра; — еще ты не приняла от меня благодарности. Ты вовремя разбудила меня, мой путь еще долог». «Твой путь уже короток, — сказала грустно ехидна; — мой яд смертелен». Заратустра улыбнулся. «Где это видано, чтобы дракон умирал от яда змей? — сказал он. — Но возьми обратно свой яд! Ты не настолько богата, чтобы его мне дарить». Тогда ехидна вторично обвилась вокруг его шеи и вылизала ему его рану.

Когда Заратустра однажды рассказал об этом ученикам своим, они спросили: «А какова, о Заратустра, мораль этой истории?» Заратустра отвечал на это так:

Крушителем морали называют меня добрые и праведные: история моя аморальна.

Потому, если есть у вас враг, не воздавайте ему за зло добром: это устыдило бы его. А объявите, что он сделал вам нечто доброе.

И уж лучше браните, но не стыдите! И когда проклинают вас, то не по нраву мне всякий раз, что вы готовы благословлять. Лучше слегка попроклинать сообща!

И коль претерпели вы большую неправду, поскорей совершайте пять маленьких впридачу! Нестерпимо смотреть на того, кто придавлен неправдой к земле.

Знали ли вы уже это? Разделенная неправда — наполовину право. И пусть тот возьмет на себя неправду, кто ее в силах нести!

Маленькая месть человечнее, чем никакая. И если кара не есть право и честь также и для преступившего, то знать не хочу я вашей кары.

Благороднее признать себя неправым, чем оправдать себя, особенно если кто прав. Только надо быть достаточно для этого богатым.

Знать не хочу я вашей холодной справедливости; а из глаз ваших судей глядят на меня всегда палач и его холодное железо.

Скажите мне, где найти справедливость — любовь со зрячими глазами?

Так создайте же мне любовь, ту, которая не только всю кару — но несет на себе и всю вину!

Так создайте же мне справедливость, которая оправдает любого, но не того, кто судья!

Или вы хотите еще и это слово услышать? У того, кто в корне хочет быть справедливым, ложь и та обратится в человеколюбие.

Но как мог бы я быть справедливым в корне! Как могу я каждому воздать свое! С меня того хватит: каждому воздаю я мое.

Наконец, братья мои, бойтесь обидеть неправдой отшельников! Как мог бы отшельник забыть! Как мог бы он отплатить!

Как глубокий колодезь — таков отшельник. Легко бросить камень в глубину; но если камень достал до дна, скажите, кто же вытащит его на свет?

Бойтесь же обидеть отшельника! Но раз вы сделали это, что ж, так и убейте его!

Так говорил Заратустра.

*
* * *

О ребенке и браке

Я задаю вопрос тебе одному, брат мой: словно свинцовый лот бросаю я мой вопрос в твою душу, чтобы знать, как глубока твоя душа.

Ты желаешь ребенка и брака. Но задаю вопрос: тот ли ты, кто в п р а в е желать ребенка?

Ты победитель иль самоукротитель, повелитель страстей, господин своих добродетелей? Такой я задаю вопрос.

Или говорит в твоем желании зверь и потребность? Иль одиночество? Или разлад с самим собою?

Я хочу, чтобы твоя победа и твоя свобода тосковали по ребенку. Живые памятники должен ты воздвигать своей победе и освобождению.

Превыше и сверх себя должен ты воздвигать. Но сперва должен ты сам воздвигнуться, стройный телом и душой.

Не только должен ты впредь насаждать себя, но и воздвигать ввысь. Да поможет тебе в этом сад брака!

Высшее тело должен ты создать, перводвижение, самокатящееся колесо — созидателя должен ты создать.

Брак: так называю я волю к бытию вдвоем, чтобы создать одного, большего тех, кто его создал. Благоговение друг перед другом называю я браком, перед волеизъявителями такой воли.

Это да будет смыслом и правдой твоего брака. Но что счетно-несчетные называют браком, эти лишние из лишних — ах, как мне это назвать?

Ах, эта бедность души вдвоем! Ах, эта грязь души вдвоем! Ах, этот жалкий уют жить вдвоем!

Браком называют они все это; и они утверждают, будто брак их заключен на небе.

Так вот знать не хочу я его, этого неба лишних из лишних! Нет, знать не хочу я их, этих опутанных сетью небесной зверей!

Пусть подальше от меня остается и бог, который тащится, ковыляя, благословлять то, что он не соединял!

Не смейтесь же над такими браками. У какого ребенка нет основания сетовать на своих родителей?

Достойным казался мне этот муж и зрелым для смысла Земли: но когда я увидел его жену, земля показала мне домом безумцев.

Да, я хотел бы, чтобы Земля содрогалась всякий раз, как святой сочетается с гусыней.

Иной вышел, как герой, на поиски истины и наконец добыл себе маленькую нарядную ложь. Своим браком называет он это.

Другой недоступен был в общении и разборчив при выборе. И вдруг разом испортил свое общество: браком называет он это.

Третий искал служанку с добродетелями ангела. И вдруг сразу сам стал служанкой женщины, и дело лишь за тем, чтоб он вдобавок стал еще ангелом.

Осмотрительными находил я теперь всех покупателей, и у всех у них глаза пройдох. Но жену себе и из пройдох пройдоха покупает все же в мешке.

Много коротких безумств — вот что называется у вас любовью. И ваш брак кладет конец многим коротким безумствам — одна долгая глупость.

Ваша любовь к жене и любовь жены к мужу: ах, если б она была состраданием к страдающим и сокрытым богам! Но обычно две бестии угадывают друг друга.

Но и ваша всеильная любовь есть только восторженный символ и болезненный жар. Яркий факел она, чтобы бросать вам свет на высшие пути.

Превыше и сверх себя задано впредь любить вам! Так н а у ч и т е с ь же любить! Потому и должны вы были испытать горькую чашу вашей любви.

Есть горечь в чаше даже всеильной любви: так вызывает тоску она по сверхчеловеку, так вызывает жажду она — в тебе, созидающем!

Жажду в созидающем, стрелу-тоску по сверхчеловеку: говори, брат мой, это ли твоя воля к браку?

Священны мне воля такая и такой брак. —

Так говорил Заратустра.



О свободной смерти

Многие умирают слишком поздно, а иные умирают слишком рано. Еще чуждо звучит учение: «Вовремя умри!»

Вовремя умри: так учит Заратустра.

Впрямь, кто вовремя не живет, как умереть ему вовремя? Лучше бы ему никогда не родиться! — Так советую я лишним из лишних.

Но лишние из лишних придают еще важность своей смерти, и даже сплошь пустой орех хочет, чтобы его разгрызли.

Нечто важное видят все люди в смерти: но смерть все еще не праздник. Не научились еще люди, как освящать прекрасные праздники.

Совершенную смерть покажу я вам: для живых эта смерть и жало и обетованье.

Своей смертью умирает свершитель, победоносно, в кругу верных надежде и верных обету.

Нам бы так умирать научиться; и не было бы праздника, где бы такой умирающий не освящал клятвы живущих!

Умирать так — наилучший удел; а на втором месте: умирать в борьбе, расточив великую душу.

Но ненавистна борцу, а равно и победителю ваша оскалившая зубы смерть, которая подкрадывается как вор — и все же приходит как господин.

М о ю смерть восхваляю я вам, свободную смерть, которая приходит ко мне, ибо я хочу.

Но когда же захочу я? — У кого есть цель и есть наследник, тот хочет смерти вовремя — ради цели и наследника.

И из благоговения к цели и наследнику не повесит он сухих венков в святилище жизни.

Впрямь, не хочу я быть сходным с сучильщиками: они вытягивают свою нить в длину и сами при этом все пятятся.

Иной становится слишком стар даже для своих истин и побед; беззубый рот уже не имеет прав на любую истину.

И любой из тех, кто хочет быть в славе, должен протиться вовремя с почестью и овладеть трудным искусством вовремя уходить.

Надо тогда перестать позволять себя есть, когда ты особенно вкусен: это знает всякий, кто хочет быть любимым долго.

Впрочем, есть кислые яблоки, чья судьба — выждать до последнего дня осени: к той поре станут они и спелыми, и желтыми, и сморщенными.

У одних дряхлеет сперва сердце, у других дух. Иной уже старик и в юности: но кто поздно юн, тот юн на долго.

Иному не удастся жизнь: ядовитый червь въелся в сердце ему. Так пусть позаботится он, чтобы тем лучше удалась ему смерть.

Иной никогда не сладок — он гниет уже летом. Трусость — вот что удерживает его на ветке.

Слишком многие живут, и слишком долго висят они на своих ветвях. О если бы пришла буря и стряхнула с дерева всю эту гниль и червоточину!

О если б пришли проповедники с корою смерти! То были бы настоящие бури и сотрясатели древ жизни! Мне же все слышится только проповедь медленной смерти и терпения ко всему «земному».

Ах, вы проповедуете терпение к земному? У земного — вот у кого слишком много терпения к вам, клеветники!

Впрямь, рано умер тот еврей, которого чтут проповедники медленной смерти: и для многих с тех пор стало роковым, что он так рано умер.

Он знал одни лишь слезы и еврейскую тоску, да ненависть добрых и праведных, этот еврей Иисус: и тут напало на него томление по смерти.

Что бы остаться ему в пустыне, вдали от добрых и праведных! Может быть, он жить научился бы и научился бы землю любить — и смех впридачу!

Верьте мне, други-братья! Он умер слишком рано; он сам отрекся б от своего учения, если б дожид до моих лет! Был он достаточно благороден, чтобы отречься.

Но еще незрелым был он. Незрело любит юноша, и незрело ненавидит он человека и землю. Связаны и еще тяжелы ему душа и крылья духа.

Но в муже скрыты больший ребенок, чем в юноше, и меньшая скорбь: проще берет он и жизнь и смерть.

Свободный для смерти и свободный в смерти, святой отрицатель, говорящий свое нет, когда уже нет времени для да: так берет он жизнь и смерть.

Только бы ваша смерть не была клеветой на человека и землю, други мои: это испрашиваю я от меда вашей души.

Пусть в вашей смерти еще горит ваш дух и ваша добродетель, горит зарей вечерней над землею: иначе смерть вам плохо удалась.

Так хочу и я умереть, чтоб вы, други, ради меня любили землю сильнее; и землю вновь хочу я стать, чтобы в той найти покой, которая меня родила.

Впрямь, цель имел Заратустра, он бросил свой мяч: ныне вы, други, моей цели наследники, вам бросаю я золотой мяч.

Милее всего видеть мне вас, о други, как бросаете вы золотой мяч! Потому позабавлюсь я еще немного на земле: простите мне это!

Так говорил Заратустра.

*
* *
*

О дарящей добродетели

1.

Когда Заратустра простился с городом, которому был предан сердцем и имя которому «Пестрая Корова», — последовали за ним многие, называвшие себя его учениками, и сомкнулись свитой за ним. Так дошли они до перекрестка: тогда сказал им Заратустра, что хочет идти отныне один; ибо был он другом хождения в одиночку. Но ученики подали ему на прощание посох, где по золоту рукояти змея обвивалась вокруг солнца.

Заратустра обрадовался посоху и оперся на него; после так говорил он своим ученикам:

Скажите мне: как достигло золото высшей ценности? Так: необычайно оно, и бесполезно, и сияет, и ласкает блеском; неизменно дарит оно себя.

Только как отблеск высшей добродетели достигло золото высшей ценности. Золото-блик сияет во взоре дарящего. Золота-блеск заключает мир между солнцем и месяцем.

Необычна высшая добродетель, и бесполезна, и сияет она, и ласкает блеском: дарящая добродетель — та высшая добродетель.

Впрямь, я разгадываю вас, други-ученики: вы жаждете, как я, той дарящей добродетели. Что может быть общего у вас с кошками и волками?

В том жажда ваша — себя в жертву отдать и в дар другим: а потому и жажда у вас — все богатство сгрудить в своей душе.

Ненасытно жаждет ваша душа сокровищ и драгоценностей, ибо ваша добродетель сама ненасытна в воле к дарению.

Все вещи к себе привлекаете вы и в себя вовлекаете, чтобы из вашего родника обратно хлынули они дарами вашей любви.

Впрямь, грабителем всех драгоценностей должна стать такая любовь дарящая: но благим и блаженным называю я такое самолюбие.

И другое самолюбие есть, обнищалое, голодающее, что всегда хочет украсть, самолюбие больных, большое самолюбие.

Оком вора поглядывает оно на все блестящее; алчностью голода мерит оно того, у кого обильные яства, всегда шныряет оно вокруг стола дарителей.

Болезнь говорит в такой алчности и скрытое вырождение; о хилом теле говорит воровская алчность этого самолюбия.

Скажите мне, братья мои: что считаем мы худым и наихудшим — не в ы р о ж д е н и е ли? — Вырождаемые угадываем мы всюду, где нет даящей души.

Вверх идет наш путь: от вида к сверживу. Но содроганье для нас вырождающийся ум, который говорит: «Все для меня».

Вверх взлетает наш ум: потому он и символ нашего тела, возвышения символ. Таких возвышений символы суть имена добродетелей.

Так проходит тело по истории — тело-становление и тело-борение. А дух — что ему дух? Его битв и побед глашатай, товарищ и отзвук.

Символы все имена добра и зла: они не высказывают, они намекают, и только. Глупец, кто ждет от них знания!

Будьте чутки, братья мои, к каждому часу, в который дух ваш хочет говорить символами: вот где начало вашей добродетели.

Воздвиглось тогда ваше тело и воскресло; оно торгом своим восхищает дух, и становится дух созидателем, и ценителем, и любящим, и всех вещей благодетелем.

Когда сердце у вас волнуется вольно и полно, подобно потоку, и несет отраду и опасность для близживущих: вот где начало вашей добродетели.

Когда вы превыше хвалы и хулы, и ваша воля хочет все вещи приневолить, как любящего воля: вот где начало вашей добродетели.

Когда вы презираете приятное и мягкую постель, и в силах постлаться поодаль от мягкотелых: вот где начало вашей добродетели.

Когда вы единой воли волеизъявители и всех нужд одоление неодолимо в вас: вот где начало вашей добродетели!

Впрямь, новое добро и новое зло она! Впрямь, она новый глубокий рокот и нового родника подземный голос!

Мощь и власть она, эта новая добродетель; державная мысль она, и вокруг нее умная душа: золотое солнце и вокруг него змея познания.

*
* *
*

2.

Здесь умолк Заратустра на мгновенье и посмотрел любовно на своих учеников. Затем так продолжал он говорить: — и голос его преобразился.

Пребывайте верны земле, братья мои, всей мощью вашей добродетели! Ваша дарящая любовь и ваше познание да служат смыслу земли! Вот о чем прошу и заклинаю я вас.

Не позволяйте ей прочь улетать от земного и биться крылами о вечные стены! Ах, столько было всегда невесть куда залетевшей добродетели!

Возвращайте, как я, залетевшую добродетель обратно на землю, — да, обратно к телу и жизни возвращайте ее: чтобы она дала земле свой смысл, человеческий смысл!

Несчет раз невесть куда залетали и маху давали до сих пор как дух, так и добродетель. Ах, в нашем теле живет и поныне это заумие и промах: в тело и волю там обернулись они.

Несчет раз пытались и заблуждались до сих пор как дух, так и добродетель. Да, попыткой был человек. Ах, много невежества и заблуждения обернулось у нас в тело!

Не только разум тысячелетий — но и безумие их разряжается нами. Опасно наследовать.

Все еще боремся мы шаг за шагом с колоссом-случаем, и до сих пор всем человечеством вершит бессмыслица, не смысл.

Ваш дух и ваша добродетель да послужат смыслу земли, братья мои: и ценность всех вещей да будет заново вами установлена! Потому быть борцами вам! Потому быть творцами вам!

Познавая, очищает себя тело; познанием, испытывая, возвышает оно себя; оправданы все побуды познающего; веселится душа возвышенного.

Врач, помоги себе сам: так поможешь ты и больному. Да будет ему лучшая помощь узреть своими глазами того, кто сам себя исцеляет.

Есть еще тысячи троп, по которым никогда не ступали; тысячи здоровий и потаенных островов жизни. Все еще не исчерпаны и не открыты человек и земля чело-веков.

Бдите и вслушивайтесь, вы, одинокие! От грядущего несутся к нам ветры неприметным взмахом крыл; и до тонких ушей доносится добрая весть.

Вы, одинокие от сего дня, вы, отрешенные, некогда будете вы народом: от вас, самих себя избравших, произойдет избранный народ: — и от него сверхчеловек.

Впрямь, местом выздоровления должна еще стать земля! И уже опоясана она новым запахом, целительным запахом — и новой надеждой!

*

* * *

3.

Когда Заратустра сказал эти слова, умолк он как тот, кто еще не выговорил свое последнее слово; долго взвешивал он в нерешимости посох в руке. Наконец, так заговорил он: — и голос его преобразился.

Один пойду я теперь, други-ученики! Идите же и вы теперь дальше одни! Так хочу я.

Впрямь, даю вам совет: ступайте прочь от меня и защищайтесь от Заратустры! А еще лучше: устыдитесь его! Быть может, он вас обманул.

Человек познания должен не только уметь своих врагов любить, но и своих друзей ненавидеть.

Плохо воздаст учителю тот, кто навек остается только учеником. И почему не хотите вы слегка ощипать мой венок?

Вы поклоняетесь мне; но что, если день придет и ваше поклонение рухнет? Берегитесь, как бы не убил вас рухнувший кумир!

Вы говорите, что веруете в Заратустру? Да что толку в Заратустре! Вы мои правоверные: да что толку во всех правоверных!

Еще себя не искали вы: и вот нашли меня. Так поступают все правоверные; потому и стоит так мало всякая вера.

Теперь заклинаю я вас меня потерять, а себя найти; и только когда вы все отречетесь от меня, я возвращусь к вам.

Впрямь, иными глазами, братья мои, буду я тогда отыскивать мною утраченных; иною любовью буду и тогда вас любить.

И некогда еще должны вы моими друзьями стать и детьми таимой надежды: тогда в третий раз пребуду я среди вас, чтобы с вами отпраздновать великий полдень.

И вот он, великий полдень, когда человек стоит на полпути между зверем и сверхчеловеком и празднует свой вечерний путь к закату как свою высшую надежду: ибо то путь к новому утру.

И вот тогда уходящий благословит сам себя, радуясь, что он переходящий; и тогда солнце его познания будет стоять для него на полдне.

«Мертвы все боги, потому волим
мы, чтобы жил сверхчеловек» — это в
великий полдень да будет нашей последней волей! —

Так говорил Заратустра.



ТАК ГОВОРИЛ ЗАРАТУСТРА

Книга для всех и ни для кого

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

«...И только когда вы все отречетесь от меня, я возвращусь к вам.

Впрямь, и н ы м и глазами, братья мои, буду я тогда искать мною утраченных; иною любовью буду я тогда вас любить.

Заратустра. О даящей добродетели (часть I, с. 105)

Дитя с зеркалом

Затем вновь Заратустра вернулся в горы в уединение своей берлоги и отдалился от людей: ожидая подобно сеятелю, который посеял уже свое семя. Но душа его была полна нетерпения и страстной тоски по тем, кого любил он: ибо много еще им мог бы он дать. И вот что труднее всего: из любви оскудить дающую руку и, одаря, сохранить стыдливость.

Так протекали для уединенного месяцы и годы; но мудрость его все росла и вызывала страдание своей полнотою.

Но однажды поутру пробудился он задолго до утренней зари, припоминал что-то долго, лежа на своем ложе, и проговорил наконец к своему сердцу:

«Что же это так напугало меня во сне, что я пробудился? Не подошло ли ко мне дитя с зеркалом в руке?

О, Заратустра, — мне сказала дитя, — взгляни-ка на себя в зеркало!»

Но едва взглянул я в зеркало, вскрикнул я, и мое сердце ужаснулось: ибо не себя увидел я там, а дьявольскую харю и глумливый смех.

Впрямь, слишком хорошо понимаю я этого сна знаменье и предостережение: мое учение в опасности, сорняки хотят пшеницей называться!

Мои враги стали могучи и исказили образ моего учения вконец, так что мои любимые должны тех даров стыдиться, которые я им дал.

Утрачены для меня мои друзья; настал час для меня искать утраченных мною!»

С этими словами вскопчил Заратустра на ноги, но не как перепуганный, которому не хватает воздуха, а, скорее, как пророк и певец, на которого находит дух. Удивленно посмотрели на него орел и змея: ибо подобно утренней заре озарило грядущее счастье его лицо.

Что со мною, звери мои? — сказал Заратустра. — Не преображен ли я? Не налетело ли на меня блаженство, словно ураган?

Нелепо счастье мое и нелепости будет говорить оно: еще слишком юно оно — имейте же к нему снисхождение!

О, я ранен счастьем своим: все страдающие пусть будут мне врачами!

К своим друзьям я вправе спуститься вновь, и к своим врагам! Заратустра вправе вновь говорить, и дарить, и делать любимым то, что им любо!

Моя нетерпеливая любовь перетекает потоками через край — от подъема к падению. С высоты безмолвных гор и гроз скорби низвергается шумно моя душа в долины.

Слишком долго томился я и вглядывался в дали. Слишком долго отдавался я одиночеству: потому разучился я молчанию.

Рот я всецело, и клокот ручья с высоты скал: низвергнуть хочу я мою речь в долины.

И пусть мой поток любви низвергается в бездорожье! Как мог бы поток наконец не найти дороги к морю!

Верно, озеро есть во мне, отшельническое озеро, само в себе замкнутое; но мой поток любви мчит его с собою вниз — к морю!

Новыми путями я иду, новая речь приходит ко мне; вот устал и я, как все созидающие, от старых языков. Не хочет дольше дух мой бродить на истоптанных подошвах.

Слишком медленно течет для меня всякая речь; — в твою повозку вскакиваю я, ураган! И еще тебя хочу я хлестать моей злобой!

Ликованием и воплем хочу я нестись по простору морей, пока не достигну блаженных островов, где мои друзья пребывают: —

И мои враги среди них! О как люблю я любого, кому только могу слово сказать! И даже мои враги принадлежат к моему блаженству.

И когда я хочу на своего бешеного скакуна вскочить, то лучше всего всегда помогает мне мое копьё: оно лучший слуга моих ног: —

Копьё, которое я в своих врагов мечу! Как благодарен я своим врагам, что я могу, наконец, его метнуть!

Перенапряжена была моя туча: среди хохота молний хочу я градобоем поразить долины.

Могуче будет тогда вздыматься моя грудь, могуче бурей своей дохнет она над горами: так слетит к ней облегчение.

Впрямь, буре подобно, налетают мое счастье и моя свобода! Но мои враги должны думать, что з л о й д у х бушует над их головами.

Да, и вы перепугаетесь, друзья мои, от моей дикой мудрости; и, быть может, пуститесь бежать от нее вместе с моими врагами.

Ах, кабы уметь мне привлечь вас обратно пастушьими дудельками! Ах, кабы моя львица-мудрость научилась нежно рычать! Уже многому мы вместе научились!

Моя дикая мудрость стала тяжелой на уединенных горах; на жестких камнях родила она своего младенца.

Теперь она мечется, дуреха, по каменистой пустыне и все ищет да ищет нежного дерну, — моя старая дикая мудрость!

На нежном дерне ваших сердец, други мои! — на вашей любви хотелось бы ей свое любимое дитя положить!

Так говорил Заратустра.

*
* *
*

На островах блаженных

Смоквы падают с деревьев, они сочны и сладки; и пока они падают, лопаются их красная кожура. Я северный ветер спелым смоквам.

Так, подобно смоквам, падают к вам эти речения, други мои: так пейте ж их мед и их сладкую плоть! Осень окрест и чистое небо и час пополудни.

Оглянитесь, что за изобилие окрест нас! И из преизбытка выныкая, чудно кинуть взор на далекие моря.

Некогда говорили: бог, — на далекие моря кидая взор; ныне же я научил вас говорить: сверхчеловек.

Бог — только догадка; я же хочу, чтобы ваша догадливость не шла дальше, чем ваша творящая воля.

Могли бы вы бога с о з д а т ь? — Так молчите, ни слова мне впредь о богах! Но зато сверхчеловека могли бы вы создать.

Не вы сами, быть может, братья мои! Но в отцов и предков сверхчеловека себя пересоздать могли бы вы: и да будет это вашим лучшим созданием! —

Бог — только догадка; я же хочу, чтобы ваша догадливость пребывала в пределах мыслимости.

Могли бы вы бога п о м ы с л и т ь? — Но да осмыслится так для вас воля к истине, чтобы все превратилось в нечто по-человечески мыслимое, по-человечески видимое, по-человечески чувствуемое! Свои собственные чувства должны вы домыслить до конца!

И все, что вы миром назвали, пусть будет вами создано сперва: ваш разум, ваш образ, ваша воля, ваша любовь, пусть станут они тем миром! И впрямь, на блаженство вам, вы, познающие!

И как смогли бы вы выдержать жизнь без этой надежды, вы, познающие? Не могло вам быть врождено ни непостижимое, ни неразумное.

Но чтобы всецело вам открыть свое сердце, о други: е с л и б ы боги были, как выдержал бы я — богом не быть! З н а ч и т, нет никаких богов.

Вывод я сделал: но теперь он ведет меня. —

Бог — это только догадка: но кто смог бы испытать всю муку этой догадки и не умереть? Или у созидającego отнять всю его веру и у орла его парение на орлиных высотах?

Бог — это только мысль, которая делает все прямое кривым и все неподвижное вертящимся. Как? Время бы кануло и все миголетное было бы ложью?

От такой мысли голова ходит кругом и земля ходуном и желудок извергает блевотину: впрямь, вертячей болезнью называю я склонность к таким догадкам.

Злом называю я и врагом человеческим это учение о едином и полном, и неподвижном, и сытом, и непреходящем!

Все непреходящее — только подобие! И поэты заглались вконец. —

Но о времени и становлении пусть говорят нам подобия лучшие: славословием пусть будут они и оправданием всего преходящего!

Создавать — это великое избавление от страданий и облегчение жизни. Но чтобы создающий был создан — и для этого нужны страдание и череда превращений.

Да, много горького умирания должно быть в вашем бывании, вы, созидающие! Только так становитесь вы заступниками и оправдателями всего преходящего.

Чтобы сам созидающий ребенком был, новорожденным был, и для этого должен он еще захотеть быть родильницей и мукой родильницы.

Впрямь, через вереницы душ вел меня мой путь и через вереницы колыбелей и родильных мучений. И не раз уже прощался я — о, знаю я эти последние душу-раздирающие мгновения.

Но такова воля моей созидающей воли, моей судьбы. Или, чтоб вам уж начистоту высказать: именно такой судьбы — волит воля моя.

Все чувствующее страдает во мне и томится по тюрьмам: но моя воля неизменно приходит ко мне освободителем и радователем.

Воля освобождает: таково истинное учение о свободе и воле — ему учит вас Заратустра.

Не хотеть больше, и не ценить больше, и не созидать больше! — ах, да будет эта великая усталость навеки далека от меня!

Даже в познании чувствую я только радость рождения и становления воли моей; и если есть невинность в познании моем, то потому она здесь, что есть в ней воля к рождению.

Прочь от бога и богов увлекла меня эта воля; к чему создавать, если бы боги... были!

Но к человеку все сызнова нудит меня моя страстная воля к созиданию; так тянет молот ударить в камень.

Ах, люди, люди! В камне дремлет для меня образ, моих образов образ! Ах, почему обречен он дремать в таком безобразном, безжалостном камне!

Вот свирепствует грозно мой молот против своей тюрьмы. От камня — пылью осколки: что мне до того?

Завершить хочу я: ибо тень подошла ко мне, — самая тихая, легкая тень на свете подошла когда-то ко мне!

Красота сверхчеловека подошла ко мне как тень. Ах, други-братья! Что мне теперь — до богов! —

Так говорил Заратустра.

*
* * *

О сострадательных

Други мои, глумливое слово дошло до слуха вашего друга: «Посмотрите-ка на Заратустру! Не бродит ли он среди нас, как среди зверей?»

Но вернее было бы так сказать: «Познающий бродит среди людей как среди зверей».

Но сам человек называется у познающего так: зверь, у которого румяные щеки.

Да откуда у него румянец? Не оттого ли, что ему слишком часто приходилось стыдиться?

О други мои! Так говорит познающий: стыд, стыд, стыд — вот история человека!

Потому заповедал себе благородный никого не стыдить: себе стыд заповедал он перед всяким страдающим.

Впрямь, я не терплю сердобольных людей, блаженных в своем сострадании: уж слишком скупы они на стыд.

Но коль должен я сострадательным быть, все ж называться я им не хочу; а уж если бываю таким, так с охотой, но издали.

Охотно прикрываю и голову я и со всех ног убегаю еще до того, как буду опознан: так поступать и вас призываю я, друзья мои!

Пусть мне всегда посылает навстречу судьба людей, чуждых страдания, как вы, и таких, с кем в п р а в е иметь я общие — надежду, и стол, и мед!

Впрямь, я делал то одно, то другое на пользу страдальцам, но, казалось мне, большее делал я, когда я учился больше радоваться.

С той поры, как явились люди на свете, человек слишком мало радовался: это наш единственный, други мои, первородный грех!

И когда мы научимся больше радоваться, мы скорее разучимся причинять муку другим и изобретать мучительства.

Потому и мою я руку себе, раз она помогла страдальцу, потому вытираю я и душу себе.

Ибо то, что я видел страдальца страдающим, этого устыдился я из-за его стыда; и когда я ему помогал, жестоко обошелся я с его гордостью.

Великие одолжения рождают не благодарность, а мстительность; и если даже маленькое благодеяние не забудется, в гложущего червя обернется оно.

«С недоступностью принимайте дары! Отметьте этим, что вы принимаете!» — так советую тем, кому нечего от себя дать.

Я же из числа одаряющих: я с охотой дарю, как дарит друг друзьям. Но зато чужие и нищие — те пусть сами срывают плоды с моего дерева: так оно менее стыдно.

Нищих же следовало бы вовсе убрать! Впрямь, досадно давать, досадно и не давать им.

А заодно с ними и грешников и людей с нечистой совестью! Поверьте мне, братья мои: угрызения совести учат вгрызаться.

Но хуже всего мелкие мыслишки. Впрямь, лучше злое свершить, чем в мыслях мелко решить!

Хотя вы и говорите: «Удовольствие от мелкой злости удерживает нас порой от большого злодеяния». Но здесь сдерживать не следовало бы себя.

Злодеяние все равно что нарыв: оно зудит, и сверлит, и нарывает — оно говорит честно.

«Видишь, я болезнь», — так говорит злодеяние; такова его честность.

Но подобна грибку мелкая мыслишка: она ползет, припадая, — пока тело сплошь не станет дряблым и блеклым от мелких грибков.

Тому же, кто одержим бесом, такое словечко скажу я на ухо: «Лучше уж вскорми своего беса! И для тебя есть еще дорога величия!» —

Ах, братья мои! О каждом знаешь чуть-чуть больше, чем надо! А иной становится для нас насквозь прозрачным, но все же нам еще далеко до того, чтобы пройти сквозь него.

С людьми очень трудно жить, потому что молчать очень уж трудно.

И не к тому, кто противен нам, всего несправедливее мы, а к тому, до кого нам нет дела.

Есть у тебя страдающий друг, так будь отдохновением его страданию, но будь и жесткой постелью, походной постелью: так будешь ты ему наиболее полезен.

И сделает тебе друг дурное, так скажи: «Я прощаю тебе то, что ты мне сделал; но то, что ты это с е б е сделал, — как мог бы я простить!»

Так говорит великая любовь: она преодолагает даже прощение и сострадание.

Надо сдерживать свое сердце; стоит только дать ему волю, как тотчас теряешь голову!

Ах, где на свете совершались большие безумства, как не у сострадательных? И что на свете порождало больше страданий, как не безумства сострадательных?

Горе всем любящим, у которых нет в запасе другой высоты — той, что выше их сострадания!

Так когда-то говорил мне черт: «И у бога есть свой ад: то любовь его к людям».

И недавно довелось мне слышать, как он сказал людям: «Бог мертв; от своего сострадания к людям умер бог».

Так вот, предостерегаю вас от сострадания: о т т у д а найдет на людей тяжелая туча! Впрочем, умею я разбираться в знамениях бурь!

И запомните также и это слово: великая любовь куда выше своего сострадания: ибо свое любимое она еще хочет — создать!

«Самого себя приношу я в жертву своей любви и ближнего своего вместе со мной», — такова речь всех созидающих.

Ведь все созидающие жестоки. —

Так говорил Заратустра.



О жрецах

А однажды подал Заратустра своим ученикам знак и обратился к ним с такими словами:

«Здесь жрецы: и пусть они и враги мне, проходите спокойно мимо них, с опущенным мечом!

И среди них встречаются герои; многие из них слишком много страдали — потому хотят они заставить страдать других.

Они злые враги: нет ничего мстительнее их кротости. И легко замараться тому, кто на них нападет.

Но моя кровь сродни их крови; и я хочу, чтоб моя кровь почиталась еще и в их крови». —

И когда они прошли мимо них, одолела Заратустру скорбь; и не долго боролся он со своей скорбью, как начал говорить так:

Жаль мне этих жрецов. Они претят и моему вкусу; но это для меня пустое, с тех пор как я среди людей.

Но я страдаю и страдал с ними: пленники они для меня и обреченные. Тот, кого называют они Спасителем, заковал их в оковы: —

В оковы обманчивых ценностей и обманных слов! Ах, если б кто-нибудь спас их еще и от их спасителя!

Им мнилось, что к острову их корабли прибило, когда их по морю метало; но гляди, то было спящее чудовище!

Обманчивые ценности и обманные слова: они для смертных наихудшее чудовище, — долго спит и выжидает в них рок.

Но вот приходит оно, и бдит, и жрет, и глотает всех, кто построил на нем свои хижины.

О, взгляните-ка на хижины, которые построили для себя жрецы! Церквами называют они свои приторно пахнущие берлоги.

Проклятие этому поддельному свету, этому спертому воздуху! Здесь, где душа в высь свою — не смеет взлететь!

Но так повелевает их вера: «на коленях вверх по ступеням, грешники!»

Впрямь, уж лучше бы узреть мне бесстыдника, чем перекошенные глаза их стыда и благоговения!

Кто создал себе такие берлоги и ступени-покаяния? Не из тех ли были они, кто хотел укрыться и стыдился чистого неба?

И только тогда, когда чистое небо вновь проглянет сквозь обрушенные своды и прольется на травы и красные маки у обрушенных стен, — только тогда вновь обращу я свое сердце к святилищам этого бога.

Они называли богом все, что им перечило и причиняло боль; и впрямь, немало героического было в их поклонении!

И не иначе умели они своего бога любить, как пригвоздив к кресту человека!

Как трупы, намеревались они жить, черным обилии они свой труп; даже в речах их чую я еще тошную пряность покойнических.

И кто вблизи от них живет, тот близ черных живет прудов, откуда со дна с глубокомыслием сладостным квакша песнь свою поет.

Лучшие песни им бы следовало мне петь, чтобы я уверовал в их Спасителя: куда более спасенными следовало бы выглядеть в моих глазах его ученикам!

Голыми хотел бы я видеть их: ибо одной красоте дано проповедовать покаяние. А кого убедит эта прикрытая тоска!

Впрямь, и сами Спасители их не явились со свободы и с седьмого неба свободы! Впрямь, они сами никогда не ступали по коврам познания!

Из пустот был соткан дух этих Спасителей; зато в каждую из пустот поместили они свой бред, свою затычку, которую называли богом.

В их сострадании утонул их дух, и когда их вздувало и раздувало от сострадания, навверх всплывала великая нелепость.

Ревностно гнали они и с воплем стадо свое по своей стезе: словно в грядущее ведет только одна стезя! Впрямь, сами пастыри эти еще принадлежали к овцам!

С крошечным духом и обширной душой были пастыри эти: но, братья мои, что за крошечные страны были до сих пор даже самые обширные души!

Кровавыми вехами отмечали они путь, по которому шли, и их безумие учило, что истину доказывают кровью.

Но кровь наихудшее доказательство истины; кровь отвращает даже наичистейшее учение — до бреда и ненависти в сердцах.

И если кто на костер всходит во имя своего учения, — что этим доказывается? Впрямь, куда цен-

нее, когда из собственного пожара возникает собственное учение!

Жар в сердце, холод в голове: где это сочетается, там возникает буйный вихрь, «Спаситель».

Впрямь, были и большие, и выше рождением, чем те, кого народ называет Спасителями, эти яростные, буйные вихри!

И еще от больших, чем все Спасители, должны вы, братья мои, найти спасение, если хотите обрести путь к свободе!

Никогда еще не было сверхчеловека. Голыми я видел обоих — и самого большого, и самого маленького человека: —

Еще слишком похожи они друг на друга. Впрямь, и самого большого человека нашел я — слишком человеческим!

Так говорил Заратустра.

*
* *
*

О добродетельных

Громами и небесными фейерверками надо говорить к остывшим и сонным чувствам.

Но голос красоты говорит тихо: он проникает только в самые утонченно-чуткие души.

Тихо дрожал и смеялся сегодня мой щит: то священный смех и дрожь красоты.

Да, над вами, о добродетельные, смеялась сегодня моя красота. И так донесся ее голос ко мне: «Они вдобавок и — платы хотят!»

Вы вдобавок еще и платы хотите, о добродетельные! Хотите награды за добродетель, и неба за землю, и вечности за ваше сегодня?

И вот негодуете вы на меня, когда я учу: нет казначея для плат и наград. И, впрямь, я даже не учу, что сама по себе добродетель награда.

Ах, вот от чего моя скорбь: в основу бытия волгали награду и кару — к тому же еще и в основу вашей души, о добродетельные!

Но пусть словно клыком кабана слово мое вспашет основу вашей души; плугом хочу я прослыть у вас.

Все таящееся в вашей основе да выйдет на свет; и когда взрытыми и разбитыми будете вы лежать на солнце, ваша ложь будет отделена от вашей истины.

Ибо вот она, ваша истина: вы с л и ш к о м ч и с т ы для грязи слов: мщение, кара, награда, возмездие.

Вы любите свою добродетель, как любит мать дитя; но где это слыхано, чтобы мать хотела платы за свою любовь?

Ваша возлюбленная самость — вот ваша добродетель. В вас скрыта жажда кольца: достигнуть вновь самого себя, потому и кружится и кружится всякое кольцо.

И подобно гаснущей звезде всякое дело вашей добродетели: ее мерцающий свет все еще в пути, все еще странствует — да и когда перестанет странствовать?

Так и мерцающий свет вашей добродетели все еще в пути даже тогда, когда дело сделано. Пусть забыто и мертво оно: луч его света еще живет и странствует.

Чтобы ваша добродетель была вашей самостью, а не чем-то сторонним; не кожей, не покровом: вот она истина, из глубинной основы вашей души, о добродетельные! —

Но несомненно есть такие, для кого добродетелью называются корчи под кнутом: и вы уже слишком долго прислушивались к их воплям!

И есть иные, для кого добродетелью называется лень их пороков; и когда их ненависть и их ревность

вытягивают ноги ко сну, тогда их «справедливость» бодро вскакивает и протирает заспанные глаза.

И есть иные, кого тянет вниз: то их бесы тянут вниз. Но чем ниже они падают, тем все пламеннее пылают их взор и алчная страсть к своему богу.

Ах, еще и этот вопль достиг ваших ушей, о добродетельные: «Все, что не я, это, это для меня бог и добродетель!»

И есть иные, что движутся с трудом и со скрипом, подобно фурам, везущим под гору камни: они много болтают о достоинстве и добродетели, — свой тормоз называют они добродетелью!

И есть иные, похожие на часы, заводимые на день; они тикают и желают, чтобы их тиканье — называли добродетелью.

Впрямь, эти созданы мне на забаву: где я только найду такие часы, я заведу их своей насмешкой; и при этом они еще и замурлыкают у меня!

А иные гордятся пригоршней справедливости и ради ее насилуют весь мир: так что мир утопает в их неправедности.

Ах, какой скверной слово «добродетель» выскакивает у них изо рта! И когда они говорят: «прощен», то это всегда звучит точно «я отомщен!».

Своей добродетелью хотят они выцарапать глаза врагам; и они возвышаются только для того, чтобы унижить других.

И опять-таки есть и те, что сидят в своем болоте и изрекают из камышей: «Добродетель — это значит сидеть смиренно в болоте.

Мы никого не кусаем и сторонимся тех, кто хочет кусаться; и во всем мы придерживаемся мнения, какое нам внушат».

И опять-таки есть и те, что любят жесты и думают: добродетель — это особый жест.

Их колени вечно преклоняются, и руки их — словесия добродетели, но сердце их не ведает о том.

И опять-таки есть и те, что вменяют себе в добродетель сказать: «Добродетель необходима»; но в сущности они верят только в одно — в необходимость полиции.

А иной, кому высокое в людях увидеть не дано, называет добродетелью то, что он слишком близко видит их низкое: так именует он свой дурной глаз добродетелью.

А иные хотят, чтобы их наставили и воздвигли, и называют это добродетелью; а другие хотят, чтобы их сокрушили, — и это тоже называют добродетелью.

И подобным образом почти все они верят, будто причастны к добродетели; и по меньшей мере каждый хочет быть знатоком в делах «добра» и «зла».

Но не для того пришел Заратустра, чтобы сказать всем этим лжецам и глупцам: «Что знаете вы о добродетели! Что м о г л и б ы вы о добродетели знать!» —

Но, чтобы вам, други мои, наскучили ветхие слова, которым вы научились от глупцов и лжецов.

Чтобы наскучили вам слова:

награда, возмездие, кара, справедливая месть. —

Чтобы наскучило вам говорить: «Поступок благовследствие его бескорыстия».

Ах, други мои! Да пребудет в а ш а самость в поступке, как мать в дитяти: пусть то будет для меня в а ш и м словом о добродетели!

Впрямь, я отнял у вас сотню-другую слов, любимых игрушек вашей добродетели; и вот вы сердитесь на меня, как сердятся дети.

Они играли у моря — вдруг набежала волна и унесла их игрушку за собой в глубину: и вот плачут они.

Но пусть та же волна принесет им новые игрушки и новые пестрые ракушки рассыплет перед ними!

Так будут они утешены; и подобно им и вы, други мои, обретете свое утешение — и новые пестрые ракушки! —

Так говорил Заратустра.



О сволочи

Жизнь как радости родник; но где с вами всякая сволочь пьет, там все колодцы отравлены.

Все чистоплотное мило мне, но не терплю я ослабленные рыла и жажду нечистых.

Они кинули взор свой вглубь колодца: и мне сверкает их гадкая улыбка из глубины колодца.

Святую воду отравили они своим сладострастием; и когда они свои грязные сны называли усладой-радостью, отравили они и слова.

Тускнеет пламя, когда они кладут на огонь свои влажные сердца; сам дух чадит и клокочет, чуть сволочь подходит к огню.

Слащавым и раскисшим становится в их руке плод; ветровальким и суховерхим делает их взгляд плодое дерево.

И многие из тех, кто отвернулся от жизни, отворачивались только от сволочи: не хотели они со всякой сволочью разделять колодезь, и пламя, и плод.

И многие из тех, кто ушел в пустыню и томился жаждой, с хищными зверями, не хотели только сидеть у водопоя рядом с грязным погонщиком верблюдов.

И многие из тех, кто приходил как истребитель и как градобой для плодоносных нив, хотел только кулак свой вдвинуть в пасть этой сволочи и так заткнуть ей глотку.

И не тот кусок, которым я больше всего давился, знание того, что самой жизни нужны вражда, и смерть, и распятых мучеников крест: —

Но я однажды спросил, едва не задохнувшись от своего же вопроса: Как? Жизни еще и эта сволочь н у ж н а?

И нужны отравленные колодцы, и смердящие огни, и грязные грезы, и черви в хлебе жизни?

Не моя ненависть — мое отвращение жадно пожирало мою жизнь! Ах, меня утомлял и сам дух, когда я обнаруживал, что и сволочь бывает одухотворенной!

И к господствующим повернулся я спиной, когда увидел, что понимают они под господством: шахермахерство и торгашество из-за власти — со сволочью!

Среди народов жил я чужезычным для них, заткнув себе уши: дабы чуждым оставался мне их торгашеский язык и их торговля за власть.

И, себе нос зажимая, проходил я негодуя через все вчера и сегодня: впрямь, все вчера и сегодня дурно пахнут пишущей сволочью!

Словно калека, который вдруг стал глух, и слеп, и нем: так жил я долго, чтобы не жить с властной, и с пишущей, и с веселящейся сволочью.

С трудом поднимался мой дух по ступеням, и осторожно; подаяние радости было ему отрадой; жизнь слепца брела, опираясь на посох.

Что же это было со мной? Как избавился я от отвращения? Кто оживил мои глаза? Как взлетел я на высоты, где сволочь не сидит у колодца?

Или само отвращение сотворило мне крылья и предчувствие чудотворных ключей? Впрямь, на высоты высот пришлось мне взлететь, чтобы вновь обрести радости родник!

О, я обрел его, братья мои! На высотах высот для меня бьет радости родник! И есть все-таки жизнь, от которой сволочь не пьет вместе с вами!

Даже слишком бурностремителен ты, радости родник! И часто опоражниваешь кубок, чтобы вновь наполнить его!

И еще надо мне научиться приближаться к тебе поскромнее: слишком бурно стремится навстречу тебе мое сердце: — Сердце, где пылает лето мое, такое короткое, знойное, грустное, сверхблаженное лето: как жаждет мое сердце — лето твоей прохлады!

Миновал медлительный туман моей весны! Миновала злорадия моих снежных хлопьев в июне! Летом стал я всецело и летним полднем!

Лето на высотах высот, где холодные ключи и блаженная тишина: о придите, други мои, чтобы еще блаженнее стала тишина!

Ибо это н а ш а высота и наша родина: высоко и неприступно живем мы здесь для нечистых и для их жажды.

Бросьте только ваш чистый взор в родник моей радости, о други. Почему бы роднику замутиться? Засмеется он вам в ответ с в о е й чистотой.

На древе-«грядущем» свили мы свое гнездо; пусть орлы приносят нам, отшельникам, пищу в своих клювах!

Впрямь, не ту пищу, которую могли бы с нами есть и нечистые! Им почудилось бы, что они огонь пожирают, обжигая себе рты!

Впрямь, не уготовили мы здесь жилищ для нечистоплотных! Ледяной пещерой было бы наше счастье для их тела и для их духа!

Словно могучие ветры будем мы жить над ними, соседи орлам, соседи снегам, соседи солнцу: так живут могучие ветры.

И подобно ветру еще подую я на них и духом моим перехвачу дыхание у их духа: того хочет мое грядущее.

Впрямь, могучий ветер Заратустра для всех низов и низин; и такой совет дает он по совести своим врагам и

всему плюющему и блюющему: «Берегитесь плевать
п р о т и в ветра!»

Так говорил Заратустра.

*
* *
*

О тарантулах

Взгляни, вот нора тарантула! Хочешь увидеть его са-
мого? Здесь висит его сеть: тронь ее, чтоб она закача-
лась.

Вот выползает он добровольно: добро пожаловать,
тарантул! Весь черный, на спине твоей твой треуголь-
ник, твоя отметина; я знаю и то, что в душе твоей.

Мсть в твоей душе: где ты укусишь, там нарастает
черный струп; мстью твой яд обращает душу в вер-
тунью!

Так говорю я вам для сравнения, вам, обращающим
души в вертуньи, вы, проповедники р а в е н с т в а!
Тарантулы вы для меня и затаенные мстители!

Но погодите, уж вытяну я ваши тайники на свет:
потому и смеюсь я вам в лицо смехом со своей высо-
ты.

Потому разрываю я вашу сеть, чтобы ваша ярость
выманила вас из вашей норы, из вашей лжи, и чтобы ва-
ша мсть выскочила из-за прикрытия слова «Справедли-
вость».

Ибо и з б а в л е н и е человека от мес-
ти: вот мой мост к высочайшей из высших надежд, вот
она, радуга после долгих непогод.

Но иного хотят, конечно, тарантулы. «Для нас спра-
ведливо, если мир исполнится гроз нашей мести», — так
говорят они между собой.

«Мщению предадим мы и поруганию всех, кто не равен нам, — такой клятвенный обет дают себе сердца тантулов. —

И «воля к равенству» — вот как будет прозываться впредь добродетель; и против всех, у кого власть в руках, давайте поднимем наш крик!»

Проповедники равенства, то безумие тиранов вопит в вас о «равенстве» от бессилия: затаеннейшая страсть к тиранству драпируется в слова добродетели!

Истосковавшая гордыня, заторможенная зависть, быть может, гордыня и зависть ваших отцов: они пламенем из вас вырываются наружу и безумием мести.

То, о чем молчал отец, рокошет в сыне; и часто видел я в сыне обнаженную тайну отца.

На вдохновенных похожи они: но вдохновляет их не сердце — месть. И когда они становятся утонченными и холодными, то не дух, а зависть делает их утонченными и холодными.

Ревность приводит их даже на тропу мыслителей; и примета есть у их ревности — всегда слишком далеко заходят они: так что их усталости приходится под конец ложиться спать на снегу.

В каждой жалобе их звучит месть, в каждой похвале их скрыто желание причинить боль; быть судьей кажется им блаженством.

Но советую вам, други мои: не доверяйте никому, в ком сильно тяготение карать!

То все люди дурного сорта и крови; в их лицах проглядывают палач и ищейка.

Не доверяйте тем, кто много говорит о своей справедливости! Впрямь, не хватает их душе не только меду.

И когда они сами про себя говорят «мы добрые, праведные», — не забывайте, что для того, чтобы быть фарисеями, не достаёт им только одного — власти!

Други мои, я не хочу, чтобы меня смешивали и путали с другими.

Есть люди, которые проповедуют мое учение о жизни: и они же проповедники равенства и тарантулы.

Да, на словах они ратуют за жизнь, хотя сами сидят, уткнувшись в свою нору, эти ядовитые пауки, и отвернувшись от жизни: причина та, что этим они хотят боль причинить.

Тем хотят они боль причинить, у кого власть в руках: ибо у них проповедь о смерти еще пользуется наибольшим успехом.

Будь все иначе, и тарантулы учили бы иначе: но именно они были некогда лучшими клеветниками на мир и сожигателями еретиков.

С этими проповедниками равенства я не хочу, чтобы смешивали и путали меня. Ибо так говорит мне справедливость: «Люди не равны».

Они и не будут равны! Чем была бы моя любовь к сверхчеловеку, если б я говорил иначе?

По несчетным мостам и мосткам пусть протискиваются они к грядущему, и пусть война и неравенство все сильнее врезаются между ними: так понуждает меня говорить моя великая любовь!

Изобретателями икон и призраков пусть станут они при взаимной вражде, и этими иконами и призраками пусть еще побивают они друг друга в последней битве!

Добро и зло, и богатство и бедность, и высота и ничтожность, и все имена ценностей: пусть оружием будут они и бряцающими признаками того, что жизнь должна все вновь и вновь преодолевать сама себя!

Ввысь хочет воздвигаться столбами да ступенями жизнь: в дали бескрайние хочет глядеть она, и туда в беспредельность на блаженные красоты, — по т о м у и нужна ей высь!

И потому что ей высь нужна, нужны ей и ступени и противоречие ступеней и по ступеням восходящих!

Восхождения хочет жизнь, восходя хочет преодолевать себя!

И взгляните-ка только, други мои! Здесь, где нора тарангула, возвышаются развалины древнего храма — взгляните-ка озаренными глазами на них!

Впрямь, кто некогда здесь воздвигал ввысь свои помыслы громадой камней, тот о тайне всякой жизни знал не меньше, чем мудрейший из мудрых!

Есть борьба и неравенство даже в самой красоте и война за власть и сверхмогущество: вот чему учит он нас явственным образом.

Как божественно преломляются здесь свод и арка во взаимной борьбе: как светом и тенью устремляются они друг против друга, божественно-стремительные, —

Так прекрасно и уверенно будем врагами и мы, други мои! Будем божественно устремляться друг п р о т и в друга! —

Увы! Меня самого укусил тарангул, мой давний враг! Божественно, легко и прекрасно укусил он меня в па-лец!

«Кара нужна и нужна справедливость: — так думает он, — не безнаказанно же распевать ему песни во славу вражды!»

Да, он мне отомстил! Увы мне! теперь в отмщенье обратит он и мою душу в вертуню!

Но чтобы я н е завертелся, други мои, привяжите меня к этому столбу крепче! Лучше мне святым столпником быть, чем ветроворотом мстительности!

Впрямь, не вертоворот и не ветроворот Заратустра; и если он и танцор, то уж никак не танцор тарантел-лы! —

Так говорил Заратустра.

*
* * *

О прославленных мудрецах

Народу служили вы и народному суеверию, о прославленные мудрецы! — а не истине! И потому только воздавали вам почести.

И потому только терпели ваше неверие, что остроумием было оно и окольным путем к народу. Так господин дает волю своим рабам и еще забавляется их своеволием.

Но если кто ненавистен народу, как волк собакам, — так это вольнодумец, враг оков, непоклоняющийся, вольный житель лесов.

Его из его логовища выгнать — вот что всегда называлось у народа «чувством справедливости»: на него все еще науськивает народ самых зубастых собак.

«Ибо истина там: раз народ там! Горе! Горе всем ищущим!» — так звучало оно спокон веков.

Вашему народу хотели вы воздать справедливость за его поклонение: это назвали вы «волей к истине», вы, прославленные мудрецы!

И ваше сердце всегда говорило про себя: «Из народа я вышел: оттуда снизошел на меня голос бога».

Умны и упрямы, как ослы, были вы всегда, ходатаи за народ.

И немало властителей, склонных ладить с народом, впрягали впереди своих коней еще и... осленка, то есть прославленного мудреца.

И хотел бы я, о прославленные мудрецы, чтобы вы наконец сбросили с плеч долой эту шкуру льва навсегда!

Эту шкуру хищника, пятнистую шкуру, и эти космы исследователя, искателя, завоевателя!

Ах, чтобы я научился в вашу «правдивость» верить, для этого должны вы сперва сокрушить свою волю к поклонению.

Правдивый — так называю я того, кто уходит в покинутые богами пустыни, кто сокрушил свое сердце поклонника.

Среди желтых песков, под палящим солнцем, жадно поглядывает он на обильные ключами островки, где все живое отдыхает под сенью темных деревьев.

Но его жажда не в силах принудить его уподобиться уютно устроившимся: ибо где оазисы, там и идолы.

Алчущей, свирепой, одинокой, безбожной: такой хочет себя воля — льва.

Свободная от счастья рабов, избавленная от богов и поклонения, бесстрашная и устрашающая, великая и одинокая: такова воля правдивого.

В пустыне исстари жили правдивые — свободные духом, господа пустыни; зато в городах живут упитанные, прославленные мудрецы — упряжные животные.

Ибо вечно тащат они, как ослы, — телегу н а р о д а.

Не скажу, чтобы на них я за это сердился: но услужливыми остаются они для меня и упряжными, хотя бы и золотом сверкала их упряжь.

И часто бывали они добрыми слугами, которым цены нет. Ибо так говорит добродетель: «Суждено тебе быть слугой, так ищи того, кому полезнее всего служба твоя!

Пусть дух и добродетель твоего господина растут от того, что ты его слуга: так будешь расти и ты сам вместе с духом его и добродетелью его!

И впрямь, о прославленные мудрецы и слуги народа! Вы сами росли вместе с духом и добродетелью народа — и народ через вас! К вашей чести говорю я это!

Но все тот же народ вы для меня и по своим добродетелям, народ с бельмом на глазу, — народ, который не знает, что такое д у х!

Дух — это жизнь, что режет сама по живому: ценой своего же страдания крепнет он в своем знании, — что же, знали вы это?

И все счастье духа в том, чтобы помазанным быть и посвященным слезами на закланье, — что же, это вы знали?

И слепота слепого и его поиск и прощупь пусть свидетельствуют о могуществе солнца, в которое глядел он, — что же, это вы знали?

И пусть, воздвигая горы на горы, научится с т р о и т ь познающий! Мало того, что дух движет горами, — что же, это вы знали?

Вы знаете только искры духа: но не явны вам ни наковальня, которой является дух, ни неумолимость его молота!

Впрямь, не знаете вы гордости духа! Но еще того менее вынесли бы вы скромность духа, чуть она заговорила б!

И еще никогда не дерзали вы бросить свой дух в снежный сугроб: для этого вам не хватает горячности! Потому не знаете вы и восторгов холода его.

Но в общем вы слишком запросто обходитесь с духом; и из мудрости часто устраивали вы богадельню и больницу для плохих поэтов.

Вы не орлы: потому и не изведали вы счастья от ужаса духа. И кто не птица, пусть не гнездится над безднами.

Вы, по мне, теплы: но вечно холоден поток глубокого познания. Холодны, как лед, глубинные родники духа: отрада для рук горячих и руководителей действия.

Почтенными стоите вы, и напыщенными, и с негнущейся спиной, о прославленные мудрецы! — не захватывает вас ни сильный ветер, ни воля.

Видели ли вы когда-нибудь, как несется по морю парус, округлый и раздутый, трепещущий под яростью ветра?

Подобно парусу, трепеща под яростью духа, несется моя мудрость по морю — моя дикая мудрость!

Но вы, слуги народа, о прославленные мудрецы, — как м о г л и б ы вы унести со мною! —

Так говорил Заратустра.

*
* *
*

Ночная песнь

Ночь: звонче говорят фонтаны. И моя душа тоже фонтан.

Ночь: пробуждаются все песни влюбленных. И моя душа песнь влюбленного.

Неутоленное, неутолимое во мне; оно хочет высказаться. Жажда-жадность любви во мне, она сама говорит языком любви.

Свет я: ах, быть бы мне ночью! Но в том одиночество мое, что я опоясан светом.

Ах, вот бы мне темным быть и ночным! О как хотел бы я присосаться к грудям света!

И еще вас благословить хотел бы я, вы, маленькие искорки-звезды и светлячки небес! — и блаженствовать от богатства даров света.

Но я живу в своем собственном свете, я впиваю в себя то пламя, что вырывается из меня.

Я не знаю счастья берущего; и часто грезилося мне, будто красть еще большее блаженство, чем брать.

В том моя бедность, что никогда не отдыхает моя одаряющая рука; в том моя зависть, что я вижу глаза ожидающие и ночи тоски просветленные.

О, злосчастье всех одаряющих! О, затмение солнца моего! О, жажда-жадность к желаниям! О, ненасыть при насыщении!

Они берут у меня: но душу их трогаю ли я? Пропасть разверзается между брать и давать; и через наименьшую пропасть перекидывают мост всего позднее.

Голод вырастает из моей красоты: боль причинить хотел бы я тем, кому свечу, ограбить хотел бы я одаренных мною: — так голодаю я по злобе.

Руку отдергивая, когда к ней уже протягивается рука; медля, водопаду подобно, который, даже срываясь вниз, медлит: — так голодаю я по злобе.

Такое мщенье измышляет моя переполненность; такие козни льются из моего одиночества.

Мое счастье одарять омертвело в одарении, моя добродетель утолилась своим приизбытком!

Кто всегда одаряет, тому грозит опасность потерять стыд; кто всегда раздает, у того на руке и на сердце мозоли от неустанных раздач.

Мой глаз уже не перетекает влагой при виде стыда просящих; моя рука слишком затвердела для дрожания наполненных рук.

Куда девалась слеза в моем глазу и пух в моем сердце? О одиночество всех одаряющих! О молчаливость всех свет излучающих!

Много солнц кружится в пустынном пространстве: ко всему темному говорят они своим светом, — для меня молчат они.

О, вот она, вражда света ко всему свет излучающему: безжалостно протекает он своими путями.

Несправедливое ко всему свет излучающему до глубины сердца: холодное к солнцам, — так протекает каждое солнце.

Урагану подобно, пролетают солнца своими путями, — таково их течение. Своей неумолимой воле покорствуют они, — такова их холодность.

О вы, темные, вы, ночные, это вы претворяете в тепло все свет излучающее! Это вы наливаются досыта молоком и сладостью от выменей света!

Ах, лед вокруг меня, моя рука обжигается о ледяное! Ах, жажда во мне — она томится по вашей жажде!

Ночь: ах, эта обреченность быть светом! И жажда полуночного! И одиночество!

Ночь: бьет из меня ключом желание, — заговорить нудит оно меня.

Ночь: звонче говорят фонтаны. И моя душа — фонтан.

Ночь: пробуждаются все песни влюбленных. И моя душа песнь влюбленного. —

Так пел Заратустра.

*
* *
*

Песня-пляска

Как-то вечером проходил Заратустра с учениками по лесу; и пока он разыскивал ключ, гляди, вышел он на зеленую лужайку, окаймленную молчанием деревьев и кустарников: на лужайке плясали девушки друг с дружкой. Чуть узнали девушки Заратустру, оставили они пляску; Заратустра же приблизился к ним с приветливым видом и говорил такие слова:

«Не оставляйте пляски, о милые девушки! Не игр нарушитель злобноокий пришел к вам, не девичий враг.

Богозаступник я пред чертом: черт же дух тяжести. Как мог бы я быть, вы, легконогие, врагом божественных плясок? Или девичьих ног о красивых лодыжках?

Пожалуй, я бор и ночь темных деревьев: но кто не пугается моей тоски, тот найдет и навесы из роз под моими кипарисами.

И маленького божка найдет он, пожалуй, — того, что девушкам всех милее: близ ключа лежит он, тихо, сомкнув вежды.

Впрямь, среди бела дня уснул он там, бездельник! Верно, набегался он до усталости за мотыльками?

Не гневайтесь на меня, вы, красотки-танцовки, если я отстегаю слегка маленького божка! Будет он, верно, вопить и реветь, — но он и сквозь слезы смешлив!

И пусть со слезами на глазах пригласит он вас на пляску; и сам я спою песню под его пляс:

Песню-пляс, песню-балагурку духу тяжести, моему наиглавнейшему всемогущему дьяволу, о котором говорят, что он «владыка мира». —

И вот она, песнь, которую пел Заратустра, пока Купидон и девушки плясали:

В твои глаза заглянул я недавно, о жизнь! И чудилось мне, будто в неисповедимость саму погружаюсь я.

Но золотой удочкой вытащила ты меня на свет; насмешливо засмеялась ты, когда я назвал тебя неисповедимой.

«Такова речь всех рыб, — говорила ты, — что исподволь не выведать и м, то неисповедимо.

Но я всего только изменчива, и дика, и во всем женщина, и вовсе не добродетельная:

Как бы ни называлась я у вас, мужчин: «глубокая» или «верная», «вечная», «таинственная».

Но вы, мужчины, наделяете нас неизменно собственными добродетелями — эх вы, добродетельные!»

Так смеялась она, невероятная; но я никогда не верю ни ей, ни смеху ее, когда она говорит о себе зло.

И когда я с глазу на глаз беседовал с моей дикой мудростью, она мне гневно сказала: «Ты хочешь, ты жаждешь, ты любишь, вот почему с л а в о с л о в и ш ь ты жизнь!»

И тут я чуть было не ответил ей зло и не сказал ей, гневливой, всю правду; и нельзя ответить злее, чем когда своей мудрости «говоришь всю правду».

Так-то обстоит оно между нами тремя. Всем нутром своим люблю я только жизнь — и, впрямь, всего больше тогда, когда ненавижу ее!

Но чтобы я был к мудрости добр и часто через край: это оттого, что уж очень напоминает она мне жизнь!

Те же глаза у нее, тот же смех и даже тот же золотой прутик-удочка: при чем же тут я, если обе они так сходны обликом?

И когда однажды меня спросила жизнь: «Кто же она, эта мудрость?» — тут сказал я с горячностью: «Ах да, мудрость!

Жаждешь ее и нет жажде конца, глядишь сквозь флер, хватаешь сквозь сети.

Хороша ли она? Почему я знаю! Но и старейшие из старейших карпов еще попадаются на ее приманку.

Переменчива она и упряма; часто приходилось мне видеть, как кусает она себе губы и против шерсти расчесывает себе гребнем волосы.

Быть может, она зла, и лукава, и во всем женщина; но когда она дурно о самой себе говорит, тогда-то и обольщает она необоримо».

И когда я высказал это жизни, тут коварно засмеялась она и закрыла глаза. «О ком это говоришь ты? — сказала она, — пожалуй, обо мне?

И будь ты прав, — можно ли это говорить мне в лицо? А ну-ка поговори теперь и о своей мудрости!»

Ах, и вот снова приоткрыла ты глаза, о возлюбленная жизнь! И казалось мне, будто в неисповедимость саму снова погружаюсь я. —

Так пел Заратустра. Когда же пляска кончилась и де-вушки ушли, стал он печален.

«Солнце уж давно закатилось, — сказал он наконец, — на лугу росно, от лесов веет прохладой.

Неведомое обстало меня и глядит задумчиво. Ты еще жив, Заратустра?

Зачем? К чему? От чего? На что? Куда? Как? Не нелепо ли еще жить? —

Ах, други мои, это все вечер спрашивает во мне: Простите мне мою печаль!

Вечер настал: простите мне за то, что вечер настал!»

Так говорил Заратустра.

*
* * *

Песнь надгробная

«Там остров гробниц, молчаливый; там и гробницы юности моей. Туда хочу я принести вечнозеленую гирлянду жизни».

Так порешив в сердце, поплыл я по морю. —

О вы, юности моей видения и призраки! О вы, милозоры любви, божественные мимолетности! Как быстро вы умерли для меня! Я вспоминаю о вас сегодня, как о своих мертвецах.

От вас, о мои любимые мертвецы, проникает ко мне сладостный запах, разрешающий сердце и слезы. Впрямь, он потрясает и разрешает сердце у одиноко плывущего.

Все еще и богаче богатых и внушаю наизавистливейшую зависть — я, из одиноких одинокий! Ведь и м е л же я вас, как вы имеете и ныне — меня: скажите, кому же еще, как мне, падали розмарины с дерева?

Все еще я вашей любви дитя и надел, в память о вас расцветающий пестрой дикой порослью добродетелей, о вы, из любимых любимые!

Ах, мы были созданы для обоюдной близости, о милые чуженевидали; и не как робкие птицы подошли вы

ко мне и к моему алчному ожиданию — нет, как доверчивые к доверчивому!

Да, для верности созданные, подобно мне, и для нежных вечностей: должен ли я именовать вас теперь по неверности вашей, о божественные милозоры и миолетности: иному имени еще не научился я.

Впрямь, слишком быстро умерли вы для меня, о беглецы. Но ни вы не бежали от меня, ни я от вас: не виновны мы друг перед другом в нашей неверности.

Чтобы м е н я умертвить, удушали вас, вы, певчие птицы моих упований! Да, в вас, из любимых любимые, посылала всегда злоба стрелы — мне в сердце попасть!

И попадала! Ведь были же вы неизменно моим, неотъемлемо дорогим, моим держалом и моей одержимостью: п о т о м у должны вы были умереть юными и так рано!

В самое уязвимое во мне из того, чем я владел, метко пустили стрелу: то были вы, чья кожа пуху подобна, а еще больше улыбке, мертвеейшей от мгновенного взгляда!

Но такое слово скажу я своим врагам: что все душегубство по сравнению с тем, что вы мне сделали!

Злейшее мне сделали вы, чем все душегубство; невозвратное отняли вы у меня — так говорю я вам, враги мои!

Убили же вы юности моей видения и возлюбленные невидали! Сотоварищей детства отняли вы у меня, блаженных духов! В память их возлагаю я эту гирлянду и это проклятие.

Это проклятие вам, враги мои! Подсекли же вы мне коротко мое вечное, как звук сечется в холодную ночь! Словно взблеском очей божественных промигнуло оно мне — во мгновение ока!

Так некогда в добрый час изрекла моя чистота: «Да будут божественными для меня все существа».

Но тут вы напали на меня с вашей нечистью; куда же улетел тот добрый час!

«Да будут все дни для меня священными», — так изрекла некогда мудрость юности моей: впрямь, веселой мудрости речь!

Но тут вы, враги, выкрали у меня мои ночи и перепродали их ради мук бессонницы: ах, куда же улетела та веселая мудрость?

Некогда желал я счастливых знамений от птиц: но тут пересекли вы мне дорогу совоподобным страшилищем, образа мерзкого. Ах, куда улетело тогда мое нежное желание?

Некогда дал я обет отречения от какого ни на есть отвращения: но тут вы превратили мне моих близких и ближних в вередов. Ах, куда же улетел тогда мой высокий обет?

Как слепец, шел я некогда блаженными путями: но тут накидали вы всякой скверны на пути слепца, и вот обратительна ему бывшая стезя — слепоты.

И когда я свершил мое труднейшее из трудного и праздновал моих преодолений победу: тут принудили вы тех, кто любил меня, криком кричать, — это я причиняю им наибольшую боль.

Впрямь, вот что было всегда делом ваших рук: вы отравляли мне мой наилучший мед и трудолюбие моих наилучших пчел.

К моей благотворительности всегда подсылали вы самых дерзкоязычных нищих; на мое сострадание всегда напирали вы толпами неисцелимо бесстыжих. Так узвляли вы добродетель мою в ее вере.

И стоило возложить мне на жертвенный алтарь мое наисвященнейшее: ваше «благочестие» мигом наваливало рядом свои более жирные дары, так что в дыму от вашего тука удушалось мое наисвященнейшее.

И однажды хотел я плясать, как никогда еще не плясал: поверх всех небес хотел плясать я. Тут подговорили вы моего излюбленного певца.

И вот завел он ужасающий глухозвучный напев; ах, он трубил мне в уши, будто угрюмый рог!

Убийственный певец, рупор злобы, из всех невиннейший! Уже приступал я к пляске из плясок: тут убил ты своими звуками мой восторг!

Только в пляске умею я высказываться о наивысших вещах символами — и вот остался мой наивысший символ невысказанным в моих коленях!

Невысказанной, неразрешенной осталась высшая моя надежда! И умерли для меня все видения и утешения юности моей!

Как перенес я это? Как претерпел и преодолел я эти язвящие раны? Как вновь восстала моя душа из этих гробниц?

Да, есть нечто неуязвимое, непогребаемое во мне, нечто граниты взрывающее: м о я в о л я имя ему. Молчаливо шагает оно и неизменчиво чредою годов.

Своим ходом хочет она идти на моих ногах, моя старая подруга воля; неумолим смысл ее и неуязвим.

Неуязвим я только в мою пяту. Все еще живешь ты, как жила, все еще верна себе, как была, из терпеливых терпеливая! Все еще идешь напролом сквозь все гробницы!

Еще живо в тебе все неразрешимое юности моей; и как жизнь и юность сидишь ты, уповая, здесь, на желтых разрушенных гробницах.

Да, все еще ты для меня всех гробниц разрушительница: исполать тебе, воля моя! Ведь только там, где гроба, бывают и восстания из мертвых. —

Так пел Заратустра.

*
* * *

О самопреодолении

«Волей к истине» называете вы, из мудрых мудрые, то, что двигает вас и рождает в вас пыл?

Волей к мыслимости всего сущего: так называю вашу волю!

Вы хотите все сущее сперва с д е л а т ь мыслимым: ибо вы сомневаетесь, с благим намерением, мыслимо ли это уже.

Но покорным и гибким должно у вас оно стать! Так ваша воля волит. Гладким должно оно стать и духу подвластным, как его зеркало и отражение.

Такова ваша воля всецело, вы, из мудрых мудрые, как воля к власти; и даже тогда, когда вы о добре и зле говорите и об оценках ценностей.

Еще создать хотите вы мир, перед которым могли бы преклонить колени: таково ваше последнее упование и опьянение.

Впрочем, немудрые, народ, — они подобны реке, по которой плывет да плывет челнок: и в челноке таинственно под масками сидят оценки ценностей.

Вашу волю и ваши ценности пустили вы по реке становления; застарелую волю к власти открываю я в том, что народ принимает за добро и зло.

Это вы, из мудрых мудрые, таких гостей посадили в этот челнок и дали им пышность-блеск и гордые имена — вы и ваша господская воля!

Все дальше несет река ваш челнок: она д о л ж н а его нести. Что за беда, пенится ли разбитая волна и перечит ли сердито килю!

Но река — опасность для вас и конец вашему добру и злу, вы, из мудрых мудрые: но сама воля, воля к власти, — неисчерпаемая творящая воля к жизни.

Но дабы поняли вы слово мое о добре и зле: я добавлю для вас еще слово о жизни и свойстве всего живого.

Живое прослеживал я, по самым великим и малым путям следовал я, чтоб познать свойство его.

Тысячегранным зеркалом ловил я взор его, когда замкнут был его рот: только бы око его говорило мне. И говорило мне его око.

Но где бы ни находил я живое, там слышалась мне и речь о повиновении. Все живое есть нечто повинующееся.

И вот второе: повелевают теми, кто самому себе повиноваться не в силах. Таково свойство всего живого.

И вот третье, что я услышал: повелевать труднее, чем повиноваться. И не только потому, что тот, кто повелевает, несет на себе бремя тех, кто повинуется, и что легко быть раздавленным этим бременем: —

Попыткой и риском представлялось мне всякое повеление; и неизменно все живое рискует собой.

Даже когда самому себе повелевает оно; даже тогда должно оно искупить свое повеление. Своему же собственному закону должно оно быть и судьей, и мстителем, и жертвой.

Почему это так? — себя спрашивал я. Что же внушает всему живому повиноваться и повелевать, и, повелевая, все-таки оставаться в повиновении?

Услышьте же слово мое, о вы, из мудрых мудрые! Хорошенько проверьте, проник ли я в самое сердце жизни и в самые уголки ее сердца!

Всюду, где я находил живое, там находил я и волю к власти; и даже в воле слуги находил я волю быть господином.

Чтобы более сильному служило более слабое, вот что внушает оно своей воле, которая волит быть господином над еще более слабым: без этой радости не может оно обойтись.

И как меньшее отдает себя большему, чтобы была у того радость от власти и над меньшим из меньших: точно так отдает себя в жертву и из больших наибольшее и власти ради — ставит жизнь на карту.

Вот самопожертвование из больших наибольшего — то, что тут риск, и опасность, и игра в кости, где проигрыш — смерть.

А где есть жертва и служение и взоры любви: там есть и воля быть господином. Путями окольными тут проскальзывает слабейший в кремль и в самое сердце могучему — и крадет у него и мощь и власть.

И такую тайну поведала мне сама жизнь: «Смотри, — говорила она, — я есмь то, что неизменно должно преодолевать самое себя.

Впрочем, вы называете это волей к творчеству или устремленностью к цели, к более высокому, и далекому, и многогранному: но все это одно и единая тайна.

Скорее погибну я, чем отрекусь от этого единственного; и впрямь, где есть листопад и гибель-закат, смотри, там жертвует жизнь собой — власти и мощи ради!

Если дано мне быть борьбой, становлением, и целью, и противоборством целей: ах, кто угадает волю мою, тот угадает и то, какими к р и в ы м и путями дано ей идти!

Что бы ни создала я и как бы я ни любила — вскоре суждено мне противницей быть и созданному мной и любви моей: так волит воля моя.

Да и ты, познающий, только стезя и оттиск ступни моей воли: впрямь, моя воля к власти ходит также стопами твоей воли к истине!

Не попал, впрочем, в истину тот, кто выстрелил в нее словом о «воле к быванию»: такой воли — нет!

Ибо: то, чего нет, — не может волить; а то, что есть в самом бывании, как могло бы оно захотеть войти в бывание!

Только там, где жизнь, там и воля: но не воля к истине, а — так учу я тебя — воля к власти!

Многое для живущего ценнее, чем даже сама жизнь; но и в самой оценке говорит — воля к власти!» —

Так поучала меня некогда жизнь: и отсюда даю я загадку, вы, из мудрых мудрые, и загадки вашего сердца.

Впрямь, говорю вам: добро и зло непреходящие — их нет! Оно должно само себя вечно сызнова преодолевать.

Своими ценностями и словами о добре и зле совершаете вы насилие, вы, ценители ценностей: и вот она, ваша затаенная любовь и вашей души сияние, трепет и волна через край.

Но более богатая сила вырастает из ваших ценностей и новое преодоление: об них разбивается и яйцо, и скорлупа от яйца.

И кому дано быть творцом в добре и во зле: впрямь, тому дано быть сперва крушителем и разбивать ценности.

Так сопряжено высшее зло с высшей добротой: она же доброта творческая. —

Будем же речь вести только об этом, вы, из мудрых мудрые, как бы ни было оно плохо. Молчать того хуже: все замолченные истины становятся ядовитыми.

И да разобьется все, что о наши истины может разбиться! Еще столько домов предстоит построить!

Так говорил Заратустра.

*
* *
*

О возвышенных

Спокойно дно моего моря: кто угадал бы, что оно скрывает игривых чудовищ!

Невозмутима моя глубина: но она переливается сверканием проплывающих загадок и усмешек.

Возвышенного видел я сегодня, празднично-торжественного, кающегося духом: о как смеялась моя душа над его уродством!

С приподнятой грудью напоминая тех, кто в себя дыхание собирает — так стоял он там, возвышенный, в молчании:

Увешанный уродливыми истинами, своей охотничьей добычей, и богатый изодранным платьем; немало шипов висело на нем — но розы я не видел ни одной.

Еще не научился он смеху и красоте. Мрачным вернулся этот охотник из леса познания.

После битвы с дикими зверями вернулся домой он: но сквозь его строгость проглядывает все тот же дикий зверь — зверь непреодоленный!

Словно тигр еще стоит он, готовый к прыжку; но я не терплю эти напряженные души, моему вкусу претят все эти в себя ушедшие.

И вы говорите мне, други, что о вкусах и вкушаниях не спорят? Но вся жизнь — это спор о вкусах и вкушаниях!

Вкус: это одновременно вес, и чаша весов, и весовщик; и горе всякому живому, кто хотел бы жить без спора о весе, о чаше весов и о весовщиках!

О если бы он устал от своей возвышенности, этот возвышенный: вот тогда началась бы его красота, — тогда и попробую я его на вкус и найду его вкусным.

И только когда он от самого себя отвратится, перепрыгнет он через свою же тень — и впрыгнет впрямь в самое солнце с в о е!

Слишком долго сидел он в тени, побледнели щеки у кающегося духом; он едва с голоду не пропал из-за своих ожиданий.

Еще презрение в его глазах; и отвращение таится близ его губ. Хотя он и отдыхает сейчас, но отдых его еще не вытянулся на солнце.

Подобно быку поступать бы ему; и землю бы пахнуть его счастьем, а не презрением к земле.

Белым быком хотел бы я видеть его, как с мычаньем и храпом шагает он впереди лемеха плуга: мычанью б его восхвалять все земное!

Еще темно его лицо; тень руки пробегает по нем. Затенен еще свет его окна.

Сам подвиг его — еще тень на нем: рука затемняет подвижника. Не преодолел он еще своего подвига.

Да, я люблю в нем выю быка; но я хотел бы видеть и око ангела.

Но и свою волю героя должен он также научиться забывать: пусть вознесенным будет он для меня, а не только возвышенным: — самый эфир пусть возносит его, свободного от воли!

Он поборол чудовищ, он разгадал загадки: но еще надо было ему их освободить догадаться, этих чудовищ и эти загадки; в детей неба еще надо было ему обратить их.

Еще не научилось его познание улыбаться и ревности не знать; еще его неукротимая страсть не стихла в красоте.

Впрямь, пусть не в сытости умолкает и тонет его желание, а в красоте! Обаяние душевное неотделимо от великодушия при величии духа.

Закинув руку за голову: так бы отдыхать герою, так бы преодолевать ему свой же отдых.

Но именно для героя п р е к р а с н о е труднее трудного. Недостижимо прекрасное для напористой воли.

Чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше: именно это здесь значит много, именно это здесь значит все.

С расслабленными мускулами стоять и распряженной волей: вот что для вас труднее трудного, о возвышенные!

Когда могущество столь милостиво, что снисходит до видимости: красотой называю я тогда такое нисхождение.

И ни от кого другого не хочу я так красоты, как именно от тебя, о могучий: твоя доброта да будет твоим последним самопреодолением.

Любое зло я готов от тебя ожидать: потому и хочу я от тебя доброты.

Впрямь, смеялся я, бывало, над слабосильными, которые мнят себя добрыми, потому что кулаки их слабы!

Стремись подражать добродетели колонны: все прекраснее она и нежнее, зато внутри себя тем тверже и выносливее, чем выше она возносится.

Да, о возвышенный, еще быть тебе некогда прекрасным и перед собственной красотой держать зеркало!

Тогда будет содрогаться твоя душа пред божественными алканиями даже; и поклонение будет еще в твоём тщеславии!

Вот она, тайна души: только когда ее покинет герой, приблизится к ней, в сновидении, — сверхгерой.

Так говорил Заратустра.

*
* *
*

О стране образованности

Как далеко залетел я в грядущее; ужас напал на меня. И когда я осмотрелся, гляди! время было моим единственным современником.

Тогда полетел я в обратный-возвратный путь — все быстрее и быстрее: так пришел я к вам, вы, нынешние, и в страну образованности.

Впервые захватил я с собою зоркий глаз на вас и благое желание: впрямь, с тоскою в сердце пришел я.

Но что нашло на меня? Как ни страшно мне было — я не мог не расхохотаться! Никогда не выдывал мой глаз ничего столь крапчато-пестрого!

Я хохотал и хохотал, тогда как ноги мои продолжали дрожать, а с ними и сердце: «Да тут верно родина всех горшков с красками!» — сказал я.

С пятьюдесятью пятнами на лице и всем теле: так и сидели вы, к моему удивлению, вы, нынешние!

И пятьюдесятью зеркалами обставленные, которые льстили пятнами краски и перенимали игру их цвета!

Впрямь, нет вам лучшей личины, о нынешние, чем ваше же собственное лицо! Кто смог бы вас тогда —
у з н а т ь!

С головы до ног исписанные знаками прошлого и еще поверх этих знаков размалеванные новыми знаками: так ловко укрылись вы от всех толкователей знаков!

И будь вы хоть толкователи болезней: кто поверит, что в вашем чреве есть почки! Вы кажетесь выпеченными из красок, из ярлыков на клею.

Все века и народы проступают многоцветно сквозь ваши покрывала; все обычаи и верования говорят многоцветно в ваших жестах.

Кто из вас совлек бы с себя покрывала, и плащи, и краски, и жесты: у того осталось бы ровно столько, сколько надо, чтобы пугать птиц.

Впрямь, я та испуганная птица, которая раз увидела вас голыми и без окраски; и я прочь улетел, когда скелет стал подзывать меня любовными знаками.

Лучше было б мне поденщиком быть в преисподней, у теней былого-минувшего! — куда гучнее и полнее вас даже жители преисподней!

Вот где, вот где язва утробы моей, — что вы и голыми и одетыми мне равно нестерпимы, вы, нынешние!

Вся бесприютная жуть грядущего и все, что некогда внушало ужас невесть куда залетевшим птицам, впрямь, куда приятнее и приветливее, чем ваша «действительность».

Ибо так говорите вы: «Действительны мы с головы до ног и чужды веры и суеверия»: так бьете вы себя в грудь — пусть вам и некуда бить!

Да и как м о г л и б ы вы верить, вы, крапчато-пестрые! — когда вы верные картины всего, во что только когда-либо веровали люди!

Вы ходячее опровержение самой веры, и всяческих мыслей осколки и крошево. Н е д о с т о в е р н ы е: так называю вас, вы, действительные!

Все времена пустословят наперекор друг другу в ваших умах; и всех времен пустословие и сны все же действительнее, чем ваша явь!

Бесплодны вы: п о т о м у и нет в вас веры. Но кто должен был созидать, у того неизменно были свои сны-откровения и знамена звездные — и он верил в веру! —

Полураспахнутые ворота вы, у которых ждут гробопы. И вот смысл в а ш е й действительности: «Все достойно того, чтобы прахом пойти».

Ах, каковы же вы, о бесплодные, до чего худы ваши ребра! Кто-нибудь из вас и сам хорошо это понимал.

И говорил: «Верно, неведомый бог, пока я спал, тайно что-то выкрал у меня? Впрямь, достаточно, чтобы слепить бабеночку!»

«Удивительна худоба моих ребер!» — так уже говаривал кто-нибудь из нынешних.

Да, смешны вы мне, о нынешние! И особенно, когда вы сами себе удивляетесь!

И горе мне, когда б я не умел смеяться над вашим удивлением и был вынужден хлебать бурду из ваших мисок!

И потому хочу я вас брать как можно легче, ибо ноша моя т я ж е л а; и что за беда, если жуки и крылатые черви усядутся на моем узелке!

Впрямь, не станет мне от этого тяжелее! И не от вас, о нынешние, придет ко мне великая усталость. —

Ах, куда же еще подняться мне с моим томлением! С высоты гор смотрю я вдаль в поисках отчих и родимых стран.

Но родины я не нашел нигде: не к месту я в ваших местностях, уход прорывом через все ворота.

Чуждые мне и посмех для меня эти нынешние, к которым недавно влекло меня сердце; и изгнан я из отчих стран.

Потому и люблю я только страну моих детей, неоткрытую, в чужедальном море: искать и искать ее призываю я свои паруса:

В детях хочу искупить я, что я отцово дитя: и всем грядущим временем — это нынешнее!

Так говорил Заратустра.

*
* *
*

О непорочном познании

Когда вчера взошел месяц, почудилось мне, будто хочет он солнце родить: таким широким, как на сносях, лежал он у самого горизонта.

Но обманщик он, по-моему, со своей беременностью; и я скорее поверю в месяц-мужчину, чем в месяц-женщину.

Впрочем, какой он мужчина, этот робкий мечтатель-полуночник. Впрямь, с нечистой совестью бродит он по-над крышами.

Ибо он похотлив и ревнив, этот монах в месяце, похотлив к земле и ко всем радостям любовников.

Нет, не по мне он, этот кот на крышах! Противны мне все те, что скользят украдкой вдоль полузакрытых окон!

Благочестиво и безмолвно бродит он по звездным коврам: — но не по мне все эти неслышно-ступающие ноги мужчин, на которых не позвякивает шпора.

Каждого честного шаг речист; кошка же крадется по земле тишком. Посмотри: по-кошачьи скользит месяц и нечестно. —

Этот образ-подобие избрал я для вас, чувствительных притворщиков, для вас, чистоплюев познания. Вас называю — похотливцы!

И вы любите землю и все земное: о, я разгадал вас! — Но есть стыд в вашей любви и нечистая совесть, — месяцу подобны!

Презрение к земному внушили вашему духу, но не вашему нутру: о н о ж е сильнейшее в вас!

И вот стыдится ваш дух, что подвластен утробе и от собственного стыда ускользает окольными и обманными путями.

«Вот что было бы для меня высшей радостью, — так говорит себе ваш изолгавшийся дух, — созерцать жизнь без вожделения, а не как собака с выплеснутым языком.

Испытывать счастье в созерцании, при оцепенелой воле, быть чуждым хищной хватке себялюбия — холодным и пепельно-серым всем телом, но с опьяненными глазами месяца!»

«Вот что было бы мне дорого-любю, — так обольщает себя обольщенный, — любить землю, как ее любит месяц, и только одними глазами осязать ее красоту.

И да прозовется для меня н е п о р о ч н ы м познанием мира то, что ничего не требую я от мира: кроме права лежать перед ним подобно зеркалу о тысячу глаз». —

О чувствительные притворщики, о похотливцы! Невинности недостает вам в сладострастьи желаний: и потому клеветаете вы на желание!

Впрямь, не так, как созидатели, оплодотворители, ликующие производители, любите вы землю!

Где невинность? Там, где воля к зарождению. И кто — хочет создать нечто сверх и превыше себя, у того, по-моему, самая чистая воля.

Где красота? Там, где я всей волей должен, о б з а н х о т е т ь; где я хочу любить и погибать, чтобы образ не оставался только образом.

Любить и гибнуть: это созвучно от вечности. Воля к любви: это значит хотеть и смерти. Так говорю я вам, трусливцы!

Но ваш обезмуженный скошенный взгляд называется теперь «созерцательностью»! И все, что можно осязать трусливым глазом, должно быть окрещено словом «прекрасное»! О вы, осквернители благородных имен!

Но то да будет вашим проклятием, о непорочные, о чистоплаи познания, что никогда не будете вы рожать: хотя бы широкими и словно на сносях лежали вы у самого горизонта!

Впрямь, у вас полон рот благородных слов: и мы должны верить, что у вас переполнено сердце, вы, завзятые брехунцы?

Но м о и слова — ничтожные, презренные, корявые: все подбираю я, что падает у вас под стол.

Все же я могу этими словами сказать правду — притворщикам! Пусть рыбы кости, и раковины, и колючие листья мои — пусть щекочут они носы притворщиков!

Скверный воздух всегда окружает вас и ваши столования: ваши похотливые мысли, ваши лжи и утайки висят в воздухе!

Так дерзайте же сперва самим себе поверить — себе и нутру своему! Кто самому себе не верит, тот всегда лжет.

Личиной бога закрылись вы от самих себя, вы «чистые»: в личину бога запрятался ваш богомерзкий кольчатый червь.

Впрямь, морочите вы, «созерцатели»! И Заратустра дураком стоял некогда перед вашими божественными чучелами; не догадался он, каким кольцесплетением змей были они набиты.

Словно душа бога, грезилось некогда, славно играет в ваших играх, о чистоплюи познания! Нет лучше искусства, грезил я некогда, чем ваши искусные козни!

Змеиную мерзость и мерзкий запах скрывала от меня даль: и то, что изощренность ящерицы похотливо шныряла там.

Но я встал к вам п о б л и ж е: и пришел мой день — придет и для вас — конец любовным шашням месяца!

Да взгляните же! Уличенный и бледный, стоит он там — пред утренней зарей!

Ибо близится она, пылающая, — е е любовь к земле близится! Невинность и жажда творца — такова любовь солнца!

Да взгляните же, как нетерпеливо восходит она над морем! Иль не чувствуете вы горячего дыхания солнечной любви?

Море хочет она впить в себя, вбирая его глубину до самой своей высоты: и вот вздымается тысячегрудое желание моря.

Быть зацелованным, испытаным жаждой солнца х о ч е т оно; воздухом х о ч е т оно стать, и высотой, и стезею света, и самим светом!

Впрямь, подобно солнцу, люблю я жизнь и все глубокие моря.

И вот что назовется для м е н я познанием: все глубокое устремится ввысь — на мою высоту!

Так говорил Заратустра.

*
* * *

Когда я был погружен в сон, овца пожирала венки из плюща на моей голове — пожирала и приговаривала: «Заратустра больше не ученый».

Проговорила и пошла себе стропотно и гордо. Дитя мне рассказало об этом.

Любо мне лежать, где дети играют, у обрушенных стен, среди чертополоха и красных маков.

Еще ученый я для детей, и для чертополоха, и для красных маков. Невинны они даже в злобе своей.

Но для овец уже не ученый я: так хочет мой жребий, — да будет он благословен!

Ибо вот она, истина: выселился я из пристанища ученых и захлопнул дверь за собой.

Куда как долго сидела моя душа голодной за их столом; не выдрессирована она подобно им для познания, будто для щелканья орехов.

Свободу люблю и воздух над свежей землей: лучше мне на кожах воловых спать, чем на их достоинствах и маститостях.

Не в меру горяч я и раскален от собственных дум: порой до перехвата дыхания. Тогда на волю рвусь, прочь из запыленных комнат.

Они же холодно сидят в холодке: им бы только зрителями быть, да не сидеть там, где солнце накаляет ступени.

Подобно тем, кто по улицам торчит и глаза на прохожих таращит: так ждут они и таращат глаза на мысли, которые продумали другие.

А чуть до них руками дотронешься, так от них пыль столбом, как от мучных мешков, и притом поневоле: и кто бы догадался, что их пыль от зерна и от желтого счастья яровых полей?

А чуть прикинутся они мудрыми, так ознобом продрагиваю я от их изречений и истин: чем-то пахнет порой от их мудрости, будто она из болота вылезла, — и впрямь, случилось мне слышать, как лягушка из нутра ее квакала!

Ловкачи они, с умелыми пальцами: что мое просто-душие рядом с их многодушием! Их пальцы горазды и прясть, и вязать, и ткать: так фабрикуют они чулки духа!

Они заправские часы: только бы их вовремя заводить! Тогда они безошибочно указывают время и при этом шумят не сильно.

Подобно мельницам работают они и толчеям: только знай подбрасывай им зерно! Они уж сумеют смолоть его мелко и превратить в белую пыль.

Они зорко следят друг за другом и не очень-то доверяют один другому. Измысливые на маленькие хитрости, караулят они тех, чье знание припадает на ногу, — паукам подобно, караулят они.

Я видел, с какой осторожностью готовят они яд; и при этом всегда они натягивали себе на пальцы стеклянные перчатки.

Умеют они и фальшивыми костями играть; так ревностно играли они при мне, что даже потели.

Мы чужды друг другу, и их добродетели претят моему вкусу даже сильнее, чем их фальшь и фальшивые кости.

И когда я жил у них, я жил над ними. За это невзлюбили они меня.

Они знать не хотят, что некто бродит там, над их головами; потому и навалили они всякого дубья, и земли, и дерьма между своими головами и мною.

Так приглушили они звук моих шагов: и посейчас хуже всего был я услышан из ученых учеными.

Пороки и слабости людей навалили они между собой и мной: — «порочным порогом» называют они это в своих домах.

И все-таки, наперекор им, брожу я моими мыслями над их головами; и захоти я даже бродить по собственным заблуждениям, все-таки был бы я над ними и над их головами.

Ибо н е р а в н ы люди: так говорит справедливость. И того, чего хочу я, не посмели бы хотеть о н и!

Так говорил Заратустра.

*
* *
*

О поэтах

«С тех пор, как лучше узнал я тело, — сказал Заратустра одному из учеников своих, — дух для меня только уподобительно дух; и все «непреходящее» — только подобие».

«Я уже это слышал однажды от тебя, — отвечал ученик, — и тогда ты еще прибавил: «Но поэты лгут через край!» Почему же сказал ты, что поэты лгут через край?»

«Почему? — сказал Заратустра. — Ты спрашиваешь, почему? Я не из тех, кого позволено спрашивать об их почему.

Разве переживаю я по-вчерашнему? Давным-давно миновало время, когда переживал я основания своих мнений.

Разве не был бы я бочкой памяти, если б захотел иметь при себе и свои основания?

Для меня уже и то слишком много — самые мнения мои удержат при себе; немало птиц улетает и не возвращается.

А порой нахожу я и залетную пичугу на моей голубятне: она мне чужая и дрожит, чуть я кладу на нее руку.

Но что же сказал тебе некогда Заратустра? Что поэты лгут через край? — Да, но и Заратустра — поэт.

Так ты веришь, что он сказал тебе правду? Почему же ты этому веришь?»

Ученик отвечал: «Я верю в Заратустру». Но Заратустра покачал головой и улыбнулся.

«Вера меня не спасает, — сказал он, — тем более вера в меня.

Но допустим, кто-либо сказал не шутя, что поэты лгут через край: так он прав — мы лжем через край.

Да мы и знаем крайне мало и плохо учимся: потому-то и должны мы лгать.

И кто бы из нас, поэтов, не подливал свое вино? Немало ядовитой бурды изготовлялось у нас в погребках, немало неопишемого творилось там.

И так как мы мало что знаем, нам по сердцу нищие духом, особенно если это молодые женки-бабенки!

И мы даже падки к тем рассказам, которые пересказывают друг другу вечерами старые бабоньки-женки. Это мы сами в себе называем вечной женственностью.

Есть будто бы и еще некий особый потаенный доступ к знанию, и он для тех за в а л и в а е т с я, кто кое-чему учится: потому верим мы в народ и в его «мудрость».

Но вот во что верят все поэты: если кто, лежа в траве или на уединенном склоне, наострит уши, тот узнает кое-что о вещах, между небом и землею сущих.

И если найдет на них волнение нежное, то поэты мнят неизменно, что в них сама природа влюблена:

И приникает украдкой к их уху, чтобы нашептывать на ухо нечто таинственное и влюбленные, льстивые речи: этим чванятся, кичатся они перед всеми смертными!

Ах, есть так много диковинного между небом и землей, о чем помечтать позволяют себе только поэты!

А особенно и а д небом: ибо все боги только подобность, только нарядливость поэтов!

Впрямь, нас влечет неизменно горе — в страну облаков: на них сажаем мы радужные баловни-чучела и называем их тогда богами и сверхчеловеками: —

Благо, куда как легки они для этаких седалищ! — все эти боги и сверхчеловеки.

Ах, как устал я от всей этой недостижимости, которой непременно надо быть событием! Ах, как устал я от поэтов!»

Когда так сказал Заратустра, вознегодовал на него ученик его, но смолчал. Молчал и Заратустра; и взор его обратился внутрь, как бы в созерцание беспредельно далекого. Наконец, он вздохнул и собрался с духом.

Я — от сегодня и от бывшего дня, сказал он тогда; но есть нечто во мне — и оно от завтра и от послезавтра и от будущего дня.

Я устал от поэтов, от старых, и от новых: поверхностны они для меня, мелководные моря.

Мало вдумывались они в глубину: потому чувство их не погрузилось до глубины оснований.

Чуть-чуть сладострастия и чуть-чуть скуки: вот какое их лучшее думанье.

Дуновением, мельканием призраков кажется мне перезвон их арф; что знали они о страстном пылании звуков! —

И недостаточно чисто плотны они для меня; они мутят свои воды, чтобы те казались глубокими.

И любят они выдавать себя за примирителей: но посредниками и посредственностями остаются они для меня, и серединой на половинку, и нечисто плотными! —

Ах, бывало и я забрасывал сети в их моря, думая выловить добрых рыб; но неизменно вытаскивал я из воды голову старого бога.

Так голодному море давало камень. Верно, и сами они тоже родом из моря.

Несомненно, и жемчужины находят в них: тем сильнее их сходство-сродство с твердыми ракушечными. И вместо души находил я, бывало, в них соленую слизь.

Вдобавок научились они от моря его тщеславию: разве море не павлин из павлинов?

Даже перед наиуродливейшим из буйволов распускает оно волною хвост, не наскучит ему вовек кружевной его веер из серебра и шелка.

Тупо уставился буйвол на море, душой он близок песку, еще ближе непролазной чаще, а всего ближе болоту.

Что ему красота, и море, и пышность павлинов! Этим подобием я одаряю поэтов.

Впрямь, сам дух их — павлин из павлинов, море тщеславия!

Зрителей требует дух поэта: пусть то будут хотя бы и буйволы! —

Но наскучил мне этот дух: и я предвижу — близится время, когда он сам себе наскучит.

Преображенными уже я видел поэтов, со взором, обращенным против самих же себя.

Кающихся духом видел я приближение: из поэтов они выросли.

Так говорил Заратустра.

*
* * *

О великих событиях

Есть на море остров гористый, — вблизи островов блаженных Заратустры, — и на нем постоянно дымится огнедышащая гора; говорит про тот остров народ, а осо-

бенно старые женки-бабенки из народа, будто он как глыба-утес выдвинут перед воротами преисподней: через самую огнегору ведет узкая тропа в пропасть, и доводит она до врат преисподней.

Как раз в ту пору, когда Заратустра пребывал на островах блаженных; случилось так, что корабль отдал якорь близ острова, на котором высится дымящаяся гора; и сошла команда корабля на берег кроликов пострелять. Но около полудня, когда капитан и люди его были уже снова в сборе, внезапно увидели они, что прямо на них по воздуху идет человек, и неведомый голос явственно выговорил: «Время пришло! Время не ждет!» Когда же видение оказалось на ближайшем от них расстоянии, — а оно неслось мимо них словно тень туда, где лежала огнегора, — то узнали они в величайшем смущении, что это сам Заратустра; ибо всем им уже прежде довелось видеть его — всем, за исключением капитана, и они любили его, как любит народ: в равной доле совмещая любовь и страх.

«Смотрите-ка! — сказал старик рулевой, — Заратустра пошел в ад!» —

Как раз в ту пору, когда эти корабельщики причалили к огненному острову, разнеслась молва, что Заратустра исчез; и когда спрашивали его друзей, те рассказывали, будто он в ночь сел на корабль, не сказав, куда держит путь.

Так возникла тревога; а три дня спустя к этой тревоге прибавилась еще история корабельной команды — и вот народ говорил, будто черт унес Заратустру. Правда, ученики его смеялись, слыша такие толки, а один из них даже сказал: «Скорее поверю, что Заратустра унес самого черта». Но в глубине души все они были преисполнены тревоги и томительного ожидания: потому велика была их радость, когда на пятый день среди них появился Заратустра.

И вот рассказ о беседе Заратустры с огненным псом: «Земля, — сказал он, — имеет кожу; и эта кожа больна множеством болезней. Одна из этих болезней называется, например, «человек».

А другая из этих болезней называется «огненный пес»: о н е м люди много себе нагали, да и наслушались немало лганья.

Чтобы проникнуть в эту тайну, я море перешел: и я увидел истину нагой, впрямь голой с головы до пят.

Что за диковина этот огненный пес, теперь мне известно; а равно ясно и то, что это за дьяволы извержения и ниспровержения, которых пугаются не одни только старые женки-бабоньки.

Выходи, огненный пес, вылезай из своей глубины! — завопил я, — и признавайся, насколько глубока бездны глубина! Откуда берется все то, что ты наверх, сопя, вырыгаешь?

Ты обильно пьешь из моря: об этом кричит твое пересоленное красноречие! Впрямь, для пса глубины ты уж слишком щедро пользуешься пищей с поверхности!

Самое большее за чревоушателя земли тебя принимаю я: и всегда, когда б ни услышал я речи дьяволов ниспровержения и извержения, я их находил, как и тебя, — солеными, лживыми, плоскими.

Вы горазды рычать и пеплом свет затемнять! Вы из бахвалов бахвалы, и вы в совершенстве научились искусству доводить грязь до кипения.

Где вы, там непременно и грязь вблизи, и много всего ноздреватого, скважистого, защемленного: оно просится на свободу.

«Свобода! — вопите вы все: но я разучился верить в «великие события», коль скоро вокруг них много воплей и дыма.

И поверь мне, приятель Адский шум! Величайшие события — не наши кричащие, а ваши тишайшие часы.

Не вокруг изобретателей нового шума: а вокруг изобретателей новых ценностей вертится мир; и е с л ы ш н о вертится он.

И сознайся! Мало что оставалось в итоге, чуть твой шум и дым улетучивались. Что с того, если город обратился в мумию, и статуя лежит поверженной в грязь!

И вот какое слово скажу я ниспровергателям статуй. Нет большей глупости, чем бросать в море соль и статуи в грязь!

В грязи презрения вашего лежала статуя: но именно таков ее закон, что для нее из презрения вновь вырастает жизнь и живая красота!

Божественнее обликом восстает она ныне, страдательно обольстительная; и впрямь, она еще поблагодарит вас, что вы ниспровергли ее, о ниспровергатели!

Но такой совет даю я королям, и церквам, и всему старчески-слабому и добродетельно-вялому, — дайте только ниспровергать себя! Чтобы вам снова вернуться к жизни, в добродетель — к вам!» —

Так говорил я пред огненным псом: тут он меня недовольно перебил и спросил: «Церковь? Это что такое?»

«Церковь? — отвечал я, — это своего рода государство, и притом насквозь пролгавшееся. Но замолчи ты, притворщик-пес! Ты-то свою породу знаешь как никто!

Подобно тебе государство — притворщик-пес; подобно тебе любит оно изрекать дымом и рыком — чтобы, подобно тебе, внушать веру, будто рокошет оно из чрева бытия.

Ибо оно непременно хочет быть наизнатнейшим зверем на земле — государством! И что это так — ему верят». —

Когда я это сказал, закорчился огненный пес, словно взбесившись от зависти. «Как? — завопил он, — наизнатнейшим зверем на земле? И что это так — ему верят?» И столько смраду и омерзительных звуков вырва-

лось из его пасти, что я думал, он задохнется от злости и зависти.

Наконец он приутих, и пыхтение его прекратилось; но как только он стих, я сказал, смеясь:

«Ты сердисься, огненный пес: это значит, я прав!

И чтобы я впредь оставался правым, выслушай о другом огненном псе: он впрямь говорит из самого сердца земли.

Он золотом дышит и дождем золотистым: так хочет его сердце. Что ему пепел, и дым, и горячая слизь!

Трепет смеха его словно радужное облако; противны ему клокотание твое, и плеванье, и камни в чреве!

А золото и смех — их берет он из сердца земли: пора ж тебе знать — из золота сердце земли».

Чуть этому вняв огненный пес, немоготу стало ему меня слушать. Пристыженный, поджал он хвост, издал робкое вау! вау! и уполз вниз в свою нору». —

Так рассказывал Заратустра. Ученики же его едва его слушали: так велико было их желание рассказать ему о корабельщиках, кроликах и летающем человеке.

«Не знаю, что и подумать об этом! — сказал Заратустра. — Призрак я, что ли?

Пожалуй, то была моя тень. Вы, верно, уже кое-что слышали о страннике и его тени?

Несомненно, однако, одно: мне надо ее подтянуть, — не то тень еще набросит тень на меня».

И еще раз Заратустра покачал головой и дивился. «Не знаю, что и подумать об этом!» — повторил он.

Почему кричал призрак: «Время пришло! Время не ждет!»

Ч е г о ж е это — время не ждет?» —

Так говорил Заратустра.

*
* * *

Прорицатель

«...и я видел, напала великая унылость на людей. Лучшие устали от дел своих.

Учение возникло, вера с ним рядом бежала: пусто все, безразлично все, было все!»

И звучало отзвуком со всех пригорков: «Пусто все, безразлично все, было все!»

Правда, урожай мы собрали: но почему сгнили и почернели все наши плоды? Что это упало наземь в последнюю ночь с недоброго месяца?

Напрасен был труд, в яд претворилось наше вино, дурной глаз спалил дожелта наши поля и сердца.

Мы все иссохли; и падет на нас огонь, развеемся мы пеплу подобно: — даже огонь, и тот утомили мы.

Все ключи иссякли для нас, даже море отступило вспять. Всюду твердь хочет разверзться, но не хочет поглотить глубина!

«Ах, есть ли еще где море, чтобы в нем утонуть»: так жалко звучит наша жалоба — далеко над плоскими болотами.

Впрямь, для смерти мы уже слишком устали; и вот еще бодрствуем мы и жизнь нашу длим — в могильных склепах!» —

Такие речи слышал Заратустра из уст прорицателя; и то прорицание проникло ему в сердце и обратило его. Печальный и усталый бродил он окрест; и стал подобен тем, о ком говорил прорицатель.

Впрямь, так сказал он своим ученикам, уже недолго ждать, и наступят эти долгие сумерки. Ах, как спасти-пронести мне через них мой свет!

Чтобы не угас он среди этой унылости! Отдаленным миром будет он светом и еще более отдаленным ночам!

В таком сокрушении сердечном бродил Заратустра окрест; и три дня не принимал ни питья, ни пищи, не на-

ходил покоя и утратил речь. Наконец, случилось так, что впал он в глубокий сон. Ученики же сидели вокруг него, бодрствуя долгие ночи напролет в напряженном ожидании, не пробудится ли он, не заговорит ли вновь и не исцелится ли от своей унылости.

И вот речь, которую произнес Заратустра, когда пробудился; но его голос доходил до его учеников словно откуда-то издалека:

Выслушайте же сон, который приснился мне, вы, други, и помогите мне разгадать его смысл!

Все еще загадка он для меня, этот приснившийся сон; его смысла сокрыт в нем, и еще пленен, и еще не витает над ним на вольных крыльях.

От всего живого отрешился я, так снилось мне. Ночным и кладбищенским караульщиком стал я, там на уединенной горе-граде смерти.

Там на горе караулил я смерти гроба: заставлены были угрюмые своды такими трофеями. Из стеклянных гробов глядела на меня побежденная жизнь.

Запах запыленных вечностей вдыхал я там: душной и запыленной лежала моя душа. И кто мог бы там проветрить свою душу!

Ясность полуночи обстала меня, одиночество скорчилось рядом с ней и третья — хрипящая тишина смерти, худшая из моих подруг.

При мне были ключи, наизаржавелые из всех ключей; и я ими умел отмыкать наискрипучие из всех ворот.

Будто злое карканье, пробежал звук по длинным переходам, когда поднимались створы ворот: неприятно кричала та птица, неохотно давала она будить себя.

Но куда страшней и до жути тягостней было, чуть умолкало все, — кругом тишина, и я сидел один в этом коварном молчании.

Так оно длилось, и время ползло, если время вообще еще было: почему я знаю! Наконец, случилось то, что меня пробудило.

Трижды грянул удар во врата громоподобно, загремели, завывали трижды своды отзывно: тогда пошел я к воротам.

Альпа! — воскликнул я. Кто несет свой пепел в гору? Альпа! Альпа! Скажи, кто несет свой пепел в гору?

И я ключ нажимал, и налегал на ворота, и тужился. Но ворота не подались и на палец:

Внезапно воюющий вихрь распахнул настежь их створы: свистя, завывая, пронзая, выбросил он мне черный гроб:

И под рев, завыванье и свист раскололся гроб и извергнул тысячекратно-отзывной смех.

И тьмы образин детей, ангелов, сов и шутов, и бабочек ростом в ребенка хохотали, и гоготали, и гудели, скопом несясь на меня.

Страх ужасный напал на меня: он поверг меня наземь. И я кричал, содрогаясь, как еще никогда не кричал.

Но мой собственный крик меня пробудил: — и я пришел в себя. —

Так рассказывал Заратустра свой сон и затем умолк: не знал он еще истолкования своему сну. Но ученик, которого он любил всех больше, встал, взял руку Заратустры и проговорил:

«Сама твоя жизнь толкует нам этот сон, о Заратустра!

Разве не сам ты тот вихрь пронзительно свистящий, что распахивает в граде-смерти врата?

Разве не сам ты тот гроб, полный радужных злоб и образин ангельских жизни?

Впрямь, как детский смех, тысячекратный, входит Заратустра в могильные склепы, смеясь над кладбищенскими и ночными караульщиками и над всеми, кто гремит утрумо ключами.

В страх и наземь повергнешь ты их своим смехом; беспомощность и пробуждение твою мощь над ними докажут.

И даже когда придут долгие сумерки и усталость до смерти, ты не закатишься на нашем небе, о ходатай за жизнь!

Новые звезды явил ты нам и новые красоты ночи; впрямя самый смех раскинул ты над нами пестроцветным шатром.

Будет отныне детский смех бить ключом из гробов; будет отныне сильный ветер гнать победно всю усталость до смерти: в том сам ты нам порука и прорицатель!

Впрямя, и х с а м и х т ы п р и г р е з и л в о с н е — своих врагов: это был твой из тягостных тягостный сон!

Но подобно тому как ты пробудился от них и пришел в себя, так пусть и они от самих себя пробудятся — и придут к тебе!» —

Так говорил ученик; и все остальные столпились вокруг Заратустры. И за руки ухватили его, и пытались уговорить его, чтобы он покинул постель и унылость и к ним вернулся. Заратустра же сидел, выпрямившись на постели, с отчужденным взглядом. Подобно тому, кто после долголетия на чужбине возвратился домой, так смотрел он на учеников своих, все вглядываясь в их лица; и все еще не узнавал их. Но когда они его подняли и поставили на ноги, гляди, преобразилось мгновенно его око; он понял все, что случилось, погладил себе бороду и сказал твердым голосом:

«Добро! Всему свое время; позаботьтесь же, ученики мои, чтобы у нас был хороший обед, да попроворней! Так намерен я искупить дурные сны!

Прорицатель же будет бок о бок со мною есть и пить; и впрямя, я еще покажу ему море, в котором он сможет утонуть!»

Так говорил Заратустра. Затем устремил он долгий взгляд в лицо ученику, который обнаружил себя снотолкователем, и при этом качал головой. —

*
* *
*

Однажды, когда Заратустра переходил огромный мост, окружили его калеки и нищие и один горбун так говорил ему:

«Гляди, Заратустра! Уже и народ поучается у тебя и крепнет верой в твое учение: но чтобы он до конца уверовал в тебя, для этого нужно еще одно — ты должен еще убедить нас, калек! Здесь у тебя, кстати, богатый выбор и, впрямь, счастливый случай взять немало голов в работу! Слепых можешь ты исцелять и хромым прыть возвращать; и у кого слишком много позади, ты мог бы его, пожалуй, тоже слегка облегчить: — это, думаю, было бы верным средством внушить калекам веру в Заратустру!»

Заратустра же возражал говорившему — так: «Когда отнимают у горбуна его горб, то отнимают у него его дух, — так поучает народ. И когда возвращают слепому глаза, он видит на земле слишком много дурного: и он проклинает того, кто его исцелил. Тот же, кто возвращает хрому прыть, причиняет ему величайший вред: ибо едва возвратилась прыть к нему, как все грехи его пускаются за ним взапуски, — так поучает народ о калек. И почему бы Заратустре не поучаться у народа, раз народ поучается у Заратустры?»

Но с тех пор, как я живу среди людей, это еще ничто для меня, когда я вижу: одному недостает глаза, другому уха, третьему ног, а попадают и такие, которые потеряли язык, а не то нос, а не то голову.

Я вижу и видел кое-что и похуже и иной раз до того отвратительное, что не обо всем говорить охота, а об ином даже молчать и то неохота: а именно я видел людей, у которых во всем недостаток, но зато в одном избыток, — людей, которые не что иное, как сплошь глазище, или сплошь ртище, или сплошь животище, или вообще некое сплошь, — калек. Наизнанку называю я таких.

И когда я вышел из своего уединения и впервые переходил этот мост: тут я собственным глазам не поверил, и все всматривался да всматривался и наконец сказал: «Вот так ухо! Ухо в рост человека!» Я еще пристальнее всмотрелся: и в самом деле, ниже уха двигалось еще нечто, до жалости мелкое, убогое и тщедушное. И впрямь, это чудовищное ухо сидело на маленькой тоненькой ножке — и эта ножка была человеком! Кто приставил бы к глазу лупу, мог бы еще разглядеть малюсенькое завистливое личико и даже одутловатую душонку, на ножке болтающуюся. Народ же сказал мне, что это большое ухо — не только человек, а еще и большой человек, гений. Но я никогда не доверял народу, говорящему о больших людях, — и остался при убеждении, что это калека наизнанку, у которого во всем недостаток, а одно в избытке».

Когда Заратустра сказал все это горбуну и тем, чьим толмачом и рупором был горбун, обернулся он с глубоким недовольством к ученикам своим и сказал:

«Впрямь, други мои, я брожу среди людей, словно среди обломков и кусков людей.

Вот что всего нестерпимее для моего ока — видеть человека раскрошенным и разбросанным, будто по полю брани и бойни.

И убегает ли око мое от нынешнего к бывшему, оно видит неизменно одно и то же: обломки, и обрывки, и чудовищные случайности — но не людей!

Нынешнее и бывшее на земле, — ах, други мои — вот что всего нестерпимее для меня; и я бы жизни не стерпел, не будь я провидцем того, что должно прийти.

Провидец, волеизъявитель, созидатель, само же грядущее и мост к грядущему — ах, и тут же калека на этом мосту: и все это Заратустра.

И вы, бывало, спрашивали себя: «Кто же для нас Заратустра? Как назвать нам его? » И вот, как и я, сами же задавали себе в ответ вопросы.

Благовестник ли он? Или свершитель? Наследник? Или завоеватель? Осень? Или орало? Врач? Или исцелившийся?

Поэт ли он? Или борец за правду? Освободитель? Или притеснитель? Добрый? Или злой?

Я брожу среди людей, словно среди обломков грядущего: того грядущего, которое я провижу.

Тем полны все мои мысли и думы поэта-творца, что я творю и все свожу воедино, раз оно обломок, и загадка, и чудовищная случайность.

И как вытерпел бы я быть человеком, не будь человек также и поэтом-творцом, и загадок отгадчиком, и спасителем от случайности!

Всех минувших спасти и всякое «то было» претворить в «так соизволил я!» — единственно это назвал бы я спасением!

Воля — так называется освободитель и радости вестник: так учил я вас, други мои! Но пора, заучите еще и это: сама воля пока еще узница.

Волишь — это освобождает: но как называется то, что и на спасителя еще накладывает оковы?

«То было»: так называется воли скрежет зубовный и потаенная печаль. Бессильная против того, что сделано, — она всего прошедшего злобный созерцатель.

Не может воля волишь вспять; то, что не может она пересилить время и напор и желание времени, — вот в чем воли потаенная печаль.

Волишь — это освобождает: что измышляет сама воля, чтобы избавиться от своей печали и посмеяться над своей тюрьмой?

Ах, сумасбродом становится каждый узник! По-сумасбродному освобождает себя и воля, закованная в оковы.

Время вспять не бежит — вот отчего ее гнев; «то, что было» — так называется камень, который не в силах покатыть она.

И вот катит она камни от гнева и досады, и мстит всемо, что не чувствует, подобно ей, гнева и досады.

Так стала воля-освободительница волей-злоуязвительницей: и на всем, что может страдать, вымещает она, что не может вернуться вспять.

В этом, и только в этом, само м щ е н и е: самой воли противоволя, враждебная времени и его «То было».

Впрямь, великий сумасброд живет в нашей воле; и проклятием стало для всего человеческого, что сумасбродство это исполнилось духа!

Д у х м щ е н и я: други мои, вот что было до сих пор излюбленным помышлением людей; и где страдание, там неизменно должна была быть и кара.

Именно «кара» — так называет само себя мщение: одним облыжным словом умеет оно долицемериться до чистой совести.

И так как в самом волящем скрыто страдание — от того, что не может он волить вспять, — потому должна сама воля и вся жизнь быть — карой!

И тут накатила туча за тучей на дух: пока, наконец, безумие не разразилось проповедью: «Все преходит, потому все достойно прейти!»

«И такова сама справедливость, закон времени, что должна она своих детей пожирать»: так проповедовало безумие.

«Нравственно упорядочены вещи мира сего согласно праву и каре. О, где же спасение от потока вещей и от кары существования?» Так проповедовало безумие.

«Возможно ли искупление, если вечно право? Ах, не скатить с места этот камень — «То было»: вечны кары!» Так проповедовало безумие.

«Содеянное не может быть уничтожено: как могло бы оно властью кары стать несделанным! Вот оно, вот оно, вечное в этой каре «существования», то, что и само существование должно вечно, все снова и снова, быть делом и виной!

Разве что воля сама себя спасет наконец и воление обернется отказом от воления», — Но вам знакома, братья мои, эта басня-сирена безумия!

Прочь увел я вас от этих басен-сирен, когда вас учил: «Воля есть созидатель»

Всякое «То было» — обломок, загадка, случайность, — пока созидаящая воля не добавит: «Но так соизволила я!»

— Пока воля созидаящая не добавит: «Но так я волю! Так буду я волить!»

Но говорила ли она когда-либо так? И когда же этому быть? Отсечена ли уже воля от своего собственного безумия?

Стала ли уже воля сама для себя спасителем и радости вестником? Разучилась ли она духу мщения и всякому скрежету зубовному?

И кто научил ее примирению с временем и высшему, чем всякое примирение?

Высшего, чем всякое примирение, должна волить воля, раз она воля к власти: — но как достичь ей этого? Кто научит ее еще волить вспять?»

— Но на этом месте своей речи Заратустра внезапно оборвал себя и вовсе уподобился человеку, который перепугался вконец. Испуганным оком смотрел он на учеников; его взор, будто стрелами, пронизывал их помыслы и задние мысли. Но чуть погода он уже опять смеялся и говорил добродушно:

«Трудно жить с людьми, ибо куда как трудно молчать. Особенно болтливому». —

Так говорил Заратустра. Горбун же прислушивался к разговору и прикрывал себе при этом лицо; когда же он услышал смех Заратустры, то поднял с любопытством на него глаза и проговорил медленно:

«Но почему говорит Заратустра нам по-другому, иначе, чем своим ученикам?»

Заратустра отвечал: «Чему же тут удивляться! С горбатыми надо и говорить по-горбату!»

«Добро, — сказал горбун, — говоря со школярами, можно и выбалтывать тайны школы.

Но почему же говорит Заратустра школярам по-другому — чем самому себе?» —

*
* * *

О человеческой мудрости

Не высота: крутизна страшна!

Крутизна, где взор срывается в н и з, а рука стремится в в ы с ь. Тогда сердцу так тошно от его двойственной воли.

Ах, други, угадаете ли вы и моего сердца двойственную волю?

Вот она, крутизна м о я и опасность моя: мой взор порывается ввысь, рука же моя удержаться хотела б — за глубину!

За человека цепляется воля моя, цепями привязываю я себя к человеку, ибо ввысь порывает меня к сверхчеловеку: туда волит моя другая воля.

И п о т о м у живу я слепым в кругу людей; словно бы я их и не знал: чтобы рука моя не потеряла сполна свою веру в твердое.

Не знаю я вас, людей: эти сумрак и утешение часто стелются вокруг меня.

Я сижу у проезжих ворот, открытых любому плуту, и спрашиваю: кто хочет обмануть меня?

Вот она, моя первая мудрость человеческая: я даю обмануть себя, чтобы не остерегаться обманщиков.

Ах, если бы я остерегался человека: как был бы человек якорем моему шару! Куда как легко унесло бы меня невесть куда ввысь!

Провидение правит моей судьбой, чтобы мне не предвидеть опасности.

И кто среди людей изойти жаждой не рад, тот должен научиться пить из любого стакана; и кто среди людей чистым остаться рад, должен уметь умыться и грязной водой.

И так говорил я, бывало, себе в утешение: «Встань!» Воспрянь! Старое сердце! Несчастье у тебя сошло: так прими же это как — счастье!

Вот она, моя вторая мудрость человеческая: я скорее пощажу тщеславных, чем гордых.

Не уязвленное ли тщеславие — мать всех трагедий? Но где уязвлена гордость, там вырастает даже нечто лучшее, чем гордость.

Чтобы жизнь была блестящим зрелищем, надо, чтобы ее игра хорошо разыгрывалась: но для этого нужны хорошие актеры.

Хорошими актерами обнаруживали себя все тщеславные: они играют и хотят привлечь к себе зрителей, — весь их дух в этом влечении.

Они исполняют себя и изобретают себя; вблизи них люблю я быть зрителем жизни — это исцеляет от тоски.

Потому и щажу я тщеславных, что они врачуют мою тоску и приковывают меня к человеку как к театральному зрелищу.

И далее: кто измерит в тщеславном всю глубину его скромности! Я добр к нему и сострадаю ему за его скромность.

От вас хочет он научиться вере в себя; он упивается вашими взорами, он ест жадно хвалу из ваших рук.

Он даже лганью вашему верит, если вы умело о нем лжете: ибо в скрытой глубине вздыхает его сердце: «Что я такое!»

И если подлинная добродетель не знает самой себя: что ж, и тщеславный не знает о своей скромности! —

Это и есть моя третья мудрость человеческая: не отбывает ваша боязливость у меня охоты к любованию з л ы м и.

О, я счастлив при виде чудес, что плодит жгучее солнце: тигров, и пальмы, и гремучих змей.

Есть и среди людей прекрасный приплод жгучего солнца и много чудодейного в злобных.

Впрочем, и ваши из мудрых мудрые показались мне не такими уж мудрыми: так и злобу людскую я нашел не такой уж злобой.

И, бывало, спрашивал я, качая головой: к чему же еще греметь вам, гремучие змеи?

Впрямь, и для зла есть еще грядущее! И самый жгучий юг не открыт еще для человека.

Сколько многое и сейчас называется злейшей злобой, хотя оно всего двенадцать шагов в ширину и три месяца в длину! Некогда все же явятся на свет еще большие драконы.

И чтобы сверхчеловеку не оставаться без своего дракона, без сверхдракона, его достойного: еще много жгучего солнца должно попламенеть на влажном первобытном лесе!

Из ваших диких кошек еще должны вырасти тигры, и из ваших ядовитых жаб — крокодилы: доброму охотнику добрая охота!

И впрямь, о добрые и праведные! В вас немало смешного, особенно смешон ваш страх перед тем, что до сих пор называлось «дьяволом»!

Так чужды вы в душе всему великому, что сверхчеловек показался бы вам с т р а ш н ы м своей добро-тою!

А вы, мудрые и знающие, вы убежали бы от зноя мудрости, в котором сверхчеловек любит купать свою наготу!

О вы, высшие люди, каких довелось мне встречать! таково мое сомнение в вас и мой смех затаенный: я уга-

дываю, вы и моего сверхчеловека назвали бы — «дьяволом»!

Ах, я устал от этих высших и лучших: с «высоты» их рвануло меня ввысь, вон, вперед — к сверхчеловеку!

Ужас напал на меня, чуть увидел я этих лучших голыми: тогда выросли у меня крылья, чтобы плыть в дали грядущего.

В дали дальнейшие, на юг южнейший, какой не снился еще образотворцу, — туда, где боги стыдятся одежд!

А переодетыми хочу видеть я в а с, о мои ближние и собратья, и принарядившимися, и тщеславными, и достойными — «добрыми и праведными», —

И переодетым хочу я сам сидеть между вами, — чтобы вас и себя постепенно учиться н е у з н а в а т ь: вот она, моя последняя мудрость человеческая.

Так говорил Заратустра.

*
* * *

Час тишайшей тишины

Что со мною, други мои? Вы видите, я озадачен, захвачен, нехотя следую, готов бежать — от в а с убежать!

Да, еще раз суждено Заратустре уйти в одиночество: но невесело на этот раз возвращается медведь в свою берлогу!

Что со мною? Кто неволит? — Моя гневная госпожа соизволит так, она говорила мне; называл ли я вам ее имя?

Вчера под вечер говорила ко мне м о я т и ш а й ш а я т и ш и н а: вот она, имя моей страшной госпожи.

И так это было, — я должен все пересказать вам, чтобы не очерствело ваше сердце к столь внезапно удаляющемуся!

Знаком ли вам испуг засыпающего? —

До самых кончиков пальцев продрагивает он испугом, оттого что почва ускользает у него из-под ног и наступает сон.

Это говорю я вам уподобительно. Вчера, в час тишайшей тишины, из-под ног у меня ускользнула почва: сон наступил.

Стрелка передвинулась, часы моей жизни перевели дыхание — еще никогда не слышал я такой тишины вокруг меня: даже сердце мое испугалось.

И вот безголосно прозвучал мне голос: «Ты это знаешь, Заратустра?» —

И я вскрикнул в испуге при этом шепоте, и кровь отхлынула от моего лица: но я молчал.

И вот вторично безголосно прозвучал мне голос: «Ты это знаешь, Заратустра, а не говоришь!» —

И я отвечал наконец подобно строптивцу: «Да, я знаю, но я не хочу это говорить!»

И вот снова безголосно прозвучал мне голос: «Ты не хочешь, Заратустра? Но так ли это? Не прячься в свою строптивость!» —

И я заплакал, и задрожал, как ребенок, и выговорил: «Ах, я бы хотел, но где мне поднять! Уволь меня! Мне это не под силу!»

И вот снова безголосно прозвучал мне голос: «О тебе ли речь, Заратустра! Скажи свое слово и разбей!» —

И я отвечал: «Ах, мое ли это слово? Кто я? Я жду достойнейшего; я не достоин даже разбиться об него».

И вот снова безголосно прозвучал мне голос: «О тебе ли речь? По мне, ты еще недостаточно смирен. У смирения прежесткая шкура». —

И я отвечал: «Чего только не вынесла шкура моего смирения! У подножия я живу моей высоты: как высоки мои вершины? Этого еще никто не сказал мне. Зато хорошо знаю я мои долины».

И вот снова безголосно прозвучал мне голос: «О, Заратустра, кому дано двигать горами, тот передвигает и долины, и низины». —

И я отвечал: «Еще слово мое не сдвинуло горы, и что я говорил, не достигло людей. Правда, я шел к людям, но я еще не дошел до них».

И вот снова безголосно прозвучал мне голос: «Что знаешь ты об э т о м! Роса падает на траву, когда ночь всего молчаливей». —

И я отвечал: «Они глумились надо мной, когда свой собственный путь я нашел и взял; и поистине дрожали тогда мои ноги.

И они так говорили мне: ты разучился находить путь, теперь разучиваешься ты и хождению по пути!»

И вот снова безголосно прозвучал мне голос: «Что тебе до их глумления! Ты из тех, кто разучился повиновению: теперь дано тебе повелевать!»

Или не знаешь ты, к т о всем нужнее всего? Тот, кто повелевает великое.

Трудно исполнять великое: но труднее повелевать великое.

Вот оно, твое самое непростительное: у тебя есть власть, а ты не хочешь властвовать». —

И я отвечал: «Мне не хватает голоса льва, чтобы повелевать».

И вот снова, как шепот, прозвучало мне: «Тишайшие слова приносят бурю. Мысли, неслышно ступающие голубиными ногами, правят миром.

О, Заратустра, ты должен идти как тень того, что грядет: так повелевать ты будешь и, повелевая, идти впереди». —

И я отвечал: «Мне стыдно».

И вот снова безголосно прозвучал мне голос: «Ты должен еще стать ребенком и не ведать стыда.

Гордость юности еще почилa на тебе, ты поздно стал юным: но кто хочет ребенком стать, должен преодолеть еще и свою юность». —

И я раздумывал долго и дрожал. Но наконец я сказал то, что сказал вначале: «Я не хочу».

И закружился вокруг меня смех. Увы! как истерзал этот смех мое нутро, как изрезал мое сердце!

И в последний раз прозвучало мне: «О, Заратустра, плоды твои зрелы, но ты не зрел для своих плодов!

Потому вновь надо тебе уйти в одиночество: ибо еще должен ты вызреть». —

И вновь смех прозвучал и исчез: тогда стало тихо вокруг меня, как бы от двойной тишины. Я же лежал на земле, и пот орошал мои члены.

— Теперь вы услышали все, и почему возвратиться я должен в свое одиночество. Ничего не утаил я от вас, други мои.

Но и это услышали вы от меня, от того, кто по-прежнему молчаливейший среди людей — и хочет им быть!

Ах, други мои! Мне бы вам еще нечто сказать, мне бы вам еще нечто дать! Почему же я не даю? Разве я скуп?» —

Но когда Заратустра проговорил эти слова, одолела его могучесть скорби и близость разлуки со своими друзьями, и он громко зарыдал; и никто не знал, как утешить его. В ту же ночь ушел он один и покинул своих друзей.

*

* * *

ТАК ГОВОРИЛ ЗАРАТУСТРА

Книга для всех и ни для кого

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Вы смотрите вверх, когда стремитесь к возвышению. А я смотрю вниз, ибо я возвышен.

Кто из вас может одновременно смеяться и быть возвышенным?

Кто поднимается на высочайшие горы, тот смеется над всеми трагедиями сцены и над всеми трагедиями жизни.

Заратустра. О чтении и письме
(часть I, с. 63)

Была полночь, когда Заратустра пустился в путь через хребет острова, чтобы ранним утром достигнуть другого берега: ибо там хотел он взойти на корабль. Был там прекрасный рейд, где даже чужие корабли охотно отдавали якоря; они брали с собой на борт тех, кто с островов блаженных хотел уплыть на море. И когда Заратустра взбирался на гору, вспоминал он дорогою о своих многократных одиноких странствованиях с ранней юности и о том, сколь многие горы, и хребты, и вершины уже преодолел он, взбираясь.

Я странник и ходок на высокие горы, сказал он своему сердцу, я не люблю равнин и, по-видимому, не могу долго усидеть спокойно.

И какая бы судьба и какое переживание ни ждали меня, — впереди меня странствование и восхождение на гору: в конечном счете переживают только самого себя.

Миновало то время, когда мне навстречу смели попадаться случайности; что м о г л о б ы теперь еще случайно попасться мне и не быть уже прежде моей собственностью!

Да, оно возвращается, оно приходит наконец ко мне домой — моя собственная самость и все то от нее, что долго пребывало на чужбине рассеянным среди всех вещей и случайностей.

И еще одно знаю я: я стою теперь перед моей последней вершиной и перед тем, что мне давным-давно предуготовано. Ах, моей крутосуровой дорогой должен

подняться я туда, ввысь! Да, я начал самое одинокое свое странствование!

Но кто моей породы, тому не избежать этого часа: часа, который говорит ему: «Только теперь ты идешь своей дорогой величия! Вершина и пропасть — они теперь сочетались воедино!

Ты идешь своей дорогой величия: теперь твоим последним убежищем стало то, что до сих пор называлось твоей последней опасностью!

Ты идешь своей дорогой величия: теперь твое высшее мужество в том, что позади тебя уже нет дороги!

Ты идешь своей дорогой величия; здесь никто уже не будет красться за тобой! Твоя нога сама стерла позади себя дорогу, и над дорогой написано: невозможность.

И если ты останешься без единой лестницы, то тебе надо будет учиться и на свою же собственную голову взбираться: как иначе мог бы ты подниматься вверх?

На свою же собственную голову и через свое же собственное сердце! Теперь и самое нежное в тебе должно еще стать самым твердым.

Кто всегда неусыпно берег себя, тот напоследок хворает от своего неусыпного бережения. Хвала всему, что делает твердым! Я не хвалю страну, где масло и мед — рекой текут!

Научиться надо с м о т р е т ь м и м с с е б я, чтобы м н о г о е усмотреть: — эта твердость необходима любому ходоку на высокие горы.

Но у кого назойливый глаз познающего, где такому усмотреть в вещах больше, чем их показную суть!

Ты же, о Заратустра, хотел узреть первосуть и скрытую суть всех вещей: потому должен ты над самим собой подниматься — все выше и выше, пока и звезды твои не окажутся п о д тобою!

Да! Сверху смотреть на самого себя и даже на свои звезды: вот что назвал бы я своей вершиной, вот что осталось для меня последней вершиной!» —

Так говорил Заратустра самому себе при подъеме на гору, крутыми поговорками утешая свое сердце: ибо ранено было его сердце, как никогда прежде. И когда он достиг вершины горного хребта, гляди, вот расстилается перед ним другое море: и он стоял неподвижно и долго молчал. Ночь же на этой высоте была холодная, и ясная, и яркозвездная.

Я узнаю мой жребий, вымолвил он наконец с печалью в голосе. Добро! Я готов. Только что началось мое последнее одиночество.

Ах, это черное печальное море подо мной! Ах, эта тяжелая ночная утрюмость! Ах, судьба и море! К вам должен я ныне спуститься вниз!

Перед своей наивысочайшей горой стою я и перед своим наидлительнейшим странствием: потому должен я сперва вниз — спуститься куда глубже, чем когда-либо спускался:

— глубже погрузиться в страдание, чем когда-либо погружался, в самую глубину, в его исчерна-черную пучину! Так хочет моя судьба: добро! Я готов.

Откуда они, эти наивысочайшие горы? — так спрашивал я некогда. Тогда познал я, что они выносятся из моря.

Это свидетельство врезано в их каменную твердь и крутосклоны их вершин. Из глубокого высочайше высокое должно вознестись к своей высоте. —

Так говорил Заратустра, стоя на пике горы, где было холодно; когда же он приблизился к самому морю и уже стоял одиноко среди утесов, одолела его усталость от дороги и тоска пуще прежнего.

Еще все спит кругом, говорил он; и море спит. Сонно и чуждо глядит око его на меня.

Но оно дышит теплом, я это чувствую. И чувствую также, что оно грезит. Грезя, оно ворочается на жестких подушках.

Ох! Ох! Как стонет оно от недобрых воспоминаний! Или от недобрых ожиданий?

Ах, я печалюсь с тобой, темное чудовище, и самого себя казнию из-за тебя.

Ах, почему недостаточно сильна моя рука! Впрямь, охотно избавил бы я тебя от недобрых грез! —

И, говоря так, засмеялся Заратустра в тоске и горечи над самим собою. «Как! Заратустра! — сказал он, — ты еще хочешь утешить своей песнью море?

Ах, ты, любвеобильный глупец, Заратустра, ты сверхблаженный в доверчивости! Но таким был ты всегда: всегда подходил ты доверчиво ко всему страшному.

Каждое чудовище хотел ты приласкать. Дуновение теплого дыхания, чуть-чуть мягких косм на лапах — : и уже ты готов был любить и к себе манить.

Л ю б о в ь — опасность для одинокого из одиноких, любовь ко всему, е с л и т о л ь к о о н о ж и в о е! Впрямь, куда как смешна моя глупость и моя скромность в любви!» —

Так говорил Заратустра и при этом засмеялся вторично: но тут вспомнил он о своих покинутых друзьях —, и словно прегрешив перед ними мысленно, разгневался он на себя за свои мысли. И вдруг заплакал смеющийся: — от гнева и тоски заплакал Заратустра горько.

*
* *
*

1.

Когда среди корабельщиков прошел слух, что Заратустра на корабле, — ибо взошел на корабль одновременно с ним человек, который прибыл с островов блаженных, — возникло великое любопытство и ожидание. Но Заратустра два дня молчал и до того был холоден и глух от печали, что не отвечал ни на взгляды, ни на вопросы. Однако к вечеру второго дня открыл он вновь свои уши, хотя все еще продолжал молчать: потому много необычайного и опасного можно было услышать на этом корабле, который прибыл издалека и держал путь еще дальше. Заратустра же был другом всем тем, кто совершает далекие путешествия и не может жить вне опасности. И смотри! От прислушиванья к разговорам развязался напоследок и у него язык, и лед его сердца разбился: — тогда так начал он говорить:

Вам, отважным искателям, испытателям и всем, кто пускался когда-либо на коварных парусах по свирепым морям, —

вам, опьяненным загадками, любителям полумрака, чья душа приманивается флейтами к любой обманной пучине:

— ибо не любо вам боязливой рукой нащупывать нить; и где вы можете о т г а д а т ь, там ненавистно вам з а к л ю ч а т ь, —

вам одним расскажу я о загадке, которую я в и д е л, — видение одинокого из одиноких. —

Мрачный шагал я недавно мертвенно-бледными сумерками, — мрачный и твердый, с сжатыми губами. Не одно солнце закатилось для меня.

Тропа, упорно меж окатышей вьющаяся вверх, злобая, одинокая, которой не пристали ни трава, ни кусты; горная тропа хрустела под напором моей ноги.

Безмолвно ступая по насмешливому громыханью голышей, растапывая камень, с которого соскальзывала; так продвигалась моя нога упорно вверх.

Вверх: — наперекор духу, который влек ее вниз, в пропасть, вниз, наперекор духу тяжести, моему дьяволу и заклятому врагу.

Вверх: — хотя он сидел на мне, полукарлик, полукрот; хромой; угрожая и мне хромотой; свинец, свинцово-капельные мысли мне в ухо, мне в мозг вливая по капле.

«О Заратустра, — шептал он насмешливо, роняя слово за словом, — ты камень мудрости! Как высок твой бросок, но каждый брошенный камень должен — упасть!

О Заратустра, ты камень мудрости, ты мечтательный — камень, ты звездокрушитель! Самого себя ты подбросил так высоко, — но каждый брошенный камень — должен упасть!

Осужденный самому себе в жертву, самого себя побить камнями, о Заратустра, куда как далеко бросил ты камень, — но на т е б я упадет он обратно!»

Затем карлик умолк; и это длилось долго. Но его молчание давило меня; и впрямь, при таком пребывании вдвоем человек более одинок, чем в одиночку!

Я поднимался и поднимался, я грезил, я мыслил, — но все давило меня. На хворого походил я, которого погружает в дремоту его мучительная боль и которого снова будит от дрема еще более мучительный сон. —

Но есть нечто во мне, что называю доблестью: она до сих пор убивала во мне всякое уныние — насмерть. Эта доблесть принудила меня наконец остановиться и сказать: «Карлик! Ты или я!» —

Доблесть — вот наилучший смертоубийца, — доблесть, которая н а п а д а е т: ибо в любом нападении есть играющий звон.

Человек же наидоблестнейший зверь: этим одолевал он любого зверя. Играющим звоном побеждал он любую скорбь; а человеческая скорбь — наиглубочайшая.

Доблесть насмерть убивает даже головокружение над бездной: а где не стоит человек над бездной! Разве видеть не значит уже — видеть бездны?

Доблесть — вот наилучший смертоубийца: доблесть убивает насмерть даже сострадание. Сострадание же наиглубочайшая бездна: насколько глубоко заглядывает человек в жизнь, настолько же глубоко заглядывает он в страдание.

Но доблесть — вот наилучший смертоубийца, доблесть, которая нападает: она и смерть убивает насмерть, ибо говорит: «Э т о была жизнь? Добро! Так еще раз!»

В таком взывании много играющего звона. Кто имеет уши, да слышит. —

*
* *
*

2.

«Стой! Карлик! — сказал я. — Я! Или ты! Но из нас двоих я сильнейший — : не знаешь ты моей бездонной мысли! Е е — ее ты не смог бы нести!» —

Но внезапно я стал более легким: спрыгнул с моего плеча карлик, этот любопытный карлик! И на корточках присел передо мной на камень. И были там ворота на перепутьи, где мы остановились.

«Взгляни на эти ворота, карлик! — продолжал я. — У них два лица. Две дороги сходятся здесь: никто еще не прошел по ним до конца.

Эта длинная дорога позади: она длится вечность. И та длинная дорога впереди — другая вечность.

Они противоречат друг другу, эти две дороги; они stalkиваются лбами: — и здесь, у этих ворот, место, где они сходятся. Название ворот написано вверху: «Мгновение».

Но если бы кто шел по одной из этих дорог дальше — и все бы шел да шел: как думаешь ты, карлик, вечно ли противоречат себе эти две дороги?» —

«Все прямое лжет, — презрительно пробормотал карлик. — Всякая истина крива, само время круг».

«Ты, дух тяжести! — проговорил я в гневе, — не думай так легко отделаться! Или я оставляю тебя сидеть на корточках там, где ты скорчился, черт хромоногий, — а ведь я вознес тебя в ы с о к о!»

Вглядись, — продолжал я, — в это мгновенье! От этих врат «Мгновения» убегает длинная вечная дорога н а з а д: позади нас вечность.

Не суждено ли было всему в мире, что м о ж е т бежать, уже однажды пробежать по этой дороге? Не суждено ли было всему в мире, что м о ж е т случиться, уже однажды случиться, совершиться, пробежать?

И если все уже однажды здесь было: что думаешь ты, карлик, об этом мгновении? Не суждено ли было и этим воротам уже однажды здесь — быть?

И не связано ли все в мире одно с другим таким крепким узлом, что это мгновение тянет за собой в с е грядущее? С л е д о в а т е л ь н о — — и само себя?

Ибо всему, что м о ж е т в мире бежать: суждено — и по этой длинной дороге — еще раз в д а л ь пробежать! —

И этот медлительный паук, который ползет в лунном сиянии, и само это лунное сияние, и я, и ты, перешептывающиеся у этих проходных ворот, о вечных вещах перешептывающиеся, — не дано ли было нам уже однажды здесь быть?

— и возвратиться и по той, другой дороге бежать, туда вдаль, по этой длинной ужасающей дороге, — не суждено ли нам вечно возвращаться? — »

Так говорил я, все тише и тише: я боялся своих собственных мыслей и своих задних мыслей. И вдруг я услышал, как вблизи з а в ы л а собака.

Слышал ли я когда-либо, чтобы так выла собака? Моя мысль пробежала былое. Да! Когда я был ребенком, в далеком детстве:

— тогда я слышал: так выла собака. И я видел ее, с вздыбленной шерстью, с задранной мордой, дрожащую, в такую тихую полночь, когда и собаки верят в привидения:

— и мне даже стало жаль ее. Полный месяц взошел безмолвием смерти над домом. Он стоял неподвижно, круглым пыланием, — неподвижно на плоской крыше, словно на чужой собственности: —

— вот чему ужаснулась тогда собака: ибо верят собаки в привидения и воров. И когда я снова услышал, как она завывала, мне стало ее жаль вторично.

Куда же пропал карлик? И ворота? И паук? И перешептывание? Во сне ли то было? Наяву ли? Между диких скал стоял я, озираясь, один, одинокий, в мертвенном лунном сиянии.

Н о т а м л е ж а л ч е л о в е к! А вот и собака! с вздыбленной шерстью, скачет, визжит — она заметила мое приближение, — и вот она снова завывала, она в з ы в а л а: — слышал ли я когда-либо, чтобы собака так взывала о помощи?

И впрямь, то, что увидел я, подобного я никогда не видел. Юношу-пастуха увидел я, — он дергался, он корчился, он задыхался, с искаженным лицом, а тяжелая черная змея висела у него изо рта.

Видел ли я когда-нибудь столько отвращения и бледного ужаса на одном лице? Он, верно, спал? И вот в глотку ему заползла змея — злобно впилась.

Моя рука рванула змею, рванула сильнее: — тщетно! Не вырвала она змеи из глотки. Тогда выкрикнулось изнутри, из меня: «Откуси! Откуси!»

Голову прочь! Откуси!» — так оно выкрикнулось, изнутри: мой ужас, моя ненависть, мое отвращение, моя жалость, все хорошее и дурное во мне единым криком выкрикнулось изнутри, из меня. —

Вы удалцы, попутчики мои, вы искатели, испытатели и все, кто только на коварных парусах вдаль пустился по неведомым морям! Вы любители загадок!

Разгадайте же мне загадку, которую я видел тогда, растолкуйте же мне это видение одинокого из одиноких!

Ибо было это видение и предвиденье: — что же увидел я тогда в том подобии? И кто он, тот, кто некогда должен прийти?

Кто этот пастух, которому заползла в глотку змея? Кто этот человек, которому все самое тяжелое, самое черное заползает в глотку?

— Но пастух откусил, как то советовал ему мой крик; он откусил, он сделал добрый кус! Далеко прочь от себя отплюнул он голову змеи —: и вскочил на ноги. —

Уже не пастух, уже не человек — другой, преображенный, осиянный, стоял передо мной, тот, который смеялся! Никогда еще не смеялся на земле человек так, как смеялся он!

О братья мои, я услышал смех, и это был не смех человека, — — и вот жажда пожирает меня, тоска, неутолимая вовек.

Тоска по этому смеху пожирает меня: о, как вытерпеть еще дольше жизнь! И как мог бы вытерпеть я теперь смерть! —

Так говорил Заратустра.

*
* * *

С такими загадками и угрызениями сердца плыл Заратустра по морю. Когда же он был четырехдневьем пути отделен от островов блаженных и от друзей, преодолел он скорбь — : победоносно, на своей судьбе стоял он снова твердой ногою. И тогда Заратустра говорил так к своей ликующей совести:

Я снова один и хочу быть один: я, да чистое небо и вольное море; и снова заповденье вокруг меня.

Заповденье был, когда обрел я впервые друзей, заповденье был, когда обрел я их и вторично, — в час, когда спокойнее проливается свет.

Ибо все то счастье, которое еще блуждает между небом и землею, оно ищет тогда приюта себе в лучистой душе: да, о т с ч а с т ь я теперь проливается спокойнее свет.

О заповденье моей жизни! Некогда спустилось и мое счастье в долину поискать себе приюта: тогда обрело оно эти открытые гостеприимные души.

О заповденье моей жизни! Чего не отдал бы я, чтобы иметь одно, эту живую поросль моих помыслов, и этот утренний свет моей высшей надежды!

Попутчиков некогда искал созидающий и детей с в о е й надежды: и что же, оказалось, не найти ему их, разве только он сам создаст их.

И вот весь я отдался своему делу, я на пути к моим детям и на обратном пути от них: во имя детей своих должен Заратустра завершить самого себя.

Ибо от всей души любят только свое дитя и свое дело; и где есть великая любовь к самому себе, там она верный признак беременности: так обнаружил я.

Еще зеленеют мои дети в пору своей первой весны, друг к другу близко стоя и вместе колеблемые ветрами, деревья моего сада и лучшей земли.

И впрямь! Где такие деревья близко друг к другу стоят, там острова блаженных.

Но когда-нибудь я их выкопаю и посажу каждое отдельно: чтобы научились они одиночеству, и упорству, и осторожности.

Суковатое и искривленное при гибкой твердости будет оно тогда стоять у моря, живой маяк непобедимой жизни.

Там, где грозы свергаются в море и хобот нагорий воду пьет, там да стоит каждое днем и ночью дозором, для самоиспытания и познания.

Да будет это дерево познано и испытано: мое ли оно по роду и племени, — господин ли оно длительной воли, молчаливо ли, даже когда говорит, покаяясь тому, что оно, давая, берет: —

— чтобы некогда моим попутчиком стать и в созидании и в праздновании соучастником быть Заратустры, — : таким, который волю мою врежет в скрижали мои: ради завершения совершенства всех вещей.

И ради него и ему подобных сам себя я должен завершить: потому уклоняюсь я теперь от своего счастья и иду навстречу всем несчастьям — ради своего последнего самоиспытания и познания.

И впрямь самая пора была мне идти; и тень странника, и томительный день, и тишайший час — все говорило мне: «Давно пора!»

Ветер затрубил сквозь замочную скважину и сказал: «В путь!» Дверь заманчиво распахнулась и сказала: «Иди!».

Но я лежал прикованный любовью к своим детям: жажда-желание наложило на меня эти оковы, жажда-желание любви, чтобы я добычей стал своих детей и в них себя потерял.

Желать — это уж значит: потерять себя. Вы с о м н о й, м о и д е т и! В этом обладании все должно быть залогом и ничто не должно быть желанием.

Но огнем палило меня солнце моей любви, в собственном соку варился Заратустра, — и вот пронеслись тени и сомнения надо мной.

По зиме и морозу затосковал я: «О, зима и мороз, о если бы снова они заставили меня защелкать и похрустывать!» — так вздыхал я: — и вот поднялись ледяные туманы из глубины моей.

Мое прошлое взломало свои гробницы, пробудилось немало заживопогребенных страданий — : они только выпалились, укрывшись саваном.

Так все взывало ко мне, подавая мне знаки: «Пора!» Но я — я был глух: пока наконец моя бездна не зашевелилась и моя мысль не укусила меня.

Ах, бездонная мысль, ты же м о я мысль! Когда же обрету я силу слышать, как ты роешься в бездне, и уже не дрожать?

Мое сердце стучит, будто выскочить хочет, когда слышу, как ты роешься в бездне! Твое молчанье хочет удушить меня, ты бездонно-молчаливая!

Еще никогда не дерзал я в ы з в а т ь из бездны тебя: довольно того, что я носил тебя — при себе! Еще не было у меня вдоволь сил для последнего дерзания и задора льва.

Довольно с меня того ужаса, каким всегда была для меня твоя тяжесть: но некогда я еще обрету силу и голос льва, который вызовет из бездны тебя.

Когда я это в себе преодолею, тогда я и нечто большее преодолею в себе; и да будет п о б е д а печатью моего завершения! —

А пока ношусь я по неверным морям; случай льстит мне удачей, этот отчаянный льстец; вперед и назад гляжу я — гляжу, но не вижу конца.

Еще не наступил для меня час моей последней борьбы, — или вот уже настает он? Впрямь, в коварной красоте глядят на меня, куда ни взгляну, море и жизнь!

О, заполдень моей жизни! О счастье перед вечером!
О, пристань в открытом море! О мир в неверном мире!
Как мало я вам всем доверяю!

Впрямь, не доверяю я вашей коварной красоте! С любящим сходен я, который не доверяет слишком бархатной улыбке.

Как отталкивает он от себя любимую, нежный даже в суровости своей, ревнивец, — так отталкиваю я от себя этот блаженный час.

Прочь от меня, блаженный час! С тобой пришло ко мне блаженство поневоле! Добровольно готовый к своей самой глубокой боли, здесь стоял я: — нехстати пришел ты!

Прочь от меня, блаженный час! Лучше ищи себе приюта — там, у моих детей! Поторопись! и благослови их еще до прихода вечером м о и м счастьем! —

Уже близится вечер: садится солнце. Прощай — о, счастье! —

Так говорил Заратустра. И ждал несчастья всю ночь напролет: но ждал напрасно. Ясной и тихой пребывала ночь, и само счастье подступало к нему все ближе и ближе. А под утро засмеялся Заратустра своему сердцу и молвил насмешливо: «Счастье бегает за мной следом. Это оттого, что я не бегаю за женщинами. А счастье — женщина».

*
* *
*

Перед восходом солнца

О небо надо мной, чистое! глубокое! Ты светобездна! Видя тебя, содрогаюсь я от наплыва божественных желаний.

Мне бы в высь кинуться — вот она, глубина м о я !
Мне бы в чистоту твою укрыться — вот она, невинность
м о я !

Бога укрывает его красота: так скрываешь ты свои
звезды. Безмолвно ты: т а к возвещаешь ты мне свою
мудрость.

Немотствуя, над бурливым морем взошло ты для ме-
ня сегодня, твоя любовь и твоя стыдливость что голос
откровения моей бурливой душе.

То, что ты явилось ко мне прекрасным, укравшись в
свою красоту, то, что ты, немотствуя, говоришь ко мне,
открываясь в своей мудрости:

О, как было мне не угадать всю стыдливость твоей
души! Д о солнца явилось ты ко мне, из одиноких оди-
нокому.

Мы друзья искони: у нас скорбь, и страх, и суть об-
щие; и еще солнце у нас общее.

Мы не переговариваемся, ибо слишком много зна-
ем — : мы вмалчиваемся друг в друга, мы улыбаемся на-
шим знанием друг другу.

Не ты ли свет моего огня? Не в тебе ли душа, сестра
моего прозрения?

Вместе учились мы всему; вместе учились мы восхо-
дить над собою к себе же самим и улыбаться безоблач-
но: —

— безоблачно проливаться улыбкой наземь из лучи-
стых глаз и из несчетнодалекой дали, когда под нами на-
силые, и цель, и вина, как дождь дымятся.

И скитался я один: к о г о искала моя душа по ночам
и по тропам блужданий? И восходил я на горы, к о г о
искал я тогда, как не тебя, на горах?

И все мои скитания и восхождения на горы: нуждой,
усилием бессильного были они и помощью беспомощ-
ного: — л е т е т ь ! вот чего хочет вся воля моя, — в
т е б я влететь!

И кого ненавидел я сильнее, чем тягучие волока-облака и все, что пятнает тебя? И еще ненавидел я свою собственную ненависть, ибо она пятнала тебя!

На тягучие волока-облака обращен мой гнев, на этих крадущихся хищных кошек: они отнимают у тебя и у меня то, что обще нам, — всю безмерность, безграничность наших да и аминь.

На этих посредников и путаников обращен наш гнев, на тягучие волока-облака: на этих половинчатых, что не научились ни благословлять, ни от души проклинать.

Лучше мне впредь под замкнутым небом в бочке сидеть, лучше вовсе без неба в бездне сидеть, чем видеть тебя, светонебо, запятнанным этими тягучими волока-облаками!

И часто подзадоривало меня скрепить их зубчатой золотой проволокой молний, чтобы мог я подобно грому барабанить по их брюху-котлищу: —

— свирепый барабанщик, ибо у меня похищают они твое да! и аминь! ты, небо надо мной, ты, чистое! светлое! ты, светобездна! — ибо у тебя похищают они м о е да! и аминь!

Ибо скорее предпочту я шум, и гром, и непогоды проклятья, чем эту осмотрительную, нерешительную кошачью тишину; и среди людей неистребимее всего ненавижу я всех этих неслышнобродов половинчатых, нерешительные, медлительные, тягучие волока-облака.

И кто не умеет благословлять, тот пусть н а у ч и т с я проклинать! — это светлое учение упало мне со светлого неба, эта звезда горит даже в черные ночи на моем небе.

Но я тот, кто благословляет и говорит да, если ты только обнимаешь меня, о чистое! светлое! о светобездна! — во все бездны несущая я тогда свое благословляющее да.

Я стал тем, кто благословляет и говорит да: и долго боролся я, чтобы быть им, и борцом был я, чтобы освободить руки для благословения.

И вот оно, мое благословение: над любой вещью стоять, как небо ее, как круглый купол ее, как колокол лазурный и вечный залог: и блажен, кто так благословляет!

Ибо окрещены все вещи у источника вечности и по ту сторону добра и зла; но само добро и зло только промельки-тени и мокреди-грусти и тягучие волока-облака.

Впрямь, благословение в том, а не хула, когда я учу: «над всеми вещами стоят небослучайности, небоневинности, небонечаянности, небодерзости».

«Нечаянность» — вот древнейшее дворянство мира, его возвратил я всем вещам, их освободил я от рабства под ярмом целесообразности.

Эту свободу и ясность неба, будто колокол лазурный, утвердил я над всеми вещами, когда учил, что над ними и посредством их никакая «вечная воля» — не волит.

Эту дерзость и эту дурость утвердил я на место той воли, когда учил: «При всем том одно невозможно — разумность!»

Пожалуй, ч у т ь-ч у т ь разума, семя мудрости, рассеянное от звезды до звезды, — та закваска примешана ко всем вещам: дурости ради примешана ко всем вещам мудрость!

Чуть-чуть мудрости еще возможно; но вот какой блаженный залог нашел я во всех вещах: тот, что на ногах случая предпочитают они — п л я с а т ь.

О, небо надо мной! чистое! высокое! В том-то и твоя чистота для меня, что нет в мире вечного разума-паука и разума-паутины: —

— то, что ты пол плясовой для пляски божественных случайностей, то, что ты стол богов для метания божественных костей и для игроков в кости! —

Но ты краснеешь? Разве выговорил я невыговариваемое? Разве хулил я, когда хотел благословить тебя?

Или это стыд, оттого что мы вдвоем, заставил тебя покраснеть? — Ты уйти принуждаешь меня и умолкнуть, ибо уже — д е н ь близится?

Мир глубок — : и глубже он, чем подан дню намек.

Не всему дано высказать себя перед лицом дня. Но день близится: так расстанемся же!

О, небо надо мной! ты стыдливое! пылающее! о ты, мое пылкое счастье перед восходом солнца! День близится: так расстанемся же! —

Так говорил Заратустра.

*
* *
*

Об умягчающей добродетели

1.

Когда Заратустра снова ступил на твердую землю, не пошел он прямо к своим горам и к своей берлоге, а стал бродить по многим дорогам и вопросам, расспрашивал про то да другое, так что даже сказал о себе самом шутя: «Вот река, которая несчетно излучин течет обратно к своему источнику!» Ибо он хотел дознаться, что за это время случилось с ч е л о в е к о м: вырос ли он или умалился. И однажды увидел он ряд домов; изумился и молвил:

Что означают эти дома? Впрямь, не великая душа сложила их по своему подобию!

Иль дитя неразумное вынуло их из своего ящика с игрушками? Только бы другое дитя их снова положило в свой ящик!

А эти каморки и комнаты: неужели мужчины могут входить и выходить отсюда? На мой взгляд они сделаны для шелковичных куколок; или для кошек-лакомок, которые не прочь, чтобы и ими полакомились.

И Заратустра остановился и задумался. Наконец он молвил с сокрушением: «В с е измельчало!

Всюду вижу я такие низкие двери: кто м о е г о роста, тот еще, пожалуй, пройдет, но — он должен пригнуться!

О когда же возвращусь я на родину, где я уже не должен пригибаться — уже не должен пригибаться п е р е д м а л е н ь к и м и!» — И Заратустра вздохнул и устремил взоры в даль. —

Но в тот же день произнес он свою речь об умягчающей добродетели.

2.

Я прохожу меж этих людей, и глаза мои широко распахнуты: люди не прощают мне, что я не завидую их добродетелям.

Они готовы заклевать меня, ибо я говорю им: маленьким людям нужны маленькие добродетели, — и не легко укладывается в моей голове, что и маленькие люди н у ж н ы!

Сходен я с петухом на чужом дворе, которого даже куры клюют; но за это я не мщу курам.

Я вежлив с ними, как со всяким маленьким огорчением; быть колючим назло всему маленькому кажется мне мудростью для ежей.

Они все говорят обо мне, сидя вечерами вокруг огня, — они говорят обо мне, но никто не думает — обо мне!

Вот она, новая тишина, которой я научился: их шум вокруг меня расстилает плащ над моими мыслями.

Они шумят между собой: «Чего хочет от нас эта уютная туча! Будем остерегаться, как бы она не занесла нам чумы!»

А недавно женщина рванула к себе дитя, когда оно потянулось ко мне: «Укройте детей! — закричала она. — Такие глаза опаляют детские души».

Они кашляют, когда я говорю: они думают, кашель — это довод против сильных ветров, — они вовсе не догадываются о моем бушующем счастье!

«У нас еще нет времени для Заратустры», — такой довод приводят они; но кой толк во времени, у которого для Заратустры «нет времени»?

И если они и славословят меня: как мог бы на и х славе уснуть? Пояс с щитами для меня их хвала: она колеблется даже тогда, когда я сбрасываю ее с себя.

И вот еще чему научился я среди них: хвалитель делает вид, будто он воздаст, а на самом деле он хочет еще большего дара!

Спросите мою ногу, нравятся ли ей их приемы похвал и приманок! Впрямь, под такой такт и тик-так не вмоготу ей ни танцевать, ни на месте стоять.

Маленькой добродетелью хотели бы они заманить и захвалить меня; на тик-так маленького счастья хотели бы они увлечь мою ногу.

Я прохожу меж этих людей, и глаза мои широко распахнуты: они и з м е л ь ч а л и и все больше мельчают: — но виной этому их учение о счастье и добродетели.

Они в добродетели скромны — ибо ищут удобств. С удобствами же уживается только скромная добродетель.

И правда, и они учатся по-своему шагать и шагать вперед; это я называю их к о в ы л ы н и е м —. Потому и натывается на них каждый, кому к спеху.

Иной из них идет вперед и при этом смотрит назад, с одеревенелым затылком: на такого рад налететь я на полном ходу.

Ногам и глазам не следует ни лгать, ни уличать друг друга во лжи. Но много лганья у маленьких людей.

Единицы из них хотят, зато большинство хотим иным. Единицы из них подлинны, зато большинство по-длинно плохие актеры.

Есть среди них актеры поневеденью и есть актеры поневоле, — подлинные вообще редкость, особенно подлинные актеры.

От мужества мужчины здесь осталось мало: оттого-то все мужеподобные их женщины. Ибо только тот, в ком довольно мужчины, и с к у п и т в женщине ж е н щ и н у.

И вот какое лицемерие среди них по мне наихудшее: что даже те, кто повелевает, лицемерят, вторя добродетелям тех, кто служит.

«Я служу, ты служишь, мы служим», — так молится здесь и лицемерие господствующих, — и горе, если первый господин т о л ь к о первый слуга!

Ах, и в их сети лицемерия залетело любопытство моего ока; и как хорошо угадал я все их мушиное счастье и все их жужжанье у солнцем залитых оконных стекол.

Сколько доброты, столько и слабости вижу я. Сколько справедливости и сострадания, столько и слабости.

Круглы, безупречны и доброжелательны они друг к другу, как песчинки круглы, безупречны и доброжелательны к песчинкам.

Так скромно обнять маленькое счастье — это называют они «смирением»! — и тут же они так скромно скашивают глаз на новое маленькое счастье.

В сущности, больше всего хотят они попросту одного: чтобы никто не делал им больно. Потому услужливо

предупреждают они желание каждого и делают ему добро.

Но это т р у с о с т ь: хотя она и называется «добродетелью». —

И если порой они говорят грубо, эти людишки: слышу сквозь их речи только их хрипоту, — любой сквозняк их продувает.

Умны они, у их добродетелей умные пальцы. Но им не хватает кулаков, их пальцы не умеют прятаться в кулаки.

Добродетель в их глазах все делает скромным и ручным: так-то обратили они волка в собаку и самого человека в лучшее домашнее животное самого человека.

«Мы поставили наш стул п о с р е д и н е, — говорит мне их ухмылочка — и столь же далеко от умирающих бойцов, как и от самодовольных свиней».

Но это и есть — п о с р е д с т в е н н о с т ь: хотя бы она и называлась умеренностью средних. —

3.

Я прохожу меж этих людей и роняю порой памятное слово: но не умеют они ни брать, ни удерживать.

Они удивляются, что я не пришел опорочивать их пороки и похоти; и впрямь, я ведь не пришел и предостерегать от карманников!

Они удивляются, что я не собираюсь остричь и замутить их умничанье: как будто мало у них умников, чей голос режет мне слух хуже скрипучего грифеля!

И когда я кричу: «Кляните тьму трусливых бесов внутри вас, которым любо руки молитвенно складывать и визжать и обожать», — так они кричат: «Заратустра-безбожник»!

И особенно кричат об этом их учителя смирения — ; но мне зато и любо крикнуть им в самое ухо: Да! Я Заратустра-безбожник!

Эти уж мне учителя смирения! Всюду, где мразь, и хворь, и паршь, ползают они, как вши; и только мое отвращение мешает мне раздавить их со щелком.

Добро! Вот моя проповедь и х ушам: я Заратустра, безбожник, который говорит: «Кто безбожнее меня, чтобы я радовался его наставлению?»

Я Заратустра, безбожник: где найду я себе подобного? А мне подобен всякий, кто сам утверждает свою волю и отбрасывает всякое смирение.

Я Заратустра, безбожник: любой случай варю я в с в о е м горшке. И лишь тогда, когда хорошо сварится, говорю ему: добро пожаловать ко м н е на стол.

И впрямь, иной случай подходил ко мне повелительно: но еще повелительнее говорила ему моя в о л я, — и вот он уже перед ней на коленях —

— умоляя не отказать ему в приюте и сердечном приеме и льстиво уговаривая: «Вот видишь, о Заратустра, только друг приходит так к другу!» —

Но что говорить, когда ни у кого нет м о и х ушей! Потому стану я кликать на все четыре стороны:

Вы все мельчаете, людишки! Вы крошитесь, любители удобств! Вы готовите гибель себе —

— вашими несчастными маленькими добродетелями, вашими несчастными маленькими упущениями, вашим неизменным маленьким смирением!

Слишком осторожна, слишком уступчива: такова ваша почва! Но чтобы дереву стать б о л ь ш и м, ему надо вокруг крепких скал обвиться крепкими корнями!

Даже то, что упускаете вы, ткет и ткет ткань человеческого грядущего; даже ваше ничто — паутина и паук, который живет кровью грядущего.

И когда вы берете, вы как бы крадете, добродетельные двуножки; но и среди плутов говорит голос ч е с т и: «Только там надо красть, где нельзя ограбить!»

«Д а е т с я» — это тоже наука смирения. Но я говорю вам, любители удобств: «б е р е т с я» и будет все больше братья от вас!

Ах, если бы вы отбросили от себя всякое п о л у х о т е н и е и исполнились решимости и на безделье и на дело!

Ах, если бы вы поняли мое слово: «Так и быть, творите, что хотите, — но сперва будьте такими, которые м о г у т х о т е т ь!»

Так и быть, любите своего ближнего, как самих себя, — но сперва будьте такими, которые л ю б я т с а м и с е б я —

— любят великой любовью, великим презрением!» Так говорит Заратустра, безбожник. —

Но что разглагольствовать, когда ни у кого нет м о и х у ш е й! Слишком рано пришел я, за час до срока.

Я предтеча самого себя среди этих людей, я петушиный крик о самом себе вдоль темных улиц.

Но грядет и х час! И вот грядет и мой! Час от часу становятся они все мельче, беднее, бесплоднее, — бедная трава! бедная земля!

И с к о р о будут они здесь предо мной стоять как сухой ковыль, да степь сухая, и впрямь! усталые от самих себя — больше томясь по о г н ю, чем по воде!

О благословенный час молний! О тайна перед полуднем! — в бегущие огни еще обращаю я их и в провозвестников языками огненными: —

— будут возвещать они языками огненными: он грядет, он близок, в е л и к и й п о л д е н ь!

Так говорил Заратустра.

*
* * *

На горе Масличной

Зима, недобрая гостья, сидит у меня дома; посинели мои руки от рукопожатия ее дружбы.

Я чту ее, эту недобрую гостью, но охотно оставляю ее одну. Охотно спасаюсь от нее бегством; а кто х о р о ш о бегаёт, тот от нее и убегает!

С ногами теплыми и мыслями теплыми бегу я туда, где ветер безветрен, — к солнечному уголку моей Масличной горы.

Там посмеиваюсь я над моей строгой гостью и даже люблю ее за то, что у меня в доме она ловит мух и вынуждает стихать разноголосый кропотливый шум.

Она не выносит, чтобы комар затягивал песню, а не то целых два; она и улицу делает уединенной, так что лунному свету там ночью жутковато.

Она суровая гостья, — однако я чту ее и не молюсь, подобно неженкам, толстопузому идолу огня.

Лучше немного зубами пощелкать, чем идолам молиться! — таков уж мой нрав. И особенно злобствую я на всех пышущих, дымом дышащих, удушливых идолов огня.

Кого я люблю, того куда больше люблю зимою, чем летом; куда больше, куда смелее насмехаюсь я теперь над моими врагами, с тех пор как зима сидит у меня в доме.

Впрямь, смело, даже тогда, когда я з а п о л з а ю в постель — : тогда смеется и дурачится мое запрятавшееся счастье; смеется и мой обманчивый сон.

Я — раболепный ползун? Никогда в жизни не ползал я перед сильными; и если лгал я когда, то лгал из любви. Потому весел я и в зимней постели.

Скромная постель греет меня лучше, чем роскошная, ибо я ревнив к своей бедности. И зимою она мне всего вернее.

Со злостью начинаю я каждый день, холодным купаньем насмехаюсь я над зимой: за это ворчит на меня строгая гостья-зима.

И люблю я щекотать ее восковой свечечкой: чтобы она выпустила, наконец, небо из пепельно-серых сумерек.

Особенно злобным бываю я утром: в ранний час, когда гремит у колодца ведро и кони тепло по серым улицам ржут: —

Нетерпеливо жду я тогда, чтоб открылось мне ясное небо, снежнобородое зимнее небо, старик белобый, —

— зимнее небо, молчаливое небо, которое часто даже свое солнце замалчивает!

От него ли научился я долгому светлому молчанию? Или оно от меня научилось? Или каждый из нас открыл его сам?

Тысяченог всех хороших вещей праисток-праскок, — все хорошие игривые вещи от радости скачут в бытие: как могли бы они совершать это только — один раз!

Хорошая игривая вещь также и долгое молчание, чтобы подобно зимнему небу глядеть светлым кругообразным лицом: —

— подобно ему замалчивать свое солнце и свою непреклонную волю солнца: впрямь, этому искусству и этой зимней игривости я х о р о ш о поучился!

Мое излюбленное коварство и искусство в том, что мое молчание научилось не выдавать себя молчанием.

Гремя словами и игральными костями, горазд я перехитрить торжественных выжидателей: пусть от всех этих строгих дозорщиков ускользают моя воля и цель.

Чтобы никто не смог заглянуть в самую мою суть и последнюю волю, — для этого изобрел я себе долгое светлое молчание.

Немало умных встретил я: они прикрывали себе лицо и мутили свою воду, чтобы никто не мог их видеть насквозь, до дна.

Но к ним-то и приходили куда более умные недоверы и дробители орехов: у них-то и выуживали они их за-таеннейшую рыбу!

Наоборот, светлые, смелые, прозрачные — они-то, по-моему, умнейшие молчаливники: их дно так глубоко, что и наимпрозрачнейшая вода — не выдаст его. —

Ты снегобородое молчаливое зимнее небо, ты круглоглазое белолобое надо мной! О небесное подобие моей души и ее игривого задора!

И не следует ли мне скрываться, как тому, кто проглотил золото, — чтобы мне душу не вскрыли?

Не следует ли мне встать на ходули, чтобы они не заметили моих длинных ног, — все эти обставившие меня завистники и печальники?

Эти продымленные, комнатные, истасканные, изжитые, истосковавшиеся души, — как могла бы их зависть снести мое счастье!

Потому показываю я им только лед и зиму на моих вершинах — но таю, что моя гора опоясана еще всеми солнечными поясами!

Они слышат только свист моих зимних бурь: но я таю, что и по теплым морям пролетаю я подобно нетерпеливым, тяжелым, горячим южным ветрам.

Они даже полны жалости к моим несчастьям и случайностям: — но мое слово гласит: «Предоставьте случаю приходить ко мне: невинен он, как дитя!»

Как могла бы они снести мое счастье, если бы несчастьями, и зимними бедами, и белыми медведями-шапками, и небесными снегопадами не обложил я мое счастье!

— если бы сам я не сжалился над их сострада-нием и ем: над состраданием завистников и печальников!

— если бы сам я не вздыхал перед ними и не стучал зубами от холода и не позволял терпеливо кутать себя в их сострадание!

В том мудрое дерзновение и благоволение моей души: что не скрывает она своей зимы и своих морозов-буранов; не скрывает она и своих волдырей от мороза.

Одиночество одного бегство хворого; одиночество другого — бегство от хворого.

Пускай слышат они мои вздохи и охи и мою дробную дрожь от зимней стужи — все эти завистливые бедняги-плутяги вокруг меня! С такими охами-вздохами и дробной дрожью убегаю я все же от их натопленных комнат.

Пусть посовздыхают и посострадают они моим волдырям от мороза: «От льда познания за мерзнет он того гляди!» — жалуются они.

А между тем я избегаю ногами теплыми вдоль да поперек мою Масличную гору: в солнечном углу Масличной горы пою и труню я над всяким состраданием. —

Так пел Заратустра.

*
* * *

О прохождении мимо

Так, медленно переходя от народа к народу, от города к городу, возвращался Заратустра окольными путями к своим горам и к своей берлоге. И так дошел он неожиданно до городских ворот большого города: но здесь подскочил к нему бесноватый шут с раскинутыми руками и заступил ему путь. Это был тот самый шут, который прозывался в народе «обезьяной Заратустры»: ибо он кое-что позаимствовал из склада и ла-

да речей Заратустры и не прочь был почерпнуть порой и из сокровищницы его мудрости. И так говорил шут Заратустре:

«О Заратустра, здесь большой город; здесь нечего тебе искать, но легко все потерять.

И охота была тебе брести по этакой грязи? Пожалей же собственные ноги! Лучше плюнь на эти городские ворота и — воротись!

Здесь ад зияет для мыслей-отшельниц; здесь великие мысли живьем кипятятся и крошечком варятся.

Здесь сгнивают великие чувства: здесь только сухо-стуки-чувствочки смеют постукивать!

Разве не бьет тебе в нос запах боен и коптилен духа? Разве не дышит этот город от смрада битого духа?

Разве ты не видишь, как здесь души висят точно тряпанные, грязные тряпки? — И они еще делают газеты из этих тряпок!

Разве ты не слышишь, как дух обернулся здесь сплошь в игру слов? Мерзкие помои из слов изрыгает он! — И они еще делают газеты из этих помоев-слов.

Они травят друг друга и не знают ради чего. Они разжигают друг друга и не знают зачем. Они брякают своей жестью, они звякают своим золотом.

Они холодны и ищут себе тепла, прибегая к крепким напиткам; они разгорячены и ищут прохлады, прибегая к замерзшим умам; они все хиреют и хворают общественными мнениями.

Все похоти и пороки здесь у себя дома; но встречаются здесь и добродетельные, встречается много проворной придворной добродетели: —

Много проворной добродетели с беглопишущими пальцами и с твердозадой усидчивостью и усердием, — добродетели, благословенной маленькими звездами на груди и набитыми соломой беззадыми дочерьми.

Встречается здесь и много благочестия и много правого подхалимства и подлизывания перед богом воинств земных.

Да оттуда «сверху» капает звезда и милостивая слюна; туда «наверх» тянется каждая неозвезденная грудь.

У месяца свой двор, и у двора свои «месячные»: но всему, что исходит от двора, молится нищая братия и всякая пронирыливая нищенская добродетель.

«Я служу, ты служишь, мы служим» — так молится государю пронирыливая добродетель: чтобы заслуженная звезда была наконец нацеплена на узкую грудь!

Но месяц еще вращается вокруг земного: так и государь вращается вокруг всего земного из земного — : а это золото торгашей.

Бог воинств земных — не бог мешков золотых; государь предлагает, — а торгош располагает!

Во имя всего, что есть в тебе светлого, сильного, доброго, о Заратустра! плюнь на этот город торгашей и воротись!

Здесь у всех кровь течет гнилостно-лениво, и сонливо, и пенливо по венам: плюнь на большой город, на эту большую выгребную яму, где кипящий сток всякой накипи!

Плюнь на этот город сплюснутых душ и узких грудей, острых гляделок, липких пальцев —

— на город наглецов и рвачей, щелкоперов и горлодеров, бешеннолюбивых честолюбцев: —

— где все порченное, порочное, мрачное, смрадное, перепрелое, зачиревелое, каверзное, всем скопом в гное ковыряется: —

— плюнь на большой город и воротись!» — —

Но здесь прервал Заратустра бесноватого шута и зажал ему рот.

«Прекрати наконец, — воскликнул Заратустра, — меня давно с души воротит от твоей речи и твоей особы!»

Зачем жил ты так долго в болоте, что сам превратился в квакшу и в жабу?

Не течет ли теперь в тебе самом гнилостно-ленивая, пенливая болотная кровь по венам, что ты так хорошо научился квакать и клеветать?

Почему не ушел ты в леса? Или не пахал землю? Разве море не испещрено зелеными островами?

Я презираю твое презрение; и если ты предостерегаешь меня, — почему не предостерег ты самого себя?

Из любви и только любви да вылетает презрение мое, моя предостерегающая птица: но не из болота! —

Тебя называют моей обезьяной, ты бесноватый шут; но я называю тебя моей хрюшкой, — хрюканием портишь ты мне даже мою похвалу шутовства.

Что же это заставило тебя впервые захрюкать? Не то ли, что никто не л ь с т и л тебе в досталь: — потому и уселся ты на грязи, чтобы иметь повод изрядно похрюкать, —

— чтобы иметь повод к ненасытной м е с т и! Ибо мщение, тщеславный шут, — вот твое слюнявое бешенство, я-то разгадал тебя!

Но твое шутовское слово приносит м н е вред, даже там, где ты прав! И будь слово Заратустры и тысячу раз п р а в о: ты моим словом всегда бы д е л а л — неправое дело!»

Так говорил Заратустра; и он взглянул на большой город, вздохнул и надолго умолк. Наконец, так заговорил он:

Мне тошно и от этого большого города, а не только от этого шума. Здесь и там нечего улучшать, нечего ухудшать.

Горе этому большому городу! — И хотел бы я видеть огненный столб, в чьем пламени сгорит он!

Ибо такие огненные столбы должны идти впереди великого поддана. Но всему свой срок и своя собственная судьба. —

Однако, такое поучение даю я тебе, шут, на прощание: где уже нельзя любить, там надо — п р о х о д и т ь мимо! —

Так говорил Заратустра и прошел мимо шута и мимо большого города.



О вероотступниках

1.

Ах, уже посерело, поблекло все, что недавно еще на этом лугу зеленело и пестрело. О, сколько меду надежды уносил я отсюда в мои пчелиные ульи!

Эти юные сердца уже все состарились, — и даже не состарились! только устали, обезличились, приспособились — они называют это «мы стали снова благочестивыми».

Еще недавно я видел, как они на заре выбегают смелыми ногами: но их ноги познания устали, и вот клеветают они даже на свою утреннюю смелость!

Впрямь, иной из них выбрасывал некогда ноги, словно танцор, его ободрял смех моей мудрости: — вдруг опомнился он. И я видел сейчас, как он скорченный — ползет к кресту.

Вокруг свободы и света некогда порхали они, как мотыльки и юные поэты. Чуть старее, чуть холоднее: и вот они моргуны-шептуны и сычи на печи.

Или сердце у них оттого приуныло, что одиночество поглотило меня, подобно киту? Или томительно долго н а п р а с н о прислушивалось их ухо, не зазвучат ли моих труб и герольдов призывы?

— Ах! Всегда так немного тех, чье сердце богато доблестью и дерзостью; у таких и дух остается стойким. Все прочие т р у с ы.

Все прочие: это всегда большинство, это будни, избыток, несчетно-несчетные — все они трусы! —

Кто моей породы, тому и переживания сродные моим попадают на дороге: потому и должны быть его первыми товарищами трупы и скоморохи.

Его же вторые товарищи — те назовут себя в е р у ю щ и м и в него: живой рой, много любви, много нелепости, много безбородого поклонения.

К этим верующим пусть не прилепится душой тот, кто моей породы среди людей; пусть не верит этим веснам и пестрым луговинам тот, кто знает мимолетно-трусливый род человеческий.

Если бы они м о г л и иначе, они и х о т е л и бы иначе: все эти серединки на половинку портят целое. Если листья блекнут — на что тут жаловаться!

Предоставь им опадать и облетать, о Заратустра. И не жалуйся! А не то дохни шелестящими ветрами среди них —

— дохни среди этих листьев, о Заратустра: чтобы все п о б л е к л о е поскорее уносилось от тебя прочь!

*
* *
*

2.

«Мы стали снова благочестивыми», — так каются эти вероотступники; и многие из них еще слишком трусливы для такого покаяния.

Таким смотрю я прямо в глаза — таким говорю я прямо в лицо и в румянец их щек: вы из тех, кто снова м о л и т с я!

Но молиться позор! Не для всех, но для тебя и для меня, и для тех, у кого и в голове есть совесть. Для т е б я молиться позор!

Тебе ли не знать: твой трусливый бес внутри тебя, этот любитель руки молитвенно складывать и класть ру-

ки себе на колени и устраиваться поудобнее: — этот трусливый бес нашептывает тебе: «Е с т ь бог!»

Но п о т о м у и принадлежишь ты к породе светобоязливых, которым свет никогда не дает покоя; и вот должен ты ежедневно погружать свою голову поглубже в ночь и чад!

И впрямь, ты умел выбрать час: ибо как раз снова вылетают ночные птицы. Пришел час для всей светобоязливой шати, вечерний и праздничный час, когда она не — «сидит праздно».

Я слышу и чую носом: пришел час охоты и праздничного шествия, впрочем, не дикой охоты, а охоты мирной, смиренной, на вынюх, — охоты тихохонько молящихся, —

— час охоты на душевных мышей-ханжей: все мышеловки-сердца теперь вновь расставлены! И где бы ни поднял я завесу, оттуда непременно выпорхнет ночная бабочка.

Не сидела ли она там в укромном уголку с другой ночной бабочкой? Ибо всюду чую я носом маленькие скрытые общины; и где есть чуланчик, там уже стелются новые богомольцы и стелется смрад от богомольцев.

Они сидят долгими вечерами друг у друга и говорят: «О дайте же нам снова быть как дети и взывать к боженьке» — при испорченных зубах и желудке, по вине благочестивых кондитеров.

Или они долгими вечерами наблюдают за коварно подкарауливающим крестовиком-пауком, который проповедует паукам о хитроумии и так поучает: «Хорошо под крестами прясть паутину!»

Или они просиживают день-деньской с удочками у болота и потому считают себя г л у б о к и м и; но кто рыбачит там, где нет рыб, того не назову я даже поверхностным!

Или они учатся благочестиво-блаженно тренькать на арфе у поэта-песенника, который охотно заарфился бы

в сердце молодых бабенок: — так наскучили ему старушки-бабоньки и их славословия.

Или они учатся тому, как мороз по коже подирает, у ученого полуманьяка, который в темных комнатах ждет, что появятся духи — и исчезнет Дух!

Или они слушают старого бывалого бурчуна-дудуря, который от хмурых ветров позаимствовал грусть тонов; и вот дудит он ветру в лад и проповедует хмурыми звуками грусть.

А иные из них даже стали ночными караульщиками: горазды они теперь трубить в рога, и бродить по ночам, и будить бывшее-стародавнее, уже давно уснувшее.

Пять словечек о былом-стародавнем слышал я вчера ночью у садовой ограды: они доносились от этаких старых унылых высохших ночных сторожей.

«Для отца он что-то мало заботится о своих детях: человеческие отцы делают это куда лучше!» —

«Он слишком стар! Он уже вовсе не заботится о своих детях», — так отвечал другой ночной сторож.

«Разве у него е с т ь дети? Никто не может этого доказать, если он сам этого не докажет! Мне уже давно хотелось, чтобы он, наконец, доказал это основательно».

«Доказывать? Как будто о н когда-либо что-либо доказывал! Доказательства ему трудно даются; он очень дорожит тем, чтобы ему в е р и л и».

«Да, да! Вера делает его блаженным, вера в него. Таков уж нрав старых людей! То же ждет и нас!» —

— Так беседовали друг с другом два старых ночных караульщика и светоотступника и затем уныло трубили в рога: так случилось вчера ночью у садовой ограды.

У меня же сердце переворачивалось от смеха, и чуть не надорвалось, и не знало, как ему быть, и упало в грудобрюшную преграду.

Впрямь, это и будет моей смертью, что я захохочу от смеха при виде пьяных ослов, слыша, как ночные сторожа сомневаются в боге.

Разве да в н ы м - да в н о не покончено со всеми подобными сомнениями? Кто смеет еще будить такую ветхую давно уснувшую светобоязливую бль!

Уже давным-давно старым богам пришел конец: — и впрямь, хороший, радостный конец богов был у них!

Они не «засумерничали себя» до смерти — это несомненно ложь! Напротив: они однажды — д о с м е я л и с ь до смерти!

Это случилось, когда наиболее божнейшее слово изошло из уст одного из богов — слово: «Един бог! Да не будет у тебя иного бога помимо меня!» —

— Старое страшилище-бородище, ревнивец-бог до такой степени забьлся:—

И все боги смеялись тогда, и качались на своих тронах и восклицали: «Разве не в том божественность, что существуют боги, а не бог?»

Кто имеет уши, да слышит! —

Так говорил Заратустра в городе, который он любил и который прозывался «Пестрая Корова». Отсюда оставалось ему только два дня пути, чтобы снова вернуться в свою берлогу и к своим зверям; душа же его непрерывно ликовала, радуясь близости возвращения. —

*
* * *

Возвращение

О одиночество! Ты моя р о д и н а, одиночество! Слишком долго жил я диким на дикой чужбине, чтобы не возвратиться к тебе в слезах!

Погрози-ка мне пальцем, как грозят матери, улыбнись-ка мне, как улыбаются матери, скажи: «А кто это некогда, урагану подобно, унесся прочь от меня? —

— при разлуке воскликнув: слишком долго сидел я в одиночестве, и вот разучился я молчать! Что ж, э т о м у — ты теперь научился?

О Заратустра, все знаю я: и то, что ты был среди многих б о л е е п о к и н у т ы м, ты, одинокий, чем когда бы то ни было у меня!

Но одно — покинутость, другое — одиночество: э т о м у ты теперь научился! И тому, что среди людей ты будешь им всегда дик и чужд:

— дик и чужд им даже тогда, когда они любят тебя: ибо прежде всего они хотят, чтоб их щ а д л и!

Здесь же ты у себя на родине, дома; здесь дано тебе все высказать и все основания высказать, здесь ничто не стыдится затаенных, закоснелых чувств.

Здесь все вещи приходят, ласкаясь к твоей речи и ластятся к тебе: ибо скакать хотят они на твоей спине. Верхом на любом подобии ты поскачешь здесь к любой истине.

Откровенно и открыто можешь ты здесь говорить всем вещам, и впрямь, как похвала звучит их ушам, что вот некто всем вещам говорит — прямо!

Но иное покинутость. Ибо помнишь ли ты, о Заратустра? Когда, тому года, твоя птица кричала над тобой, когда ты стоял в лесу, в нерешительности, куда идти? в неведении, почти мертвец: —

— когда ты говорил: «Пусть ведут меня мои звери! Опаснее жить среди людей, чем среди зверей: — т о была покинутость!»

А помнишь ли ты, о Заратустра? Когда ты сидел на своем острове, источник вина среди пустых ведер, разливая и расточая ради жаждущих, черпая и исчерпывая:

— пока наконец ты не остался один жаждущий среди упившихся, и по ночам жаловался: «Разве брат не

радостнее, чем давать? и красть не радостнее, чем брать?» — т о была покинутость!

А помнишь ли ты, о Заратустра? Когда приходила твоя тишайшая тишина и отрывала тебя от тебя же, когда она злобным шепотом нашептывала: «Скажи и сокруши!» —

— когда она делала для тебя нестерпимым все твое ожидание и молчание и обессиливала силу твоего покорного мужества: т о была покинутость!»

О одиночество! Ты моя родина, одиночество! Как блаженно и нежно говорит твой голос ко мне!

Мы не спрашиваем друг друга, мы не жалуемся друг другу, мы кротко п р о х о д и м вместе в открытые двери.

Ибо все открыто у тебя и светло; и часы бегут здесь более легкими стопами. В темноте бремя времени тяжелее нести, чем при свете.

Здесь распахиваются предо мной всякого бытия слова и ларчики слов: всякое бытие хочет здесь стать словом, всякое становление хочет здесь научиться от меня говорить.

Но там внизу — там все слова тщетны! Там забвение и прохождение мимо наилучшая мудрость: э т о м у — научился я теперь!

Кто хотел бы у людей все понять, тот был бы принужден все на ощупь брать. Но для этого у меня слишком опрятные руки.

Я не могу больше вдыхать их дыхание; ах, зачем я так долго жил среди их дурного дыхания и шума!

О, благостная тишина вокруг меня! О чистые запахи вокруг меня! О, как всей грудью эта тишина выдыхает чистое дыхание! О, как она вслушивается в мир, эта благостная тишина!

Но зато внизу — там все говорит, там все недослушивает. Звони во все колокола о своей мудрости: торгаши на базаре перезвонят ее звоном гривенников!

Все у них говорит, но никто не умеет понимать. Все падает в воду, но ничто не падает в глубокие колодцы.

Все у них говорит, но ничто не может уродиться и дойти до конца. Все у них кудахчет, но кому еще охота тихо сидеть в гнезде и высиживать яйца?

Все у них говорит, все разбазаривается. И что вчера было еще слишком твердым для самого времени и зуба времени: сегодня висит изгрызенным и изглоданным изо рта героев сегодня.

Все у них говорит, все проговаривается и предается. И что называлось некогда тайной и таинственностью глубоких душ, сегодня принадлежит уличным трубачам и иным однодневникам.

О ты, удивительное существо человеческое! Ты шум по темным улицам! Вот снова ты позади меня: — моя величайшая опасность — ты уже позади!

В сострадании и пощаде была всегда моя величайшая опасность; и всякое человеческое существо хочет, чтобы щадили и жалели его.

С затаенными истинами, с рукой глупца и глуповлюбленным сердцем, богатый маленькой ложью сострадания: — таким жил я всегда в кругу людей.

Переодетый сидел я в их кругу, готовый с е б я не узнавать, чтоб и х переносить, сам себя увещевая: «Глупец, не знаешь ты людей!»

Мы перестаем понимать людей, когда среди людей живем: слишком много показного в людях, — чего искать т а м дальнозорким, прозорливым глазам!

И когда они меня узнавать перестали, я, глупец, их щадил больше, чем себя: привыкнув быть беспощадным к себе и часто даже мстя самому себе за эту пощаду.

Изъязвленный ядовитыми мухами и выдолбленный, подобно камню, несчетными каплями злобы, таким сидел я среди них и еще увещевал себя: «Невинно малое в своей малости!»

Особенно те, которые называют себя «добрыми», они, по-моему, наядовитейшие мухи: они язвят при всей их невинности, они лгут при всей их невинности; как м о г л и бы они быть ко мне — справедливыми!

Кто живет среди добрых, того сострадание научает лгать. Сострадание делает воздух удушливым для всех свободных душ. Ибо глупость добрых неизмерима.

Самого себя скрывать и свое богатство — э т о м у я научился там внизу: ибо каждого принимал я за еще нищего духом. В том был обман моего сострадания, что я в каждом знал,

— что я в каждом видел и ноздрями чуял, сколько духа для кого д о с т а т о ч н о и сколько духа для кого даже с л и ш к о м м н о г о!

Их чопорные мудрецы: я называл их мудрыми, а не чопорными, — так учился я проглатывать слова. Их гробокопатели: я называл их исследователями и искателями, — так учился я подменять слова.

Гробокопатели откопали себе хвори. Под старым мусором покоятся вредные испарения. Не стоит возмущать болото. Надо жить на горах.

Блаженными ноздрями вдыхаю я снова вольный горный простор! Избавлен, наконец, мой нос от запаха всякой человечины!

От щекотки при остром воздухе, как от пенистого вина, ч и х а е т моя душа — чихает и восклицает, ликуя: на здоровье!

Так говорил Заратустра

*
* * *

О трех злых бесах

1.

Во сне, в последнем утреннем сне, стоял я сегодня на вершине мыса-предгорья — по ту сторону мира, держал весы и в з в е ш и в а л мир.

О, зачем пришла ко мне в такую рань утренняя заря: полыханием пробудила меня, ревнивица! Всегда ревнует она меня к полыханиям моих утренних снов.

Измеримым для того, у кого есть время, весомым для хорошего весовщика, одолимым для сильных крыльев, разгадочным для божественных умельцев щелкать орехи: таким нашел мой сон мир: —

Мой сон, моряк отважный, полукорабль, полушквал, как мотылек безмолвный, нетерпеливый как сокол: где же взял он сегодня терпение и досуг для взвешивания мира!

Иль побудила его моя мудрость тайком, смехотунья, резвунья, моя денная-мудрость, что глумится над «бесконечными мирами»? Ибо говорит: «Где есть сила, там и ч и с л о хозяин: у него больше силы».

Как спокойно смотрел мой сон на этот конечный мир, не любопытно, не старобытно, не испуганно, не жалобно: —

— как будто спелое яблоко просилось ко мне в руки, наливное золотое яблоко, с прохладно-бархатной кожей: — таким явил мне себя мир: —

— как будто дерево кивало мне, раскидистое, волеупорное, согнутое, чтоб служить опорой и еще изножьем усталому путнику: таким стоял мир на моем мысе-надгорье: —

— как будто изящные руки несли навстречу мне ларчик — ларчик, открытый для восхищения стыдливых благоговеющих глаз: таким сегодня явил мне себя мир: —

— не вполне загадкой, чтобы отпугнуть человеколюбие, не вполне разрешением, чтобы усыпить человеко-мудрие: — по-человечески доброй вещью был для меня сегодня мир, на который возводят такую злую напраслину!

Как благодарен я моему утреннему сну за то, что я сегодня в такую рань взвешивал мир! По-человечески доброй вещью пришел он ко мне, этот сон и утешитель!

И чтобы днем поступать подобно ему и принять и перенять от него все, что есть в нем лучшего: брошу я теперь на весы три наихудших его зла и по-человечески хорошо взвешу их. —

Кто учил благословлять, тот учил и проклинать: что же это в мире за три заклятых зла? Их хочу я бросить на весы.

С л а д о с т р а с т и е, в л а с т о л ю б и е, с а м о л ю б и е: эти три зла до сих пор всего более проклинали и всего нещаднее оклеветывали, — эти три хочу я по-человечески хорошо взвесить.

Добро! Здесь мой мыс-нагорье, а там море: оно подкатывается ко мне, космато, льстиво, таким верным старым, стоголовым чудовищным песищем, которого я люблю.

Добро! Здесь буду я держать весы над подкатившимся морем; и еще свидетеля избираю я, свидетеля-зрителя — тебя, ты, древо-отшельник, тебя, крепко пахнущее, широкоглавое, которое я люблю! —

По какому мосту будущее направляется к нынешнему? Какое принуждение вынуждает высокое склоняться к низкому? И что заставляет еще и самое высокое — расти ввысь? —

Теперь ровно, недвижно стоят весы: три тяжелых вопроса бросил я в чашу весов, три тяжелых ответа несет другая чашка.

*
* * *

Сладострастие: для всех телопрезирателей во власяницах — их жало и червь, и нечто проклятое как «мир» всеми мироотступниками: ибо глумится и смеется оно над всеми учителями тщеты и суеты.

Сладострастие: для сволочи медленный огонь, на котором она сгорает; для червивого дерева, для вонючего отребья готовая жаркоклокочущая печь.

Сладострастие: для свободных сердец оно невинно и свободно, блаженство рая на земле, избыток благодарности грядущего настоящему.

Сладострастие: только для поблеклого сладостный яд, но для волящих как лвы великое укрепление духа и благовейно оберегаемое из всех вин вино.

Сладострастие: великое подобие счастья и высшей надежды. Ибо многому обещан брак и больше, чем брак, —

— многому, что друг другу более чуждо, чем муж и жена: — а кто понял до конца, к а к ч у ж д ы друг другу муж и жена!

Сладострастие: — но я ограду хочу возвести вокруг своих мыслей, да вокруг своих слов; чтобы не ворвались в мои сады свиньи и свистоплясы! —

Властолюбие: кнут-калило наитвердейших из твердокаменных; лютая пытка, которую приберег для себя из лютых лютый; мрачное пламя живых костров.

Властолюбие: злобный овод, который посажен на наитщеславнейшие народы; поругатель всякой сомнительной добродетели, которая скачет на любом коне, на любой гордости.

Властолюбие: землетрясение, которое крушит и крошит все покое и углое; гремящий гневно-грохочущий каратель-крушитель гробов поваленных; молнией вспыхивающий знак вопроса при преждевременных ответах.

Властолюбие: под его взглядом человек ползает, и оседает, и рабствует, и становится ниже змеи и свиньи:

— пока наконец воплем не вырвется из него великое презрение —,

Властолюбие: грозный учитель великого презрения, который проповедует городам и государствам, глядя им в лицо: «Смерть вам!» — пока из них самих воплем не вырвется: «смерть н а м!»

Властолюбие: но которое столь заманчиво поднимается даже к чистым и одиноким на самодовлеющие высоты, подобно любви пылая, что так заманчиво-красочно рисует пурпурные блаженства на земном небе.

Властолюбие: но кто мог бы это назвать «властогубием», когда высокое жадно устремляется вниз, к власти! Впрямь, нет ничего губительного и гиблого в таком устремлении и нисхождении!

Чтобы уединенная вершина не навеки уединялась и не довольствовалась сама собой; чтобы гора пришла к долине, и ветры вершины к низинам: —

О, кто найдет истинное, доброе имя для такого желания-чаяния! «Дарящая добродетель» — такое имя некогда дал Заратустра этому неименуемому.

Тогда и случилось — и впрямь, случилось впервые! — что его слово прославил о с е б я л ю б и е — цельное, здоровое себялюбие, бьющее ключом из могучей души: —

— из могучей души, к которой принадлежит высокое тело, прекрасное, победоносное, благодатное, все вещи вокруг которого становятся зеркалом:

— гибкое, убедительное тело, тело-танцор, чье подобие и извлечение есть душа-самоусладительница. Таких тел и душ самоуслаждение само себя называет «добродетелью».

Словами о дурном и хорошем прикрывается такое самоуслаждение, будто священными рощами; именами счастья своего отгоняет оно от себя все презренное.

Прочь от себя отгоняет оно все трусливое; оно говорит: дурно — з н а ч и т т р у с л и в о! Презренным

представляется ему неустанно хлопочущий, вздыхающий, причитающий, тот, кто гонится за мельчайшими выгодами.

Оно презирает и всякую уныло-тоскливую мудрость: ибо, впрямь, есть такая мудрость, которая расцветает во мгле, мудрость ночных теней: вечно вздыхающая: «все суета!»

Боязливую недоверчивость оно почти ни во что не ставит, как и всякого, кто ищет клятв вместо глаз и рук: а также слишком недоверчивую мудрость, — ибо такова порода боязливых душ.

Еще ниже ставит оно услужливого холопа, собачью душу, которая тотчас ложится на спину, эту смиренную тварь; существует также и мудрость смиренная, благонравная, по-собачьи, по-холопски услужливая.

И уж вовсе до отвращения ненавистен ей тот, кто отвергает сопротивление, кто проглатывает ядовитые плевки и злобные взгляды, тот терпеливейший из терпеливых, все претерпеть готовый, всем, что дают, довольный: ибо такова холопская порода.

Холопствует ли кто перед богами и пинками божественных ног или перед людьми и мнениями людей: на в с ю холопскую породу плюет оно, это блаженное себялюбие!

Плохой, так называет оно всю дрожащую тварь, по-холопски рабски дрожащую, послушные моргающие глаза, сдавленные сердца и ту лживую податливую породу, которая целует широкими трусливыми губами.

А суемудрие: так называет оно умничанье холопов, и стариков, и усталых; и особенно всю эту полуумно замную вредную белиберду жрецов!

Да, лжемудрецы, все эти жрецы, все усталые от мира и все те, у кого душа бабьего и рабьего склада, — о какую злую шутку сыграла с себялюбием их шутовская игра!

Но как раз считалось добродетелью и должно было считаться добродетелью — что такие злые шутки шутили с себялюбием! Да, «самоотверженными» — такими хотели себя видеть, и не без основания, все эти от мира усталые трусы и пауки-крестовики!

Но для них всех уже близится день, близится перелом, меч судьбы, великий полдень: многое тогда станет явным!

И кто провозгласит наше «я» блаженным и священным, а самолюбие праведным, впрямь, тот провозгласит, что ведаёт он и что провидец он: «Знай, он грядёт, он близок, великий полдень!» —

Так говорил Заратустра.

*
* * *

О духе тяжести



1.

Мой язык — язык народа: слишком грубо и сердечно говорю я для кроликов-шелкошерстов. Но ещё более чуждо звучит мое слово для чернильных слизней и для стрикулистов.

Моя рука — рука скомороха: горе всем столам и стенам, и всему, где только есть место для скоморошьей росписи и скоморошьей мазни!

Моя нога — нога коня: ею топочу да скачу я сломя голову вдоль да поперек, полем-раздольем, и сам черт мне не брат, чуть помчусь во весь дух.

Мой желудок — верно, желудок орла? Ибо всего милее ему ягнятина. Но одно несомненно — что он птичий желудок.

Невинными вещами питаются и быть малостью сытым, быть всегда начеку и наготове лететь, прочь улетать — вот какова моя побудка: и как же не быть здесь чему-то от птичьей побудки!

И тем более это птичья-побудка, раз я духу тяжести враг: и впрямь, смертельный враг, заклятый враг, из врагов враг! О, куда только не улетала, уже невесть куда не залетала моя вражда!

Мне бы песню об этом спеть — и я х о ч у ее спеть: хотя я одинок в пустом доме и должен петь ее своим же ушам.

Бывают, впрочем, иные певцы; им только людный дом делает горло бархатным, руку речистой, глаз выразительным, сердце бдительным: — им не сродни я. —

2.

Кто научит людей летать, тот все пограничные столбы сместит; все столбы пограничные сами взлетят у него на воздух, землю заново окрестит он — «легкая».

Птица-страус бежит быстрее самого быстрого коня-бегуна, но и она еще тяжело прячет голову в тяжелую землю: так и человек, еще не способный летать.

Тяжелы ему жизнь и земля; и того х о ч е т дух тяжести! Но кто хочет стать легким, и птицей, должен любить самого себя: — так учу я.

Впрочем, любить не любовью хилых и хворых, ибо у тех смердит даже самое себялюбие.

Надо научиться самого себя любить — так учу я — благой и здоровой любовью: чтобы при самом себе удерживаться, а не околачиваться где придется.

Такое «околачивание» именуется «любовью к ближнему»: этим словом до сих пор всего больше лгали и лицемерили, особенно те, кто был всему миру обузой.

И впрямь, не заповедь это на сегодня и на завтра — себя любить у ч и т ь с я. Скорее, из всех искусств это

самое что ни есть тонкое, лукавое, последнее, терпеливое, искусство.

Для своего собственника все собственное хорошо припрятано; и из всех скрытых кладов собственный клад выкапывают всего позднее, — так вершит дух тяжести.

Чуть ли не в колыбели дают нам груз тяжелых слов и ценностей: «добро» и «зло» — так называется это приданое, этот яд. Ради них прощают нам, что мы живы.

Потому и призывают к себе малых сих, да вовремя остеречь их от любви к самим себе: так вершит дух тяжести.

А мы — мы честно влачим груз придачи на упорных плечах по суровым горам! А начнем потеть, так нам говорят: «Да, жизнь влачить тяжело!»

Но человеку только себя нести тяжело! Это потому, что тащит он слишком много чужого на своих плечах. Верблюду подобно становится он на колени и дает навьючить на себя добрый тюк.

Особенно человек сильный, выносливый, благоговением проникнутый: слишком много чужих тяжелых слов и ценностей навьючивает он на себя, — и вот видится ему жизнь пустыней!

И впрямь! Иное даже и свое собственное, тяжело нести! И многое внутри человека подобно устрице: мерзко, скользко оно, и дается с трудом —

— так что изысканная скорлупа, изысканно украшенная, должна предстательствовать за него. Но и этому искусству надо обучиться: скорлупой обладать, и красивой видимостью, и мудрой слепотой!

Во многом можно не раз ошибиться в человеке: иная скорлупа невзрачна, и мрачна, и слишком уж скорлупа. Много скрытой доброты и силы остается неугаданной; наизаманчивейшие из лакомств не находят лакомок!

Женщины знают это, наизаманчивейшие: чуть-чуть потолще, чуть-чуть похудее — о, сколь много рокового таит в себе такая малость!

Человека трудно открывать, а себя самого труднее всего; часто лжет дух о душе. Так вершит дух тяжести.

Но тот самого себя открыл, кто говорит: вот м о е Добро и м о е зло: так заставил он онеметь того крота, того карлика, который говорит: «Для всех добр, для всех зол».

Впрямь, не по душе мне и те, для кого любая вещь хороша, а этот мир наилучший из миров. Таких называю я на все согласными.

Всесогласие, которому все по вкусу: это не наилучший вкус! Я чту непокорливые, привередливые языки и желудки, которые научились выговаривать «я», и «да», и «нет».

Все жевать и переваривать — это и впрямь свинячья побудка! Неизменно твердить «да-и-я!» — этому научился только осел и тот, кто по духу осел! —

Глубокое желтое и горячее красное: так велит м о й вкус — он примешивает кровь ко всем цветам. Тот же, кто белилами белит свой дом, выдает мне свою добела выбеленную душу.

В мумий влюблены одни, другие в призраков; и те и другие равно враждебны всякой плоти и крови — о, как же те и другие претят моему вкусу. Ибо я люблю кровь.

И не хочу я там жить и быть, где всякий плюет и блюет: вот каков м о й вкус, — лучше уж жить среди воров и клятвопреступников. Никто не носит золота во рту.

Но еще противнее мне блюдолизы: а наимпротивнейшее животное породы человеческой, какое встретилось мне, — его окрестил я паразитом: оно не хотело любить и все же хотело жить за счет любви.

Злосчастливыми называю я всех, у кого только один выбор налицо: лютым зверем стать или лютым звероукротителем: не выстроил бы я у них лачуги.

Злосчастливыми называю я и тех, кто всегда обречен в ы ж и д а т ь, — они претят моему вкусу: все эти мы-

тари, торгоши, короли и прочие стражи и сторожа стран и прилавков.

Впрямь и я научился выжиданию, притом преосновательно, — но только выжиданию самого себя. Первым делом научился я стоять, и ходить, и бегать, и скакать, и лазать, и танцевать.

Вот оно, мое учение: кто впредь хочет научиться летать, пусть научится прежде стоять, и ходить, и бегать, и лазать, и танцевать: — лётю летанья не взять!

По веревочной лестнице научился я влезать в иное окно, проворно ногами вскарабкивался я на высокие мачты: на высоких мачтах познания сидеть казалось мне немалым блаженством, —

— огоньком пламенеть на высоких мачтах: огонек мал, но зато великое утешение для унесенных бурей корабельщиков и для потерпевших кораблекрушение! —

Многообразными путями пришел я к правде моей; не по одной лестнице поднимался я на высоту, где мой глаз убегает в мою даль.

И неохотно спрашивал я всякий раз о путях, — это всегда претило моему вкусу! Милей было мне спрашивать и испытывать самые пути.

Испытанием и выпрашиванием было все мое хождение: — и впрямь, надо и отвечать н а у ч и т ь с я на подобное выпрашивание! Но таков — мой вкус:

— не дурной, не хороший, а м о й вкус, явный для всех без стыда и утайки.

«Это — отныне м о й путь, — где же ваш?» — так отвечал я всем тем, кто спрашивал меня «о пути». О пути? — пути нет!

Так говорил Заратустра.

*
* * *

О старых и новых скрижалях

1.

Здесь сижу я и жду, старые расколотые скрижали вокруг меня и новые, до половины исписанные. Когда же придет мой час?

— час моего нисхождения-захождения: ибо еще раз хочу я пойти к людям.

Того жду я: ибо сперва должны мне явиться знамения, что это м о й час, — смеющийся лев с голубиной стаей.

А пока говорю я с самим собою как тот, у кого есть время: потому я рассказываю себе о самом себе. —

*
* *
*

2.

Когда я пришел к людям, я нашел их сидящими на старом самомнении: всем им мнилось, будто давным-давно знают они, что для человека есть добро и что есть зло.

Старым нудным занятием мнилось им все говорение о добродетели; и кто хотел хорошенько выспаться, тот говорил перед сном о «добре» и «зле».

Эту сонливость растревожил я, когда учил: что есть добро и зло, того еще никто не знает: — разве только созидающий!

— Созидающий же тот, кто создает человеку цель и дает земле ее смысл и ее грядущее: это он впервые с о з д а е т то, что бывает доброе и злое.

И я призывал их опрокинуть старые кафедры и все, где только ни сидело ветхое самомнение; я призывал их

смеяться над их великими умельцами добродетели, и святыми, и поэтами, и спасителями мира.

Над их мрачными мудрецами призывал я их смеяться и над теми, кто, как черное птичье пугало, сиживал когда-либо, предостерегая, на древе жизни.

На их большой дороге гробниц уселся я близ самой падали и коршунов — и я смеялся над их «некогда бывшим» и над всем величием его, разложившимся, развалившимся.

Впрямь, подобно проповедникам покаяния и юродивым, призывал я громы и молнии на все их великое и ничтожное, — о, куда как ничтожно их наилучшее! О, куда как ничтожно их наихудшее! — так смеялся я.

Мое мудрое чаянье воплем и смехом вырывалось так из груди, рожденное на горах, и впрямь, дикая мудрость! — мое великое шумнокрылое чаянье.

Оно часто меня уносило прочь, и метало в даль, и с выси на высь, и при этом в водовороте смеха: и вот я летел, содрогаясь, стрелой в упоенный солнцем восторг:

— туда, в далекое будущее, какое и во сне не грезилося, на юг, более знойный, какой и образотворцам не снился: туда, где боги, танцуя, стыдятся одежд: —

— и если подобиями я говорю и подобно поэтам хромаю и заикаюсь: так впрямь я стыжусь, что я еще должен быть поэтом! —

Туда, где все бывание казалось мне танцем богов и забавой богов, а мир — необузданно-разнузданным и обратно к себе же самому бегущим: —

— как вечное бегство от себя и искание себя несчетных богов, как блаженное противоречие самим себе, повторный отзвук самих себя, повторный возврат к самим себе все тех же многих богов: —

Где время казалось мне мгновение блаженной насмешкой, где необходимость была самой свободной, блаженно играющей с жалом свободы: —

Где я вновь нашел и своего старого беса и кровавого врага, духа тяжести, и все, что он создал: принуждение, закон, нужду, следствие, и цель, и волю, и добро, и зло: —

Разве не должно быть нечто такое, над чем и по-прежнему можно танцевать до конца? Разве не ради легких, взлетно-легких, должны быть на свете кроты и тяжелые карлики? — —



3.

Да, это было там, где я подобрал на дороге слово «сверхчеловек», — человек есть нечто, что должно преодолеть,

— человек — это мост, а не цель: себя самого славит он за свои полдень и вечеру — пути к новым утренним зорям:

— где я подобрал слово Заратустры о великом полдне и все то, что развесил я над человеком подобно пурпурным вторым вечерним зорям.

Впрямь, и новые звезды дал я узреть им, и заодно и новые ночи; и над облаками, и над днем, и над ночью натянул я смех, словно пестрый шатер.

Я учил их всему, что я думал и делал: соединять воедино и думой и делом все, что в человеке обломок, и загадка, и грозная случайность, —

— как поэт, отгадчик загадок и освободитель от случая, я учил их искусству созидать грядущее и все, что было —, искуплять созидая.

Освобождать в человеке прошлое и преобразовать всякое «было», пока воля не выговорит: «Но так хотела я этого! Так буду хотеть».

— Это называл я искуплением, это одно учил я их называть искуплением. — —

Теперь я жду с в о е г о искупления —, чтобы в последний раз пойти к ним.

Ибо еще раз хочу я к людям: с р е д и них хочу я умереть, умирая, дать им свой богатейший дар!

Это от солнца перенял я, когда закатывается оно, сверхбогатое: золото высыпает тогда в море оно от неистощимого богатства своего, —

— так что даже рыбак беднейший из бедных з о л о т ы м гребет веслом! Вот что видел я когда-то и, любуясь, не смог удержать поток слез. — —

Подобно солнцу хочет и Заратустра закатиться: и вот сидит он здесь и ждет, ветхие разбитые скрижали вокруг него и еще новые скрижали — полуисписанные.



4.

Смотри, вот новая скрижаль перед тобой: но где же братья мои, которые со мной понесут ее в долину и в сердца плотские? —

Того требует моя великая любовь к дальнему: с в о е г о б л и ж н е г о н е щ а д и! Человек есть нечто, что должно преодолеть.

Есть немало путей и подходов к преодолению: глядя, не плошай! Но только скоморох думает: «Через человека и п е р е п р ы г н у т ь можно».

Преодолей самого себя даже в своем ближнем: и право, которое ты можешь отнять, не позволяй тебе даровать!

Что ты делаешь, того не может тебе сделать в ответ никто другой. Знай, воздаяния нет.

Кто не умеет себе приказать, тот пусть повинуется. А иной и у м е е т себе отдать приказ, но еще долготой сказ, чтобы умел он еще и повиноваться себе!

*
* * *

5.

Так того хочет род благородных: они ничего не хотят иметь д а р о м, всего менее жизнь.

Кто из черни, тот хочет жить даром; мы же, иные, которым жизнь далась, — мы всегда размышляем о том, ч т о нам лучше всего дать в з а м е н!

И впрямь, высока та речь, которая возвещает: «Что н а м обещает жизнь, то мы — сдержим жизни!»

Не следует хотеть наслаждаться там, где тебе наслаждать не дано. И — не следует х о т е т ь наслаждаться!

Ведь наслаждение и невинность — наистыдливейшие вещи: они не хотят, чтобы их искали. Ими надо о б л а д а т ь —, и с к а т ь же надо, скорее, вины и страдания! —

*
* * *

6.

О, братья мои, первенец всегда приносится в жертву. Что же, мы теперь первенцы.

Мы все исходим кровью на тайных жертвенниках, мы все сожигаемся и изжариваемся во славу старых идолов.

Наше лучшее еще юно: оно раздражает старое небо. Наше мясо нежно, наша шкура — только шкура ягненка: — как же не раздражать нам старых идолослужителей!

В н у т р и н а с с а м и х живет он еще, этот старый идолослужитель, который жарит себе для пирушек лучшее в нас. Ах, братья мои, как же первенцам не быть жертвами!

Но так хочет того наша порода; и я люблю тех, которые не хотят сохранять себя. Заходящих-погибающих люблю я всей любовью своей: ибо они переходят. —

*
* *
*

7.

Быть правдивым — это у м е ю т немногие! А кто умеет, тот еще не хочет! Менее всего умеют добрые.

Ох, эти добрые! — д о б р ы е л ю д и н и к о г д а не говорят правды; для духа быть в этом смысле добрым — хворота.

Они поддаются под напором, эти добряки, они сдаются, их сердце вторит, их дух послушен: но тот, кто послушен, — т о т не слышит самого себя!

Все, что у добрых называется злом, должно соединиться, чтобы родилась единая правда: братья мои, достаточно ли вы злы для э т о й правды?

Рискованное дерзание, длительное недоверие, суровое «нет», пресыщение, искусство резать по живому — как редко сочетается все это вместе! Однако из такого семени выращивается — правда!

Рядом с нечистой совестью — рядом с дурным сознанием росло до сих пор всякое знание! Разбивайте, разбивайте же, познающие, эти старые скрижали!

*
* *
*

8.

Когда на воде бревна, когда мостки и перила над течением реки, — впрямь, не поверят тогда тому, кто скажет: «Все течет».

Даже головатяпы, и те возразят ему: «Как, — скажут головатяпы, — все течет? Но ведь бревна и перила все же над течением!

Над течением все стоит прочно, все ценности вещей, мосты, понятия, все «добро» и «зло»: все это прочно стоит!» —

А придет лютая зима, укротительница зверей и рек: тогда научаются недоверию и самые умные головы; и впрямь, не только головатяпы говорят тогда: «Разве не все — неподвижно?»

«В сущности, все неподвижно», — это истинное зимнее учение, вещь хорошая для бесплодной эпохи, хорошее утешение для любителя зимней спячки и для сычей на печи.

«В сущности все неподвижно» —: на перекор тому проповедует весенний теплый ветер!

Весенний теплый ветер, бык — но не пашущий он бык, он ярящийся бык, сокрушитель, свирепыми рогами крушащий лед! А лед — лед крушит перила!

О братья мои, разве сейчас не все течет? Разве не попадали в воду все мостки и перила? Кому же охота держать ся еще за «добро» и «зло»?

«Горе нам! Благо нам! Повеяло весенним теплым ветром!» — так проповедают, о братья мои, по всем улицам!

*
* * *

9.

Есть старое заблуждение, имя которому добро и зло. Вокруг прорицателей и звездочетов вертелось до сих пор этого заблуждения колесо.

Некогда в е р и л и в прорицателей и звездочетов: и поэтому верили: «Все судьба: ты должен, ибо ты вынужден!»

Затем, в свою очередь, перестали доверять прорицателям и звездочетам: и п о э т о м у верили так: «Все свобода: ты можешь, ибо ты хочешь!»

О братья мои, о звездах и грядущем до сих пор только мечтали, но их не знали: и п о э т о м у о добре и зле до сих пор только мечтали, но их не знали!

*
* * *

10.

«Ты не должен красть! Ты не должен убивать!» — такие слова назывались некогда священными; перед ними преклоняли колени и головы и сбрасывали башмаки.

Но я спрашиваю вас: где в кои веки на свете можно было сыскать лучших грабителей и смертоубийц, чем тогда, когда существовали такие священные слова?

Разве в самой жизни не все сплошь — грабеж и смертоубийство? И что такие слова считались священ-

ными — разве не была этим насмерть убита сама и с-т и н а?

Или то была проповедь смерти, если священным считалось все, что противоречило и противодействовало всей жизни?

— О, братья мои, разбивайте, разбивайте же эти старые скрижали!



11.

В том мое сострадание со всем прошлым, что я вижу: оно брошено на произвол, —

— на произвол милости, духа, безумия каждого поколения, которое приходит и все, что было, перетолковывает в мост для себя!

Как бы не пришел великий державный насильник, хитроумное чудовище, которое своей милостью и немилостью будет принуждать и вынуждать все прошлое: до тех пор, пока то не станет для него мостом, и предзнаменовани-ем, и герольдом, и петушиным криком.

Но вот и другая опасность и мое другое сожаление: — кто из черни, у того память доходит до прадеда, — с прадедом же время иссыкает.

Так брошено все прошлое на произвол: ибо когда-нибудь может случиться, что чернь станет господином и все времена утопит на мелководье.

Потому, о братья мои, необходима н о в а я з н а т ь — она любой черни, любому державному насильнику противник и в новые скрижали по-новому врезает слово «благородный».

Ибо нужно много благородных, и много разнородных благородных, ч т о б ы б ы л а б л а г а я

з н а т ь! Или, как некогда говорил я уподобительно: «В том божественность, что есть боги, а не бог!»

*
* *
*

12.

О братья, я посвящаю и благословляю вас на новую знатность: будьте же родителями, и садовниками, и сеятелями грядущего, —

— впрямь, не на знатность, которую вы могли бы купить подобно торгашам и на золото торгашей: ибо не велика ценность тому, что имеет свою цену.

Не то, откуда приходите вы, — да будет впредь вашей честью, а то, куда вы идете! Ваша воля и ваша нога, которая хочет шагнуть выше и дальше вас самих, — это да будет вашей новой честью!

Впрямь, не то, что вы государю служили, — что нам теперь государи! — или что вы оплотом стали тому, что стоит, чтобы оно еще крепче стояло!

Не то, что ваш род стал придворным при дворах и вы научились, напоминая пестрых фламинго, часами простаивать в мелких прудах:

— ибо у м е н и е стоять у придворных заслуга; и все придворные верят, что к блаженству после смерти принадлежит — «д о з в о л е н и е сидеть!» —

И не то, что дух, который они называют святым, вел ваших предков в обетованные земли, которые я не хвалю: ибо где выросло наихудшее из всех деревьев: крест — в той земле нечего хвалить! —

— и впрямь, куда бы ни вел этот «святой дух» своих рыцарей, неизменно в п е р е д и таких армий бежали козы и гуси, божьи вестники да чертовы крестники! —

О, братья мои, не назад должна смотреть ваша знатность, а в п е р е д! Изгнанными должны вы быть из всех стран ваших отцов и праотцев!

Страну ваших детей должны вы любить: эта любовь да будет для вас новой знатностью, — еще не открытую страну в далеком-далеком море! Ее искать и искать призываю я ваши паруса!

В своих детях должны вы и с п р а в и т ь то, что вы отцовы дети: т а к должны искупить вы все прошлое! Эту новую скрижаль утверждаю я над вами!

*
* * *

13.

«К чему жить? Все суета! Жить — значит воду толочь; жить — значит сжигать себя и все-таки не согреться». —

Такая стародавняя болтовня все еще принимается за «мудрость»; оттого, что она давняя и пахнет затхлым, она в большом почете. Плесень, и та облагораживает. —

Детям позволительно так говорить: они б о я т с я огня, ибо он обжигал их! Много детского вздора в старинных книгах мудрости.

А кто вечно «воду толчет», как смеет он клеветать на толчение! Таким глупцам следовало бы рот заткнуть!

Такие садятся за стол и ничего не приносят с собой, даже здорового голода: — только и знают они, что клеветать: «Все суета!»

Но хорошо есть и пить, о братья мои, — это, впрямь, не тщетное искусство! Разбивайте, разбивайте же скрижали вечнобезрадостных!

*
* * *

«Для чистого все чисто», — так говорит народ. Я же говорю вам: для свиней все свинья!

Потому и проповедают мечтатели и понурые нытики, у которых и сердце понурое: «Мир и сам грязное чудовище».

Ибо все они духовно неопрятны; особенно те, кто не находит ни сна, ни покоя, разве только сам мир они увидят с з а д у — мироотступники!

И м говорю я в лицо, хотя это и звучит не совсем мило: мир тем похож на человека, что у него есть «зад», и э т о истинно так!

В мире много грязи: и э т о истинно так! Но оттого сам мир еще не грязное чудовище!

Есть мудрость в том, что многое в мире дурно пахнет: само же отвращение порождает крылья и силы, чающие ключей!

Даже и в лучшем есть нечто мерзкое; и даже лучший из лучших есть нечто такое, что должно преодолеть! —

О братья мои, немало мудрости в том, что в мире много грязи!

*
* * *

С такими притчами и истинами, слышал я, обращались благочестивые мироотступники к своей совести; и впрямь, без лукавства и фальши, — хотя нет в мире ничего более фальшивого и лукавого.

«Дай же миру быть миром! Не пытайся и пальцем пошевелить против этого!»

«Предоставь всем, кому охота, и душить, и колоть, и драть, и спускать шкуру: не пытайся и пальцем поше-

вельнуть против этого! Так научатся они мироотступничеству».

«А свой собственный разум — сам удави и удуши его; ибо он разум мира сего, — так научись ты и сам мироотступничеству». —

— Разбивайте, разбивайте же, о братья мои, эти старые скрижали благочестивых! Распритчьте все притчи клеветников — на мир!

*
* * *

16.

«Кто много учится, тот разучивается страстно желать», — это шепчут сегодня на всех темных улицах.

«Мудрость утомляет, ничто не вознаграждается; ты не должен желать!» — эту новую скрижаль нашел я вывешенной даже на открытых торжищах.

Разбивайте, о братья мои, разбивайте же и эту новую скрижаль! Усталые от мира повесили ее и проповедники смерти, да тюремщики: ибо знайте, она еще и проповедь рабства! —

Оттого, что они плохо учились, и далеко не лучшему, и всему слишком рано, и всему слишком рьяно: оттого, что они плохо ели, вот откуда у них испорченный желудок, —

— испорченный желудок — вот их дух: это он внушает мысль о смерти! Ибо, впрямь, братья мои, дух — это желудок!

Жизнь — ключ радости: но у кого говорит из чрева испорченный желудок, отец скорби, для того все источники отравлены.

Познавать: это радость для волящих как львы! Но кто устал, тот сам только «волится», им играют все волны.

И такова уж черта всех слабых людей: они теряют себя на путях своих. И напоследок их усталость еще спрашивает: «Зачем искали мы путей! Все безразлично!»

Им-то ласкают слух слова, когда иные проповедуют: «Ничто не вознаграждается! Вы не должны желать!» Но это проповедь рабства.

О, братья, освежающим буйным ветром приходит Заратустра ко всем от пути усталым; немало носов заставит он еще чихать!

И сквозь стены врывается мое свободное дыхание, и в самые тюрьмы и трюмы уловленных умов!

Воля освобождает: ибо волишь значит созидать: так учу я. И т о л ь к о ради созидания должны вы учиться!

И даже учению должны вы сперва от меня н а у ч и т ь с я, доброму учению! — Кто имеет уши, да слышит!

*
* *
*

17.

Вот челн, — а туда ведет переправа, быть может, в великое Ничто. — Но кто захочет сесть в это «быть может»?

Никто из вас не захочет сесть в челн смерти! Но отчего вы тогда хотите быть у с т а л ы м и о т м и р а!

Усталые от мира! Вы еще даже не восхищенные от земли! Похотливо-жадными к земле всегда находил я вас, еще влюбленными в свою же земную усталость!

Недаром отвисает у вас губа: — еще висит на ней маленькое земное желание! А в глазу — не плывет ли там облачко незабвенной земной радости?

Много есть на земле добрых измышлений, одни полезны, другие приятны: ради них стоит любить землю.

Есть там и столь хорошо измышленное, что оно совсем как грудь женщины: вместе и полезно, и приятно.

А вы, усталые от мира! Вы, ленивые земли! Вас надо розгами сечь! Сечением, розгами надо вернуть прыть вашим ногам.

Ибо: если вы не больные и не истасканные твари, от которых устала земля, тогда вы лукавые ленивцы или скрытно блудливые лакомки-кошки. И если вы не хотите снова весело забегать — так пропадайте поскорей!

Ради неисцелимых незачем хотеть быть врачом: так учит Заратустра: — так пропадайте поскорей!

Но больше м у ж е с т в а требуется, чтобы поставить точку, чем для того, чтобы начать новый стих: это знают все врачи и все поэты. —

*
* *
*

18.

О братья мои, есть скрижали, созданные усталостью, есть скрижали, созданные ленью, подобной тлению: хотя они и говорят одинаково, но хотят они все-таки быть услышанными неодинаково. —

Поглядите-ка на этого истомленного! Только пядь отделяет его от цели, но от усталости лег он упрямо в пыль и прах: этаким храбрец!

От усталости зевает он, глядя на дорогу, и на землю, и на цель, и на самого себя: шага не хочет он сделать дальше, — этаким храбрец!

Уже солнце опалает его, и псы лижут его пот: но он лежит там, нарочито упорствуя, и предпочитает истомить себя насмерть: —

— на расстоянии пяди от своей цели истомить себя насмерть! И впрямь, вам придется, пожалуй, тащить его за волосы на его небо — этакого героя!

А не то оставьте его лежать, где он лег, чтобы пришел к нему сон-утешитель с охлаждающим дождем-шелестом:

Оставьте его лежать, пока он сам не проснется, — пока он сам не отречется от усталости и от того, чему усталость от него научилась!

Только, братья мои, отгоните от него псов, этих ленивых проныр, и весь этот рыщущий сброд: —

— весь этот рыщущий сброд «образованных», который так падох на пот героя. —

*
* *
*

19.

Я замыкаю круги вокруг себя и священные границы; все меньше тех, что восходят со мной на все более высокие горы, — я воздвигаю горный кряж из все более священных гор. —

Но куда бы ни поднимались вы со мною, о братья мои: глядите в оба, чтобы не поднялся вместе с вами и какой-нибудь п а р а з и т!

Паразит: это гад ползучий, извилистый, который хочет жиреть в ваших больных изъязвлениях, потаенных уголках.

И в т о м искусство его, что угадывает он восходящие души, чуть одолевает их усталость: в вашем горе и унынии, в вашей нежной стыдливости свивает он свое мерзкое гнездо.

Где сильный слаб, благородный излишне мягок, — там свивает он свое мерзкое гнездо: паразит живет там, где у большого есть маленькие изъязвленные, потаенные уголки.

Что величайшая и что самомалейшая порода существ? Паразит — самомалейшая; кто же принадлежит к величайшей, тот питает больше паразитов.

Ибо душа, у которой самая длинная лестница и которая может глубже других спуститься: ну как не сидеть при ней наибольшему числу паразитов? —

— наиобширнейшая душа, которая как никто может в себя убежать и в себе блуждать и заблуждаться; самая роковая душа, которая радостно низвергается в случай: —

— душа сушая, которая погружается в становление; душа обладающая, которая х о ч е т волений и влечения: —

— сама от себя убегающая, сама себя широчайшим кругом нагоняющая; наимудрейшая душа, которой слаще всего шепчет глупость: —

— сама себя как никто любящая, в которой обретают все вещи свою прибыль и убыль, свой прилив и отлив: — о, как не иметь самой в ы с о к о й д у ш е самых худших из паразитов?

*
* *
*

20.

О братья мои, разве я жесток? Но я говорю: что падает, то надо еще подтолкнуть!

Все, что от сегодня, — то падает, то пропадает: кому охота его поддерживать! Но я — я х о ч у еще его подтолкнуть!

Знакомо ли вам наслаждение скатывать камни в отвесные пропасти? — О, эти люди от сегодня: глядите-ка, как скатываются они в мои пропасти!

Игра-прелюдия я для лучших, чем я, игроков, о братья мои! Я — пример! Д е й с т в у й т е по моему примеру!

И если вы не учите летать, то учите хотя бы — стремительней падать! —

*
* * *

21.

Я люблю храбрецов: но мало быть рубакой — надо еще знать: руби да смотри к о г о!

И часто больше храбрости в том, когда кто дорожит собою и проходит мимо: ч т о б ы сберечь себя для более достойного врага!

Пусть будут у вас только враги, достойные вашей ненависти, но не враги, достойные вашего презрения: вы должны гордиться вашим врагом: так уже учил я однажды.

Для более достойного врага, о други мои, сберегите себя: потому должны вы проходить мимо многого, —

— особенно мимо всякой сволочи, которая орет вам в уши о народе и народах.

Сохраняйте ваш глаз в чистоте от ее за и против! Есть много справедливого, много несправедливого: кто станет смотреть, будет гневом кипеть.

Взглянуть да рубнуть! — дело не долгое: потому уходите в леса и поберегите свой меч!

Идите с в о и м и путями! И пусть народ и народы идут своими! — впрямь, темными путями, ни единая надежда не сверкнет им зарницей!

Пусть там торгаш властвует, где все, что еще блестит, — золото торгашей! Время королей миновало: что сегодня называется народом, не заслуживает королей.

Посмотрите-ка только, как эти народы теперь сами подражают торгашам: они выбирают мельчайшие выгоды даже из любого сора!

Они подсматривают друг за другом, они высматривают что-нибудь друг у друга, — это называют они «добрым соседством». О, блаженные далекие времена, когда народ говорил себе: «Я хочу над народами быть — г о с п о д и н о м!»

Ибо, други мои: лучшее должно господствовать, лучшее и х о ч е т господствовать! А где учение гласит иначе, там — н е д о с т а е т лучшего.

*
* *
*

22.

Если бы о н и — хлеб даром имели, увы! О чем вопили бы о н и! Их пропитание — вот чем пропитано их содержание; и так пусть это им трудно дается!

Хищные звери они: в их слове «работать» — все еще скрывается «порабощение», в их слове «заслужить» — все еще скрывается «перехитрить»! Так пусть же это им трудно дается!

Потому хищными зверьми получше надо им стать, более тонкими, умными, более ч е л о в е к о п о д о б н ы м и: ибо человек — лучший хищный зверь.

У всех зверей выкрал человек их добродетели: оттого-то из всех зверей человеку приходилось труднее всего.

Только птицы еще над ним. И если бы человек научился еще и летать, увы! к а к в ы с о к о только не залетала бы его хищность!

*
* *
*

Таковыми хочу я видеть мужчину и женщину: добрым воином одного, доброй роженицей другую, но обоих добрыми танцорами головой и ногами.

И пусть будет потерян для нас тот день, когда мы ни разу не танцевали! И пусть ложной зовется у нас та истина, когда при ней ни разу не вырвался смех!



Заключение браков у вас: смотрите, чтобы не оказалось оно скверным з а к л ю ч е н и е м! Вы заключили слишком стремительно: потому и с л е д у е т отсюда — нарушение брака!

И все-таки лучше нарушение брака, чем искажение брака, лжелечение брака! — Так говорила мне женщина: «Да, я нарушила брак, но сперва брак сокрушил — меня!»

Худоподобренные пары всегда оказывались наименее скверными по мстительности: они мстят всему миру за то, что уже не бегают в одиночку.

Потому я хочу, чтобы честные говорили друг другу по чести: «Мы любим друг друга: давайте п о с м о т р и м, будем ли мы и впредь любить друг друга! Или наш брачный сговор был недоговоркой?»

— «Дайте нам срок и временный брак, чтобы мы приоткрылись, годимся ли мы для длительного брака! Не шуточное дело быть постоянно вдвоем!»

Такой совет даю я всем честным; и чем была бы моя любовь к сверхчеловеку и ко всему, что придет, если бы я советовал и говорил иначе!

Не только размножаться, но и в о з р а с т а т ь —
в этом, о братья мои, да поможет вам сад брака!

*
* *
*

25.

Кто умом проник в древние праистоки, тот напоследок будет искать ключей грядущего и новых праистоков. —

О, братья мои, не так уже долго ждать, и проистекут н о в ы е н а р о д ы и новые родники зашумят, низвергаясь в новые пропасти.

Землетрясение — оно засыпает немало колодцев, оно возбуждает немало томительной жажды: но оно же вызывает на свет внутренние силы и потаенности.

Землетрясение открывает новые родники. При трясении ветхих народов наружу вырываются новые родники.

И кто восклицает тогда: «Взгляни, вот единый источник для многих жаждущих, единое сердце для многих взыскующих, единая воля для многих орудий-воли»: — вокруг того собирается н а р о д, а это значит: много испытующих.

Кто властен повелевать, кто должен повиноваться — вот что испытывается тогда! Ах, сколько тут длительного искания, удач и неудач, изучения и повторных попыток!

Человеческое общество: оно — опыт, так учу я, — оно длительное искание: ищет же оно повелителя! —

— опыт, о братья мои! А н е «договор»! Разбивайте, разбивайте же это слово мягкотелых и половинчатых!

*
* *
*

О братья мои! От кого же исходит наибольшая опасность всему человеческому грядущему? Не от добрых ли и праведных? —

— как от людей, которые говорят и сердцем чувствуют: «Мы уже знаем, что хорошо и что праведно, мы и обладаем этим; горе тем, кто здесь еще ищет!»

И какой бы вред ни нанесли злые: вред от добрых наивреднейший вред!

И какой бы вред ни нанесли также хулители мира: вред от добрых наивреднейший вред.

О братья мои, добрым и праведным заглянул однажды в сердце тот, кто некогда изрек: «Они — фарисеи». Но его не поняли.

Сами добрые и праведные не смели его понять: их дух уловлен их чистой совестью. Глупость добрых непостижимо умна.

Но вот истина: добрые д о л ж н ы быть фарисеями, — у них нет выбора!

Добрые д о л ж н ы распинать того, кто создает себе свою собственную добродетель! В о т она, истина!

Вторым же, кто открыл их страну — страну, сердце и земное царство добрых и праведных, — был тот, кто некогда спросил: «Кого ненавидят они сильнее всего?»

С о з и д а ю щ е г о ненавидят они сильнее всего: того, кто разбивает скрижали и старые ценности, разрушителя, — его называют они разрушителем.

Ибо добрые — они н е м о г у т созидать: они всегда начало конца: —

— они распинают того, кто пишет новые ценности на новых скрижалях, они с е б е в жертву приносят грядущее, — они распинают все человеческое грядущее!

Добрые — они всегда были началом конца. —

*
* *
*

О братья мои, поняли ли вы также и это слово? И то, что однажды сказал я о «последнем человеке»? — —

От кого исходит наибольшая опасность всему человеческому грядущему? Не от добрых ли и праведных?

С о к р у ш и т е, с о к р у ш и т е д о б р ы х и п р а в е д н ы х! — О, братья мои, поняли ли вы и это слово?



Вы убегаете от меня? Вы испуганы? Вы дрожите перед этим словом?

О братья мои, когда я призывал вас сокрушить добрых и разбить скрижали добрых: только тогда побудил я человека выплыть в его открытое море.

И только теперь находит на него великий страх, великая осмотрительность, великая болезнь, великое отвращение, великая морская болезнь.

К мнимым берегам и мнимым убежищам направляли вас эти добрые; во лжи добрых были вы рождены и к ней пригвождены. Все до основания насквозь искажено и исковеркано добрыми.

Но кто открыл страну, называемую «Человек», открыл и страну, называемую «Человеческое грядущее». Отныне быть нам мореходами — отважными, терпеливыми!

Шагайте вовремя прямо, о братья мои, учитесь шагать прямо! Море бушует: многие хотят опять выпрямиться, ухватившись за вас.

Море бушует: всё уже в море. Ну же! Бодрей! Веселей! Вы, старые сердца моряков!

Что нам страна отцов! Туда стремит наше кормило, где страна детей! Туда, в открытую даль, бушуя яростней моря, бурей несется наше великое желание! —

*
* *
*

29.

«Почему ты так тверд? — как-то спросил у алмаза кухонный уголь. — Разве мы не близкие родственники?» —

Почему вы так мягки? О братья мои, так спрашиваю я вас: разве вы — не братья мои?

Почему вы так мягки, так уступчивы, податливы? Почему так много отрицания, отречения в вашем сердце? Так мало рокового в вашем взоре?

И если вы не хотите быть роковыми и неумолимыми: как могли бы вы — побеждать со мной?

И если ваша твердость не хочет сверкать, и резать, и гранить: как могли бы вы некогда со мной — создавать?

Ибо созидатели тверды. И должно блаженством казаться вам — запечатлевать руку на тысячелетиях, как на воске, —

— блаженством писать на воле тысячелетий, как на меди, — тверже меди, благороднее меди. До конца твердо только до конца благородное.

Эту новую скрижаль, о братья мои, ставлю я над вами: **б у д ь т е т в е р д ы!** —

*
* *
*

О ты, моя воля! Ты, преодоление всего рокового, ты, мой рок преодолевания! Сохрани меня от маленьких побед!

Ты души моей удел, который я называю судьбой! Ты во мне! Надо мною! Сохрани и сбереги меня для единой великой судьбы!

И свое последнее величие, о ты, моя воля, сбереги себе до последнего дня, — чтобы неумолимой быть в своей победе! Ах, кто не был побежден своей победой!

Ах, чей глаз не тускнел уже в этих опьяненных сумерках! Ах, чья нога не подкашивалась и не разучалась в час победы — стоять! —

— О, да буду я готов и зрел в великий полдень: готов и зрел, как медь раскаленная, как чреватая молниями туча, как набухшее от молока вымя: —

— готов для самого себя и для своей затаеннейшей воли: лук, что алчет своей стрелы, стрела, что алчет своей звезды: —

— звезда, готовая, зреющая в свой полдень, раскаленная, пронзенная, блаженная перед губительными стрелами солнца: —

— сам новое солнце и неумолимая воля солнца, к гибели готовая в победе!

О, воля, ты преодоление всего рокового, ты мой рок преодолевания! Сохрани меня для Единой великой победы! —

Так говорил Заратустра.

*
* *
*

1.

Как-то поутру, вскоре после своего возвращения к берлоге, сорвался Заратустра со своей постели, как безумный, вскрикнул страшным голосом и повел себя так, словно кто-то другой еще лежит на его постели и не хочет с нее встать; и так прогремел голос Заратустры, что его звери прибежали к нему в испуге и из всех нор и щелей по соседству с берлогой Заратустры все зверье прыснуло кто куда, — улетаая, порхая, уползая, прыгая, каждый сообразно устройству, устройству его ног и крыльев. Заратустра же молвил такие слова:

Восстань, бездонная мысль, поднимись из моей глубины! Я твой петух и мерцание утра, ты, заспавшийся червь: вставай! вставай! Мой голос разбудит тебя, как пение петуха!

Сорви повязки с ушей: слушай! Ибо я хочу услышать тебя! Вставай! Вставай! Здесь достаточно грома, чтобы научить слушать даже гробы!

И смахни сон, и всю слабость, и всю слепоту со своих глаз! Слушай меня и своими глазами: голос мой целительный бальзам даже для слепорожденных.

И чуть пробудишься ты, уже ты навек пробудилась. Не м о й обычай поднимать прабабушек от сна, чтобы приказать им — спать дальше!

Ты шевелишься, потягиваешься, хрипишь? Вставай! Вставай! Не хрипеть — говорить будешь ты у меня! Заратустра зовет тебя, Заратустра-безбожник!

Я, Заратустра, ходатай за жизнь, ходатай за страдание, ходатай за круг — тебя зову, мою бездонную мысль!

Благо мне! Ты идешь, — я слышу тебя! Бездна моя
г о в о р и т, свою последнюю глубину выманил я на
свет!

Благо мне! Сюда! Дай руку — — а! пусти! ха-ха! — —
отвращение, отвращение, отвращение — — — горе мне!

*
* *
*

2.

Но едва выговорил эти слова Заратустра, как грохнулся замертво наземь и долго пребывал как мертвый. Когда же он снова пришел в себя, был он бледен, и дрожал, и продолжал лежать, и долго не хотел ни есть, ни пить. Такое состояние длилось у него семь дней; звери же его не покидали ни днем, ни ночью, разве только орел вылетал раздобыть пищу. И все, что он добывал и похищал, — все это складывал он на постель Заратустры: так что Заратустра лежал под конец среди груд желтых и красных ягод, винограда, розовых яблок, благовонных трав и кедровых шишек. А у ног его были два ягненка простерты, которых орел с трудом отбил у их пастухов.

Наконец, на исходе семи дней, выпрямился Заратустра на своей постели, взял розовое яблоко в руку, понюхал его и нашел запах его приятным. Тогда его звери решили, что пришло время заговорить с ним.

«О, Заратустра, — сказали они, — вот уже семь дней лежишь ты так, с закрытыми глазами: не хочешь ли ты наконец встать снова на ноги?»

Выйди из твоей берлоги: мир ждет тебя, словно сад. Ветер играет тяжелыми благовониями, которые волят к тебе; и все ручьи готовы бежать вслед за тобой.

Все вещи тоскуют по тебе, оттого что ты семь дней оставался один, — выйди из своей берлоги! Все вещи хотят быть твоими врачами!

Не пришло ли новое познание к тебе, кислое, тяжелое? Подобно закисшему тесту лежал ты, твоя душа поднялась и разбухла через край. — »

— О, звери мои, — отвечал Заратустра, — продолжайте себе болтать, а я буду прислушиваться! Меня так услаждает ваша болтовня: где болтают, там мир простирается предо мною, словно сад.

Как это приятно, что живут слова и звуки: разве слова и звуки не радуги и не призрачные мосты между вечноразделенным?

Каждой душе принадлежит особый мир; каждой душе другая душа иномирный мир.

Между наиболее сходным призрачный обман всего прекраснее; ибо через наименьшую пропасть труднее всего перекинуть мост.

Для меня — как могло бы существовать некое «вне меня»? Никакого «вне» не существует! Но об этом забываем мы, внимая любому звуку; как это приятно, что мы забываем!

Не для того ли даны в дар вещам имена и звуки, чтобы человек мог услаждаться вещами? Какой чудесный вздор — говорить: говоря, танцует человек поверх всех вещей.

Как приятно всякое словоречие и всякий обман звуков! Звуками танцует наша любовь по пестрым радугам. —

— «О, Заратустра, — сказали на это звери, — для тех, кто мыслит, как мы, сами вещи танцуют: все это и приходит, и подает друг другу руку, и смеется, и убегает — и возвращается.

Все идет, все возвращается; вечно кружит колесо бытия. Все умирает, все расцветает вновь, вечно бежит год бытия.

Все крушится, все наново вершится; вечно строится тот же дом бытия. Все разлучается, все встречается вновь; вечно верно себе кольцо бытия.

В каждом миге начально бытие; вокруг каждого «здесь» шаром катится «там». Срединная точка везде. Крива ты, вечности стезя». —

— Ох вы, скоморохи-проказники, шарманки вы этакие, — отвечал Заратустра и вновь улыбнулся, — вам ли не знать, чему должно было исполниться в семь дней: —

— и как та зверюга заползла мне в глотку и душила меня! Но я откусил голову ей и отплюнул ее далеко от себя прочь!

А вы, — вы уже вертушку-песенку успели из этого смастерить? Я же лежу здесь, еще усталый и от такого откусывания и отплевывания, еще больной от собственного искупления.

И вы были зрителями всему этому? О звери мои, неужели и вы жестоки? Неужели вы хотели быть зрителями моей великой боли, как это делают человеки? Ибо человек — самый жестокий зверь.

При зрелище трагедий, боя быков и распинаний чувствовал он себя до сих пор блаженнее всего на земле; и когда он выдумал для себя ад, тот ад стал для него его небом на земле.

Когда большой человек кричит от боли — : тут как тут маленький человек; и язык свисает у него изо рта от сладострастия. Он же называет это своим «состраданием».

Человечек, особенно поэт, — как ревностно обвиняет он жизнь на словах! Вслушайтесь, да не пропустите мимо ушей того наслаждения, которое скрыто во всяком обвинении!

Эти уж мне обвинители жизни: их жизнь побеждает, чуть глазом моргнет. «Ты любишь меня? — говорит де-

рзкий; подожди же немного, еще нет у меня для тебя времени».

Человек для себя самый жестокий зверь; и у всех, кто называется «грешником», и «несущим свой крест», и «покаянником», не пропустите мимо ушей сладострастия, скрытого в этих жалобах и жалостливых обвинениях!

А сам-то я — разве хочу я обвинителем человека быть? Ах вы, звери мои, этому одному научился я пока: человеку нужна его злейшая злоба для лучшего в нем, —

— злейшая злоба его — самая лучшая с и л а его и самый твердый камень для величайшего созидателя; человек должен стать лучше и злее: —

Не в т о м мое древо мучений, к которому я был пригвожден, что я знаю: человек зол, — но я кричал, как еще никто не кричал:

«Ах, отчего его злейшая злоба еще так ничтожна! Ах, отчего его наилучшая сила еще так ничтожна!»

Великое отвращение к человеку — о н о душило меня и заползло мне в глотку: и то, о чем пророчил прорицатель: «Все безразлично, ничто не вознаграждается, знание удушает».

Долгие сумерки качались впереди меня, усталая до смерти, пьяная до смерти печаль, которая говорила, раздирая зевотой рот:

«Вечно он возвращается, человек, от которого ты так устал, этот маленький человечек», — так зевала моя печаль, и волочила ноги, и не могла уснуть.

Берлогой обернулась для меня земля человеков, ее грудь ввалилась, все живое стало для меня человеческой гнилью, и костями, и пылью прошлого.

Мое стенанье сидело на человеческих гробницах и не могло уже подняться; мое стенанье и выпытывание рюмило, и душило, и грызло, и жаловалось день и ночь:

— «ах, человек вечно возвращается! Маленький человечек вечно возвращается!» —

Голыми видел я некогда обоих, самого большого человека и самого маленького: слишком похожими друг на друга, — слишком человеческим даже самого большого человека!

Слишком мал самый большой! — Вот оно, мое отвращение к человеку! И вечное возвращение даже самого маленького! — Вот оно, мое отвращение ко всему существованию!

Ах, отвращение! отвращение! отвращение! — так говорил Заратустра, и стонал, и содрогался; ибо он вспоминал о своей болезни. Но тут звери его не дали ему дольше говорить.

«Оборви речь, ты, выздоровевший! — так отвечали ему его звери, — лучше выйди на воздух, где мир тебя ждет, словно сад.

Выйди к розам, и пчелам, и к голубиным стаям! А особенно к певчим птицам: чтобы перенять от них п е н и е!

Пение — оно создано для выздоравливающих; здоровый — тот пусть говорит. А если даже здоровый и хочет песен, то он хочет совсем других песен, чем выздоравливающий».

— «О вы, скоморохи-проказники, шарманки вы этакие, замолчите же! — отвечал Заратустра и улыбнулся, глядя на своих зверей. — Вам ли не знать, какое утешение придумал я себе за семь дней!

Что мне вновь пора петь — э т о утешение придумал я себе и э т о выздоровление: не хотите ли вы и из этого смастерить песенку-вертушку?»

— «Оборви речь, — отвечали ему вторично его звери, — а не то смастери-ка сперва себе лиру, ты, выздоравливающий, новую лиру!

Ибо видишь ли, о Заратустра! Для твоих новых песен нужна и новая лира.

Пой и бушуй волнением, о Заратустра, врачуй новыми песнями свою душу: чтобы ты мог нести свою великую судьбу — судьбу, которая еще никому из людей не выпала на долю!

Ибо знают звери твои, о Заратустра, кто ты и кем должен ты стать: смотри, ты учитель вечного возвращения — вот она, твоя судьба!

Оттого, что первым должен ты это учение преподавать, — как могла бы эта великая судьба не быть также и твоей величайшей опасностью и болезнью!

Смотри, мы знаем, чему ты учишь: будто все вещи вечно возвращаются, и вместе с ними и мы, и будто мы уже несчет раз были тут и все вещи вместе с нами.

Ты учишь, что есть великий год становления, чудовищно великий год; он должен, подобно песочным часам, всегда сызнова переворачиваться, чтобы сызнова в вечность течь и истекать: —

— так что все эти годы подобны друг другу и в великом, и в малом, — так что и сами мы каждый великий год себе самим подобны и в великом, и в малом.

И если бы ты теперь задумал умереть, о Заратустра: смотри, мы знаем также, как бы ты тогда говорил о себе: — но твои звери просят тебя, чтобы ты повременил со смертью!

Ты бы говорил об этом без дрожи, скорее свободно вздохнув от блаженства: ибо великая тягость и гнет были бы сняты с тебя, ты, терпеливейший из терпеливых! —

“Вот умираю и исчезаю я, — говорил ты, — миг, и я ничто. Души столь же смертны, как и тела.

Но возвратится узел причинности, в который увязан и я, — он воссоздаст меня опять! Я сам принадлежу к причинам вечного возвращения.

Я возвращусь вновь с этим солнцем, с этой землею, с этим орлом, с этой змеею — не к новой жизни, или к лучшей жизни, или к похожей жизни:

— я буду возвращаться вечно к этой же самой, все той же жизни, в великом и в малом, чтобы снова учить все вещи вечному возвращению, —

— чтобы снова сказать слово истины о великом полдне земли и человека, чтобы снова возвестить человеку о сверхчеловеке.

Я сказал свое слово, я разбиваюсь о свое слово: так хочет мой вечный жребий, — как провозвеститель обращаюсь я в прах!

Вот пришел час, когда идущий к закату благословляет пред смертью самого себя. Так — к о н ч а е т с я закат Заратустры». — —

Когда звери проговорили эти слова, они умолкли и ждали, что Заратустра им что-нибудь скажет: но Заратустра не слышал, что они умолкли. Он лежал тихо, с закрытыми глазами, с виду спящий, хотя и не спал: ибо он беседовал тогда со своей душой. Змея же и орел, когда увидели его таким молчаливым, почтили великую тишину вокруг его и осторожно удалились.

*
* * *

О великом желании-чаяньи

О ты, моя душа, я учил тебя говорить «сегодня», как «некогда» и «когда-нибудь», и над всеми здесь и тут и там плясовые хоробы водить.

О ты, моя душа, я избавил тебя от всех закоулков, я отшел от тебя всю пыль, пауков и полусвет.

О ты, моя душа, я смыл с тебя маленький стыд и добродетель закоулков и убедил тебя перед очами солнца стоять голой.

Бурей, имя которой «дух», подул я над морем твоим волновым; все тучи сдул я с него, самого душителя удушил, имя которому «грех».

О моя душа, я дал тебе право говорить «нет», как буря, и говорить «да», как говорит «да» простор небес: ты стоишь тихо, как свет, и ты идешь теперь по тем бурям отрицания.

О моя душа, я возвратил свободу тебе и над созданным и несозданным: а кто знает так, как ты ее знаешь, — страстную радость грядущего?

О моя душа, я учил тебя презрению, проходящему не как червоточина, — великому, любящему презрению, которое сильнее всего любит там, где сильнее всего презирает.

О моя душа, я учил тебя так убеждать, чтобы самые основания привлечь убеждением к тебе: подобно солнцу, которое и море убеждает — привлекает к себе на высоту.

О моя душа, я отвел от тебя всякое послушание, коленопреклонение и призывы к господу; тебе самой дал я имя «преодоление» и «судьба».

О моя душа, я дал тебе новые имена и многоцветные игрушки, я назвал тебя «судьбой», и «объятием объятий», и «пуловиной времени», и «лазурным колоколом».

О моя душа, твоей почве дал я испить свою мудрость, все новые вина, но и все незапамятностарые крепкие вина мудрости.

О моя душа, каждое солнце проливал я на тебя, и каждую ночь, и каждое молчание, и каждое томление: — и выросла ты, как лоза виноградная.

О моя душа, сверхбогатой и тяжелой стоишь ты теперь, — виноградная лоза с набухшими выменами и с тесноскученными бурозолотистыми виноградниками: —

— стесненная и притесняемая своим же счастьем, ожидая от преизбытка и стыдясь еще своего ожидания.

О моя душа, не найти нигде другой души, которая была бы более любящей, и объемлющей, и объемной! Где могло бы грядущее и прошлое быть ближе друг к другу, чем у тебя?

О моя душа, я все тебе отдал и мои руки опустели, одаряя тебя: — а теперь! Теперь говоришь ты мне, улыбаясь, исполненная тоски: «Кто из нас должен благодарить? —

— не должен ли благодарить даритель за то, что берущий брал? Разве дарить не потребность? Разве брать не милость?» —

О моя душа, я понимаю улыбку твоей тоски: само твое сверхбогатство протягивает теперь руки!

Твой избыток обращен вдоль бурливых морей, и он ищет и ждет; желание-чаяние от преизбытка обращено на меня из твоего улыбчивого неба очей!

И впрямь, о моя душа! Кто мог бы видеть твою улыбку и не утонуть в слезах? Сами ангелы утопают в слезах от сверхдоброты твоей улыбки.

Твоя доброта и сверхдоброта — это она не хочет жаловаться и плакать: и все же томится, о моя душа, твоя улыбка по слезам и твой подрагивающий рот по всхлипыванию.

«Разве всякий плач не жалоба? И разве всякая жалоба не обвинительная жалоба?» Так говоришь ты самой себе и потому предпочитаешь, о моя душа, улыбаться, чем изливать свое страдание.

— изливать водопадом слез все страдание свое из-за своего избытка и из-за всего этого томления виноградной лозы по виноградарю и ножу виноградаря!

Но если ты не хочешь плакать, не хочешь выплакать свою пурпурную тоску, то ты будешь п е т ь, о моя душа! — Смотри, я сам улыбаюсь, я, тот самый, кто предвещает тебе это:

— будешь петь, бушуя песней, пока не утихнут все моря, чтобы прислушаться к твоему желанию-чаянию, —

— пока по тихим томящимся морям не поплывет челн, золотое диво, а вокруг золота его не зашныряют все хорошие дурные удивительные вещи: —

— и еще много больших и малых зверей, и всех тех, у кого легкие удивительные ноги, такие, чтобы пробегать по фиалково-голубым тропам, —

— туда, к золотому диву, к вольному челну и его господину: господин же виноградарь, который ждет с алмазным ножом виноградаря, —

— твой великий избавитель, о моя душа, безымянный, — только грядущие песни найдут ему имена! И впрямь, уже благоухает твое дыхание грядущими песнями, —

— уже рдеешь и грезишь ты, уже пьешь ты, жадно припав ко всем глубоким, звонким ключам утешения, уже отдыхает твоя тоска в блаженстве грядущих песен! — —

О моя душа, я все тебе отдал, даже последнее, и вот мои руки опустели, одаряя тебя: — что я призывал тебя петь, знай, это и было мое последнее!

Я призывал тебя петь, — говори же, говори: кто из нас должен теперь — благодарить? — А еще того лучше: пой мне, пой, о моя душа! И позволь мне благодарить! —

Так говорил Заратустра.

*
* * *

Другая песня-пляска

1.

«В твои глаза заглянул я недавно, о жизнь: золота
взблеск увидел я в твоей полуночи глаз, — мое сердце
притихло пред сладострастьем таким:

— взблеск золотой гондолы увидел я на полуночных
водах, ныряющей, утопающей, мимо мелькающей золо-
той колыхалки-гондолы!

На мою ногу, на пляску лютую, кинула ты задорный
взгляд — вопрошающий, тающий колыхальный взгляд:

Только дважды шевельнули погремушкой твои ма-
ленькие руки — и уже колыхнулась моя нога и на лю-
тость пляски. —

Мои пятки вздыбились, пальцы ног моих вслушались
— понять тебя: носит же плясун свое ухо — в пальцах
ног!

К тебе прыгнул я: ты метнулась прочь от моего
прыжка; зазвил меня твоих взметных, метельных пря-
дей язык!

Прочь отпрыгнул я от тебя и от змеек твоих: и вот,
недвижна ты, полуоборотом ко мне, с глазами, полными
желанья.

Косыми взглядами — учила ты меня кривым путям;
на кривых путях учится моя нога — козням!

Я страшусь тебя вблизи, я люблю тебя вдали; твоё
бегство влечет-торопит меня, твоё искажение стопорит
меня: — я страдаю, но чего бы не выстрадал я ради тебя
охотно!

Чей холод опламеняет, чья ненависть обольщает, чье
бегство привораживает, чей посмех — подвигает:

— кто не ненавидел тебя, тебя, великую укротитель-
ницу, обольстительницу, искусительницу, искательницу

цу, находчицу! Кто не любил тебя, тебя, неповинную, нетерпеливую, детскооую ветрогонку-грешницу!

Куда теперь завлекаешь меня, ты, шальная невидаль и шалая удаль? И вот снова метнулась ты прочь от меня, ты, дикарка мне милая и неблагодарная!

Я пляшу тебе вслед, за тобою следую и по неприметному следу. Где же ты? Дай мне руку! Или хотя бы палец!

Здесь пещеры и чаща-глушь: мы заблудимся! — Стой! Задержись! Иль не видишь, как мелькают совы и летучие мыши.

Ты сова! Ты летучая мышь! Ты хочешь дурачить меня? Где мы? От собак научилась ты этому завыванью да тявканью.

Ты мило скрежещешь, скаля на меня белые зубы, твои злые глаза насакивают на меня из-под завихренной гривки!

Вот он, пляс через горы и долины: я охотник — хочешь быть собакой моей или серной моей?

Сюда, бок-о-бок со мной! Живо! Ты, злобная прыгунья! Сюда, наверх! Перемахни! — Горе! Вот и сам я невольно упал при прыжке!

О, взгляни, я повержен, ты, дерзкая, и молю о пощаде! Милей было бы мне с тобой — проходить тропую полюбезнее этой!

— тропую любви меж тихих пестрых кустов! Или по морю вдаль и вдоль: плавают там, пляшут там золотые рыбки!

Ты устала? Вверху над нами овцы и вечерние зори: разве не упоительно спать, когда овчары свирелят?

Ты так страшно устала? Я понесу тебя, только опустит руки! И если жажда томит тебя — есть у меня чем утолить ее, но твой рот не хочет этого пить! —

О ты, проклятая, юркая, изгибыш-змея, ведьма-скользунья! Куда ты пропала? Но на лице чувствую я два пятна и красные кляксы — след твоей руки!

Впрямь, я устал быть неотлучно твоим из овец овечьим овчаром! Послушай, ты, ведьма: пел я тебе до сих пор, теперь будешь ты у меня — вопить!

В такт моего бича будешь ты у меня плясать и вопить! Я ведь бича не забыл? — Нет!» —

*
* *
*

2.

Тогда так мне ответила жизнь и при этом заткнула себе выточенные уши:

«О, Заратустра! Не клескай так страшно своим бичом!, Ты ведь знаешь: шум убивает мысли, — а мне как раз приходят в голову такие нежные мысли.

Оба мы два Нетворидобра и Нетворизла. По ту сторону добра и зла нашли мы наш остров и наш луг зеленый — мы двое, и только! Потому уж должны мы быть добрыми друг к другу!

И если любимся мы не от всей души —, так ли уж нужно сатанеть друг на друга, когда любятся не от всей души?

А то, что к тебе я добра и часто добра через край, это ты знаешь: и все потому, что я завидую твоей мудрости. О, эта оголтелая старая дуреха-мудрость!

Если бы когда твоя мудрость сбежала от тебя, ах! тогда сбежала бы от тебя и моя любовь». —

Затем жизнь задумчиво оглянулась, огляделась и чуть слышно сказала: «О, Заратустра, не до конца ты мне верен!

Далеко не так сильно ты любишь меня, как уверяешь; я знаю, ты подумываешь скоро покинуть меня.

Есть на свете старый, пуд-пудом, тяжелый колокол-гудун: в ночь гудит он до самой пещеры твоей в горах: —

— чуть заслышишь ты о полночь, как тот колокол отбивает удары, и уже подумываешь ты о том, меж ударом первым и двенадцатым, —

— ты подумываешь, о Заратустра, я это знаю, скоро покинуть меня!» —

«Да, — ответил я, запинаясь, — но ты ведь знаешь — »
И я что-то сказал ей на ухо, в самую гущу ее путаных, желтых, безумных косматых лохм.

Ты з н а е ш ь это, о Заратустра? Этого никто не знает. — —

И мы посмотрели друг на друга, и кинули взгляд на зеленый луг, по которому пробегал как раз прохладой вечер, и заплакали оба. — Тогда жизнь была мне милее, чем когда-либо вся моя мудрость. —

Так говорил Заратустра.

*
* * *

3.

Р а з!
О муж! Внимай!
Д в а!
Что говорит глубь-полночь, знай!
Т р и!
«Спала... был срок —,
Ч е т ы р е!
Глубокий сон разбил звонарь: —
П я т ь!

О, мир глубок,
Ш е с т ь!
И глубже, чем дню дан намек.
С е м ь!
Скорбь — мир глубин —,
В о с е м ь!
Но радость глубже в мир вошла:
Д е в я т ь!
Стон скорби: «Сгинь!»
Д е с я т ь!
Но радость к вечности стрела —,
О д и н н а д ц а т ь!
— к глубокой вечности стрела!»
Д в е н а д ц а т ь!

*
* *
*

Семь печатей (или Песнь о «да» и «аминь»)

1.

Если я прорицатель и исполнен того духа пророчества, который бродит по высокому горному кряжу между двумя морями, —

между прошедшим и грядущим, бродит, как тяжелая туча, — душным низинам враг и всему, что устало и не в силах ни жить, ни умереть:

сверкнуть молнией готовый из темной груди и испу-
дительным лучом-светом, чреватый молниями: «да!» го-
ворят они «да!», смеются они под пророчество молний-
лучей: —

— блажен, однако, кто так чреват! И впрямь, долго тяжелым ненастьем будет тот нависать над горой, кто зажжет некогда свет грядущего! —

о, как не пламенеть мне страстно по вечности и по брачному кольцу колец — кольцу возвращения!

Никогда еще не встречал я женщины, от которой хотел бы детей, разве только ту женщину, которую я люблю: ибо я люблю тебя, о вечность!

И б о я л ю б л ю т е б я , о в е ч н о с т ь !

*
* * *

2.

Если мой гнев крушил когда гробницы, сдвигал пограничные столбы и скатывал раскрошенными старые скрижали в крутые пропасти:

Если моя насмешка сдувала когда истлелые слова, и я приходил, как метла для крестовиков-пауков и как провевающий ветер для старых душных склепов: —

Если, ликуя, сидел я когда у места, где старые погребены боги, благословляя мир, мир любя, вблизи памятников старым клеветникам на мир: —

— ибо даже церкви и гробницы бога люблю я, когда небо чистым оком глядит сквозь их обрушенные своды; охотно сижу я, подобно траве и красным макам, на обрушенных церквах —

О, как не пламенеть мне страстно по вечности и по брачному кольцу колец — кольцу возвращения?

Никогда еще не встречал я женщины, от которой хотел бы детей, разве только ту женщину, которую я люблю: ибо я люблю тебя, о вечность!

И б о я л ю б л ю т е б я , о в е ч н о с т ь !

*
* * *

3.

Если меня достигало когда дыхание, частица творящего дыхания и той небесной неволи, которая вынуждает даже случайные звезды водить хороводы:

Если я смеялся когда смехом творящей молнии, за которой, грохоча, но покорствуя, следует длительный гром деяния:

Если я играл за земляным столом богов с богами в кости, так что земля потрясалась и трескалась и извергала огненные реки: —

— ибо стол для богов земля, и дрожит она от творческих новых слов и от божественных бросков костей: —

О, как не пламенеть мне страстно по вечности и по брачному кольцу колец — кольцу возвращения?

Никогда еще не встречал я женщины, от которой хотел бы детей, разве только ту женщину, которую я люблю: ибо я люблю тебя, о вечность!

И б о я л ю б л ю т е б я , о в е ч н о с т ь !

*
* * *

4.

Если залпом пил я когда из той пенящейся кружки прыного настоя и смеси, где все так хорошо перемешано:

Если моя рука подливала когда наидалькое к ближайшему, и огонь к духу, и радость к страданию, и наилучшее к наилучшему:

Если сам я крупица той вызволяющей соли, чьей силой все так хорошо перемешано в кружке для смеси: —

— ибо есть такая соль, что связует добро со злом; и даже злейшее достойно пряной приправы и пеной перебежать через край: —

О, как не пламенеть мне страстно по вечности и по брачному кольцу колец — кольцу возвращения?

Никогда еще не встречал я женщины, от которой хотел бы детей, разве только ту женщину, которую я люблю: ибо я люблю тебя, о вечность!

И б о я л ю б л ю т е б я , о в е ч н о с т ь !

*
* * *

5.

Если мило мне море и все сродное морю, и милей всего, когда оно мне гневно перечит:

Если одержим я той страстью-радостью к исканию, которая гонит паруса к еще не открытым берегам, если страсть морехода таится в страсти-радости моей:

Если восклицало когда мое ликование: «Берег скрылся — спала с меня и последняя цепь, —

— безбрежность бушует кругом, далеко в просторе сверкает пространство и время! Воспрянь! восстань! старое сердце!» —

О, как не пламенеть мне страстно по вечности и по брачному кольцу колец — кольцу возвращения?

Никогда еще не встречал я женщины, от которой хотел бы детей, разве только ту женщину, которую я люблю: ибо я люблю тебя, о вечность!

И б о я л ю б л ю т е б я , о в е ч н о с т ь !

*
* * *

Если моя добродетель — добродетель танцора и я часто обеими ногами прыгал в золотисто-искристый смарагдовый восторг:

Если моя злоба — смеющаяся злоба и ее дом под навесами из роз и изгородями из лилий:

— ибо в смехе все злобное в дружном сборе, и все же освящено и оправдано своим собственным блаженством: —

И если в том мои альфа и омега, чтобы стало все тяжелое легким, всякое тело танцором, всякий дух птицей: и впрямь, вот они, мои альфа и омега! —

О, как не пламенеть мне страстно по вечности и по брачному кольцу колец — кольцу возвращения!

Никогда еще не встречал я женщины, от которой хотел бы детей, разве только ту женщину, которую я люблю: ибо я люблю тебя, о вечность!

И б о я л ю б л ю т е б я , о в е ч н о с т ь !



Если я напрягал когда над собою тихие небеса и на собственных крыльях в собственные же небеса улетал:

Если, играя, реял я в глубокой светозари далее и прилетала моей свободы птица-мудрость: —

— то так говорит птица-мудрость: «Взгляни, нет ни верха, ни низа! Кидайся, кружи, ныряй, выныряй, о легкий! Пой! перестань говорить!

— «не для тяжелых ли созданы все слова? Не лгут ли легкому все слова? Пой! перестань говорить!» —

О, как не пламенеть мне страстно по вечности и
брачному кольцу колец — кольцу возвращения?

Никогда еще не встречал я женщины, от которой х
тел бы детей, разве только ту женщину, которую я лю
лю: ибо я люблю тебя, о вечность!

И б о я л ю б л ю т е б я , о в е ч н о с т ь !

*

* * *

ТАК ГОВОРИЛ ЗАРАТУСТРА

Книга для всех и ни для кого

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ

Ах, где на свете совершались большие безумства, как не у сострадательных? И что на свете порождало больше страданий, как не безумства сострадательных?

Горе всем любящим, у которых нет в запасе другой высоты — той, что выше их сострадания!

Так когда-то говорил мне черт: «И у бога есть свой ад: то любовь его к людям».

И недавно довелось мне слышать, как он сказал людям: «Бог мертв; от своего сострадания к людям умер бог».

*Так говорил Заратустра
(часть II, с. 117)*

Жертва медовая

— И снова бежали месяцы и года над душой Заратустры, а он и не замечал этого; но волосы его побелели. Однажды, когда он сидел на камне перед своей берлогой и смотрел молча вдаль, — а хорошо там смотреть на море вдаль и далеко поверх извилистых бездн, — заходили задумчиво вокруг него звери его и наконец остановились перед ним.

«О, Заратустра, — сказали они, — ты, верно, высматриваешь свое счастье?» — «Что в счастье! — отвечал он, — я уже давно не стремлюсь к счастью, я стремлюсь к своему делу». — «О, Заратустра, — вторично заговорили звери, — ты это говоришь, как человек, у которого добра больше чем вдоволь. Не покоишься ли ты в небесно-лазорево́м озере счастья?» — «Эх вы, скоморохи, — ответил Заратустра и улыбнулся, — как удачно выбрали вы сравнение! Но вы знаете также, что мое счастье тяжелое, а не как текучая волна: оно нудит меня, и не отстает от меня, и подобно во всем растопленной смоле». —

Тогда снова задумчиво заходили вокруг него звери его и остановились вторично перед ним. «О, Заратустра, — сказали они, — так в о т о т ч е г о ты сам все желтее и темнее, хотя волосы твои и хотят выглядеть белыми и льняными! Погляди-ка, ты влип в беду, как в смолу!» — «Что за вздор городите вы, звери мои, — сказал Заратустра и засмеялся при этом, — впрямь, я грешил, когда говорил о смоле. Участь моя — участь всех плодов, когда они созрели. Это м е д в сосудах моих — он делает кровь мою гуще и душу мою молчаливей». —

«Пусть будет так, о Заратустра, — отвечали звери, подступая к нему вплотную, — не хочешь ли ты сегодня взойти на высокую гору? Воздух чист, и мир сегодня более открыт, чем когда». — «Да, милые звери, — отвечал он, — ваш совет превосходен и мне по сердцу: дай-ка взойду я сегодня на высокую гору! Но позаботьтесь, чтоб был там мед у меня под руками — желтый, белый, добрый, свежий как лед сотовый златомед. Ибо знайте, я хочу там наверху принести жертву медовую». —

Когда же Заратустра взошел на вершину горы, отослал он домой сопровождавших его зверей и увидел, что теперь он один: — тогда засмеялся он от всего сердца, огляделся и заговорил так:

Если я говорил о жертвах и жертвах медовых, то было только лукавством моей речи и, впрямь, полезной причудой! Здесь наверху я уже могу говорить свободнее, чем перед берлогами отшельников и домашними животными отшельников.

Что жертвы! Я расточаю дары, мне подаренные, я расточитель о тысяче рук: как смел бы я еще называть это — жертвоприношением!

И когда я меду алкал, алкал я только приманки и сладкой липкой патоки, до которой падки даже ворчунно-медведи и диковинные угрюмые злые птицы:

— алкал как заманчивой приманки, в какой терпят нужду охотники да рыболовы. О, если мир словно темный бор звериный и всех диких охотников потешный сад, то мне он тем более мнится бездонным богатым морем,

— морем, полным радужных рыб и раков, которыми не прочь полакомиться и боги, и стали б они на нем рыбаками и забрасывателями сетей: так богат мир всякими дивами, и большими и малыми!

И особенно мир человеческий, море человеческое: — в него забрасываю я мой золотой прутик-удочку и приговариваю: разверзись ты, бездна человеческая!

Разверзись и выбрось мне твоих рыб и сверкачей-раков! Моими заманчивыми приманками приманю я сегодня наидиковинных рыб человеческих!

— само счастье свое забрасываю я во все стороны света, на восход, на запад и на полдень, поглядеть, не научится ли много рыб человеческих трепетать и дергаться у моего счастья.

Пока, клюнув приманку моих острых скрытых крючков, не выплеснутся на мою высоту эти препестрые пескаррики глуби глубинной к злейшему из ловцов рыб человеческих.

Весь я так во вглубь и насквозь, я влеку, привлекаю ввысь, увлекаю, возвышаю, я вовлекатель, укротитель, каратель, себе некогда не напрасно внушивший: «Стань самим собою!»

Итак, пусть же люди теперь поднимаются ко мне на верх: ибо я жду еще знамений, что приспело время моего нисхождения, еще сам я не иду к закату-погибели, как то суждено мне среди людей.

Потому и жду я здесь, коварно и насмешливо, на высоких горах, ни нетерпеливый, ни терпеливый, скорее как один из тех, кто разучился даже терпению, — ибо он больше не «терпит».

Видно, судьба моя предоставляет мне время: пожалуй, она обо мне позабыла! Или сидит за большим камнем в тени и ловит мух?

И впрямь, я люблю ее, мою вечную судьбу, за то, что она не подстрекает, не торопит меня и предоставляет мне время для проказ и козней: потому и взошел я сегодня для рыбной ловли на эту высокую гору.

Ловил ли когда человек рыб на высоких горах? И если даже и сумасбродство все то, что здесь наверху я хочу и творю: все же лучше так, чем если бы там внизу

я стал торжественным от ожидания и зеленым и желтым —

— стал бы напыщенным злопыхателем от ожидания, священным завывай-ураганом гор, нетерпеливым, взывающим с высот в долины: «Внимайте, или я казнь вас бичом божьим!»

Не скажу, чтобы я сердился из-за этого на таких злоблюев: с них и смеха моего хватит! Им, наверное, не терпится, этим великим греми-барабанщикам, которые заговорят или сегодня, или никогда!

Но я и моя судьба — мы не говорим к сегодня, мы не говорим и к никогда: мы запаслись для говорения и терпением, и временем, и сверхвременем. Ибо должен же он когда-нибудь прийти и мимо пройти не смеет.

Кто же должен когда-нибудь прийти и мимо пройти не смеет? Наш великий С л у ч а й, вот оно, наше великое, наше далекое царство человеческое, царство Заратустры о тысячу лет — —

Далеко ли еще до этого «далекого», что мне до того! Но потому установлено оно для меня не менее твердо, — обеими ногами непоколебимо стою я на этом основании,

— на вечном основании, на твердом первозданном камне, на этом превысоком, претвердом первозданном кряже, куда все ветры слетаются как к тучеразделу с вопросом: где? и откуда? и куда теперь?

Смейся же, смейся, моя светлая святая злоба! Свергай с высоких гор свой сверкающий посмех-смех! Приванивай своим сверканием ко мне наилучших рыб человеческих!

И все, что принадлежит м н е во всех морях, все мое и что ни есть мое для меня во всех вещах — э т о выуди мне, э т о вознеси ко мне в мою высь: этого я жду, злейший из всех рыболовов.

На простор, на простор, моя удочка! погрузись, погрузись, моего счастья приманка! Капельно капай слад-

чайшей росой, моего сердца мед! Вонзись, моя удочка, в брюхо всей черной унылости!

На простор, на простор, ты, око мое! О, как много морей вокруг меня, какое сумеречное грядущее человеческое! А надо мной — какая алая тишина! Какое безоблачное молчание!



Крик в беде

На следующий день сидел опять Заратустра на своем камне перед берлогой, пока звери его рыскали по свету, чтобы принести домой свежую пищу, — а кстати и свежего меду: ибо Заратустра издержал и извел старый мед до последней капли. Когда же он так сидел, с посохом в руке, и очерчивал на земле тень своего тела, в глубоком раздумье, и впрямь! не о себе и своей тени, — испугался внезапно он и вздрогнул: ибо увидел рядом со своей тенью еще чью-то чужую тень. И когда он быстро оглянулся и вскочил с камня, гляди, рядом с ним стоял прорицатель, тот самый, которого как-то раз он поил и кормил за своим столом, провозвестник великой усталости, учивший: «Все безразлично, ничто не вознаграждается, в мире нет смысла, знание удушает!» Но лицо его с тех пор преобразилось; и когда Заратустра ему в глаза заглянул, сердце Заратустры испугалось вторично: столько дурных предвестий и пепельно-серых молний пробежало по этому лицу.

Прорицатель же заметил, что происходит в душе Заратустры, утер себе рукою лицо, будто желая стереть его вовсе; то же сделал и Заратустра. И когда оба они таким образом молчаливо оправились и ободрились,

подали они друг другу руки, в знак того, что желательно им вновь узнать друг друга.

«Добро пожаловать, — сказал Заратустра, — ты, прорицатель великой усталости, не напрасно был ты как-то раз моим состоятельным и другом-гостем. Ешь и пей у меня и сегодня, и прости, что довольный старик сядет рядом с тобой сотрапезником!» — «Довольный старик? — отвечал, качая головой, прорицатель, — но кем бы ты ни был или быть ни хотел, о Заратустра, куда как долго пробыл ты здесь наверху, — твой челнок через малый срок не будет больше сидеть на суше!» — «А разве я сижу на суше?» — спросил, смеясь, Заратустра. — «Волны вокруг твоей горы, — отвечал прорицатель, — громоздятся все выше и выше, волны великой беды и уныния: они вскоре и твой челнок поднимут и тебя с собой унесут». — Заратустра на это промолчал и дивился. — «Разве не слышишь? — продолжал прорицатель, — не грохочет ли, не клокочет ли там в глубине?» — Заратустра опять промолчал и прислушался: и услышал он протяжный, длительный крик, который пропасть перебрасывала пропасти, передавая все дальше, ибо ни одна не хотела удержать его: так зловеще звучал он.

«Ты дурной провозвестник, — проговорил наконец Заратустра, — это крик о помощи, это крик человека, он, верно, исходит из черных вод. Но что мне до беды человеческой! Последний грех, который я себе приберег, — ты, верно, знаешь, как называется он?»

— «С о с т р а д а н и е м! — отвечал прорицатель от глубины переполненного сердца и воздел обе руки к небу, — о, Заратустра, я пришел, чтобы ввести тебя в твой последний грех!» —

Но едва были выговорены эти слова, как крик раздался вторично, и еще более протяжно и пугливо, чем прежде, но уже гораздо ближе. «Слышишь? Слышишь, о Заратустра? — воскликнул прорицатель, — к тебе об-

ращен этот крик, тебя призывает он: приди, приди, время пришло, время не ждет!» —

Заратустра продолжал молчать, смущенный и потрясенный; наконец он спросил, как человек, который колеблется душой: «Но кто же так зовет меня?»

«Да ты ведь знаешь кто, — ответил резко прорицатель, — что же ты притворяешься? Это в ы с ш и й ч е л о в е к криком взывает к тебе!»

«Высший человек? — выкрикнул Заратустра, объявляя ужасом, — что е м у надо? Что е м у надо? Высший человек? Что ему здесь надо?» — и кожа его покрылась потом.

Но прорицатель не отвечал на испуг Заратустры, а все прислушивался и прислушивался к глубине бездны. Однако, когда там надолго водворилось безмолвие, он оглянулся и увидел, что Заратустра стоит и дрожит.

«О, Заратустра, — начал он скорбным голосом, — ты стоишь не так, как тот, кто готов закружиться от счастья: плясать придется тебе, чтобы не упасть!

Но если бы ты и захотел предо мною пуститься в пляс и проделывать все свои прыжки-выверты: все же никто да не посмеет мне сказать: «Смотри-ка, вот пляшет последний весельчак на земле!»

Напрасно взошел бы на эту вершину тот, кто хотел бы поискать здесь т а к о г о: берлоги нашел бы он, и берлоги в берлогах, тайники для таящихся, но не рудники счастья, не сокровищницы, не новые золотоносные жилы счастья.

Счастье — да где найти счастье у таких заживо погребенных, у отшельников! Иль я должен искать последнее счастье на островах блаженных и далеко, далеко среди позабытых морей?

Но все безразлично, ничто не вознаграждается ничем, тщетны искания, и нет больше на свете никаких островов блаженных!» — —

Так вздыхал прорицатель; но при его последнем вздохе стал Заратустра снова светел и уверен в себе, как человек, вышедший на свет из глубокой расщелины. «Нет! Нет! Трижды нет! — воскликнул он зычным голосом и погладил себе бороду, — э т о мне лучше знать! Есть еще острова блаженных! Молчи, ни слова об э т о м, ты, вздыхающий мешок скорби!

Перестань плескаться об э т о м, ты, дождевая туча полудня! Разве уже не стою я перед тобой, мокрый от твоего уныния и весь, как собака, облитый водой?

Вот отряхнусь я и убегу от тебя, чтобы снова просохнуть: здесь нечему тебе удивляться! Или я кажусь тебе не придворным по вежливости? Но здесь м о й двор.

А что до твоего высшего человека: добро! я живо разыщу его в тех лесах: о т т у д а исходил его крик. Быть может, его преследует там лютый зверь.

Он в м о и х владениях: здесь не должна с ним приключиться беда! И впрямь, немало у меня лютых зверей». —

С этими словами собрался было Заратустра идти. Тогда проговорил прорицатель: «О, Заратустра, ты — шельма!

Я-то знаю: ты хочешь отделаться от меня! Ты даже готов убежать в леса и гоняться там за дикими зверями!

Но кой прок тебе от этого? Вечером ты опять на меня натолкнешься; в твоей же берлоге буду я здесь сидеть, терпеливый и тяжелый, как чурбан, — и тебя ожидать!»

«Пусть будет так! — отозвался, уходя, Заратустра, — и все мое в моей берлоге принадлежит и тебе, моему дорогому гостю!

А если ты в ней еще и меду найдешь, что ж! вылакай его, ты, медведь-ворчун, и услади себе душу! Вечером же мы оба будем в духе,

— будем в духе и радостны, что пришел к концу этот день! И сам ты будешь под мои песни плясать, как мой ученый медведь-плясун.

Ты мне не веришь! Ты головой качаешь? Веселей! Веселей!

Старый медведь! Ведь и я — прорицатель».

Так говорил Заратустра.

*
* *
*

Разговор с королями

Еще и часу не пробыл Заратустра в пути среди своих гор и лесов, как вдруг увидел странное шествие. Как раз по дороге, по которой он думал спуститься, шагали два короля, украшенные коронами и пурпурными поясами, пестрые, словно птицы фламинго: они гнали перед собой навьюченного осла. «Что нужно этим королям в моем царстве?» — сказал Заратустра изумленно в сердце своем и поспешно спрятался за куст. Когда же короли с ним поравнялись, он произнес, вполголоса, как человек, разговаривающий с самим собою: «Странно! Странно! Как это вяжется одно с другим? Я вижу двух королей — и только одного осла!»

Тут оба короля остановились, улыбнулись, поглядели в ту сторону, откуда шел голос, и затем поглядели друг другу в лицо. «Пожалуй, такие мысли приходят в голову и в нашем кругу, — сказал король тот, что справа, — но их не высказывают вслух».

Король же тот, что слева, пожал плечами и отвечал: «Это, пожалуй, козий пастух. Или отшельник, слишком долго проживший среди утесов и деревьев. Отсутствие всякого общества также портит добрые нравы».

«Добрые нравы? — с негодованием и горечью возразил другой король, — а от кого же спасаемся мы бегством, как не от «добрых нравов»? Как не от нашего хорошего общества?»

Впрямь, лучше жить среди отшельников и козьих пастухов, чем с нашей раззолоченной, фальшивой, набеленно-нарумяненной чернью, — хотя она и называет себя «хорошим обществом»,

— хотя она и называет себя «знатью». Но все там фальшиво и гнило, особенно кровь, благодаря застарелым дурным болезням и еще того худшим врачевателям.

По мне всех лучше и милей сегодня здоровый мужик: он груб, лукав, упрям, долготерпелив — вот кто сегодня всех знатнее по роду.

Мужик сегодня лучший из лучших; и мужичьей породе быть господином! Но теперь царство черни, — я не хочу себя больше морочить. Чернь же значит: мешанина.

Чернь-мешанина: здесь все вперемежку — святой и стервец, и дворянин, и иудей, и всякая тварь из Ноева ковчега.

Добрые нравы! Все у нас фальшь и гниль. Никто уже не умеет почитать: от всего э т о г о бежим мы без оглядки. Они приторно-угодливые, назойливые собаки, они золотят пальмовые листья.

Отвращение душит меня, оттого что мы, короли, сами стали фальшивыми, до самых пят увешанными и переряженными в старую пожелтевшую пышность прадедов, показными медалями стали мы для глупцов из глупцов, и пройдох из пройдох, и для всех тех, кто занят сегодня всяким шахермахерством властью!

Мы не первые — и все-таки должны з н а ч и т ь с я первыми: этим обманом пресытились мы, наконец, до отвращения.

Сволочи уступили мы дорогу, всем этим горлопанам и распроплевным писакам-поплевкам, этой торгашеской вони, корчам тщеславия, смердящему дыханию — : тьфу, жить среди этакой сволочи,

— тьфу, значиться первыми среди этакой сволочи! Ах, отвращение! Отвращение! Отвращение! Кой толк теперь в нас, королях!» —

«Это вновь приступ твоей старой болезни, — сказал тут король тот, что слева, — приступ отвращения, мой бедный брат. Но ты ведь знаешь, нас кто-то подслушивает».

И тотчас Заратустра, широко распахнувший глаза и уши на эти речи, приподнялся из-за своего прикрытия, подошел вплотную к королям и заговорил:

«Тот, кто вас слушает, тот, кто вас охотно слушает, о короли, называется Заратустрой.

Я Заратустра, который некогда говорил: «Кой толк теперь в королях!» Простите мне, я обрадовался, когда услышал, как вы сказали друг другу: «Кой толк в нас, королях!»

Но здесь мое царство и моя держава: что же ищите вы в моем царстве? Но, быть может, вы нашли по дороге то, что я ищу: высшего человека».

Чуть услышали это короли, ударили они себя в грудь и в один голос выговорили: «Мы узнаны!

Мечом этого слова рассекаешь ты нашего сердца непроницаемый мрак. Ты открыл нашу нужду, потому, не скроем! мы пустились в путь, чтобы найти высшего человека —

— человека, который выше нас: хотя мы и короли. Ему ведем мы этого осла. Высшему человеку дано быть на земле и высшим господином.

Нет более жестокого несчастья для судеб человеческих, чем когда сильные земли вместе с тем не первые люди. Тогда все становится фальшивым, и вымороченным, и чудовищным.

И если при этом они еще и сами что ни есть последние твари и скорее скоты, чем люди: тогда все поднимается и поднимается чернь в цене и, наконец, сама добродетель черни говорит: «Смотри, только я добродетель!» —

Что довелось мне услышать? — отвечал Заратустра; что за мудрость у королей! Я восхищен и, впрямь, мне даже хочется сложить об этом стишок:

— хотя бы стишок такой годился не для всяких ушей. Тому давно, как я разучился применяться к длинным ушам. Ну же, смелей! Не робей!

(Но тут случилось так, что и осел заговорил: но сказал он явственно и со злым умыслом: «Да — и я».)

Был год, — скажу, спасенья первый год —
Пьян без вина Сивиллы вещий рот:
«Увы, развал!
Падение, какого мир не знал!
Рим снизился до шлюхи, до борделя!
А Цезарь — до скота! Бог — сын Иудей!»

*
* * *

2.

Этими стихами Заратустры усладились короли; и король тот, что справа, сказал: «О, Заратустра, как хорошо поступили мы, что отравились тебя повидать!

Твои враги показали нам твой образ в своем зеркале: оттуда выглядывал ты дьявольской харей и с язвительным смехом: так что мы боялись тебя.

Но что пользы! Все сызнава жалил ты наши уши и сердца своими притчами. И сказали мы наконец: что нам до того, как он выглядит!

Мы должны у с л ы ш а т ь его, его, который учит: «Умейте мир любить, как средство к новым войнам, и короткий мир больше, чем долгий!»

Никто никогда не высказывал таких воинственных слов: «Что хорошо? Быть храбрым хорошо. Добрая война освящает любое дело».

О, Заратустра, наших предков кровь взволновалась при этих словах в нашем теле: то была как бы речь весны к старым винным бочкам.

Когда мечи перебегали скользя по мечам, словно в красных крапинах змеи, тогда любо было жить нашим предкам: всякое солнце мира казалось им блеклым и мерклым, долгий же мир вгонял в стыд.

Как вздыхали они, наши предки, когда видели на стене бликометные высохшие мечи! Подобно им жаждали они войны. Ибо меч хочет упиться кровью и сверкает от алкания». — —

— Пока короли так пылко беседовали и болтали о счастье своих предков, нашла на Заратустру немалая охота подтрунить над их пылом: ибо ясно было, что самых миролюбивых королей видел он перед собой, королей с такими старыми и тонкими лицами. Но он перешибил себя. «Добро, — сказал он, — туда ведет дорога, там находится берлога Заратустры; и пусть у этого дня будет долгий вечер! Теперь же меня спешно отзывает от вас крик в беде.

Это честь для моей берлоги, если короли согласны в ней сидеть и ждать: впрочем, ждать вам придется долго!

И пускай! Что за беда! Где лучше учатся сегодня ждать, как не при дворах? И вся добродетель королей, какая еще осталась у них, — не называется ли она сегодня у м е н и е м ж д а т ь?»

Так говорил Заратустра.

*
* * *

И шел Заратустра задумчиво, все удаляясь вглубь, все лесами и мимо топей-трясин; и, как это случается с каждым, кто продумывает трудные мысли, наступил он при этом нечаянно на человека. И гляди, как брызнут вдруг ему разом в лицо крик боли, и два проклятья, и двадцать прескверных ругательств: так что с испуга он даже палку занес и еще прибил того, на кого наступил. Но тотчас опомнился он; и сердце его засмеялось над нелепостью, которую он сейчас совершил.

«Прости, — сказал он попавшему под ноги, когда тот в ярости приподнялся и сел, — прости и прими от меня прежде всего некую притчу.

Как странник, мечтающий о чем-то далеком, натывается нечаянно в уединенной улице на спящую собаку, на собаку, которая греется на солнце:

— как тут они оба вскакивают и насакивают друг на друга, словно два смертельных врага, эти двое на смерть перепуганные: так случилось и с нами.

И однако! однако немного нужно было, чтобы они приласкали друг друга, эта собака и этот одинокий человек! Ведь оба они — одинокие!»

— «Кто бы ты ни был, — сказал все еще в ярости попавшийся под ноги, — ты и притчей своей подступил слишком близко ко мне, а не только ногой!

Вглядись, разве я собака?» — и при этом сидевший поднялся и вытащил из болота обнаженную руку. Ибо до этого лежал он плашмя на земле, неприметный, незримый, подобно тем, кто подстерегает болотную дичь.

«Да что ты тут делаешь! — воскликнул в испуге Заратустра, ибо заметил, что по обнаженной руке густо стекала кровь. — Что случилось с тобой? Не укусило ли тебя, горемычный, зловердное животное?»

Истекающий кровью засмеялся, но все еще в сердцах. «Тебе-то какое дело! — сказал он и собрался было уходить. — Здесь я у себя дома и в своих пределах. Пусть кто угодно спрашивает меня: но всякому остолопу вряд ли стану я отвечать».

«Ты заблуждаешься, — сказал Заратустра сердобольно и крепко ухватил его, — ты заблуждаешься: здесь ты не у себя, а в моем царстве, и здесь у меня ни с кем не должна приключиться беда.

Называй меня, пожалуй, как тебе угодно, — я тот, кем быть я должен. Сам же я называю себя Заратустрой.

Добро! туда наверх идет дорога к берлоге Заратустры: тут не далеко — не хочешь ли ты у меня залечить свои раны?

Плохо приходилось тебе, горемычный, в этой жизни: сперва укусило тебя животное, а затем — затем на тебя наступил человек!» — —

Но когда попавший под ноги услышал имя Заратустры, весь он преобразился. «Что же со мной! — воскликнул он, — к т о же еще занимает меня в этой жизни, как не этот единственный человек, Заратустра, и это единственное животное, которое питается кровью, кровососная пиявка?

Пиявки ради лежал я у этого болота, подобно, рыбаку, и моя опущенная рука была уже десять раз укушена, как вдруг еще куда более прекрасная пиявка кусает меня, взыскуя крови моей, сам Заратустра!

О счастье! О чудо! Благословен этот день, завлекший меня в это болото! Благословенна наилучшая, наживучая кровососная банка из всех, какие только ныне живут, благословенна великая пиявка совести Заратустра!» —

Так говорил попавший под ноги; и Заратустра радовался его словам и их тонкому почтительному способу выражения. «Кто ты? — спросил он и подал

ему руку. — Между нами многое надо выяснить и выявить: но уже наступает, кажется, светлый, ясный день».

«Я с о в е с т л и в ы й д у х о м, — отвечал спрошенный, — и в делах духа вряд ли кто другой будет строже, уже и тверже меня, исключая того, от кого я этому научился, самого Заратустры.

Лучше ничего не знать, чем знать многое наполовину! Лучше быть глупцом за свой страх, чем мудрым по чужой указке! Я — доискиваюсь основания:

— что с того, велико оно или мало? Называется ли оно болотом или небом? Пяди основания для меня достаточно: если оно действительно основание и почва!

— пяди основания: на нем можно стоять. В истинном знании — наукознании-совести нет ничего великого и ничего малого».

«Так ты, быть может, пиявковед? — спросил Заратустра, — и ты прослеживаешь пиявку до последних оснований, о совестливый?»

«О, Заратустра, — отвечал попавший под ноги, — это было бы чем-то чудовищным, как осмелился бы я дерзнуть на такое!

Но я, действительно, науковед и знаток — по части м о з г а пиявки: — это м о й мир!

Да, это мир! Но прости, что здесь заговорила во мне гордость, ибо здесь нет мне равного. Потому и сказал я: «Здесь я у себя дома».

О, как долго прослеживаю я это единственное, мозг пиявки, чтобы скользкая истина не ускользнула уже здесь от меня! Здесь м о е царство!

— ради него отбросил я все прочее прочь, ради него все прочее стало для меня безразличным; и вплотную рядом с моим знанием покоится мое черное незнание.

Самосознание — совесть моего духа требует от меня, чтобы одно я знал, а все прочее не знал: меня воротит от всех половинчатых духом, от всех туманных, вознесенных, мечтательных.

Где кончается моя честность, там я слеп и хочу быть слепым. Но где я хочу знать, там-то хочу я быть и честным, то есть твердым, строгим, узким, жестким, непреклонным.

Однажды ты говорил, о Заратустра: «Дух есть жизнь, которая сама режет по живому», и вот это влекло и завлекло меня к твоему учению. И впрямь, собственной кровью умножал я собственное знание!»

— «Как доказывает сама очевидность», — перебил его Заратустра, ибо кровь все еще стекала по обнаженной руке совестливого. По меньшей мере десять пиявок впились в нее.

«О ты, диковинный попутчик, сколь многое доказывает мне сейчас эта очевидность — ты же сам! И, быть может, не все следовало бы мне вливать в твои строгие уши!»

Добро! Так расстанемся здесь! Но мне хотелось бы вновь с тобой встретиться. Туда наверх ведет дорога к моей берлоге: сегодня на ночь будь ты у меня дорогим гостем!

Хотелось бы мне заглядить также и вину перед твоим телом, когда Заратустра наступил на тебя ногами. Об этом я подумаю. А сейчас меня спешно отзывает крик в беде».

Так говорил Заратустра.

*
* * *

1.

Когда же Заратустра обогнул скалу, увидел он, не подалеку чуть ниже, на той же дороге, человека, который дергался всем телом как бесноватый и наконец повергся животом на землю. «Стой! — проговорил Заратустра своему сердцу, — тот человек, должно быть, высший человек, от него исходил тот горестный крик в беде, — пойду, посмотрю, нельзя ли ему чем помочь». Когда же он подбежал к месту, где на земле лежал человек, он увидел дрожащего старика с застывшим взором; и как ни старался Заратустра поднять его и снова поставить на ноги, все было тщетно. Казалось, несчастный и не замечал, что кто-то хлопочет над ним; напротив, он непрестанно озирался, с трогательными жестами, как человек всеми на свете покинутый и сам покинувший свет. В конце концов, после длительного дрожания, подергивания и корчей, начал он так сетовать:

Кому согреть, кому любить меня?
О, дайте жар ладоней!
О, дайте жаровни сердца!
В страхе, простертый,
Как полутруп,
Которому обогревают ноги, —
В горячке, ах! в ознобе незнакомом,
Дрожа от льдистых-острых стрел мороза,
Тобой гонимый, мысль!
Безыменный! Сокрытый! Зловеще-жуткий!
Ты, из-за туч охотник!
Ты, глаз-насмешник, из мрака соглядатай:
— Так лежу я,
Верчусь и корчусь я,

Терзаем муками ада,
Пронзенный
Тобою, грозный охотник,
Ты, незнакомый — бог!

Так глубже!
Еще раз глубже!
Язвы, пронзи мне сердце!
К чему же муки
От тупозубья стрел?
Что вновь глядишь ты,
Мук человеческих алча,
Злорадным молнеоким взором бога?
Убить? — так нет же!
Лишь мучить, мучить!
К чему же мучить
М е н я, злорадный незнакомый бог? —

А-ах! Ко мне тайком?
В такую полночь, ты,
Зачем? скажи!
Что давишь? душишь? —
А! — слишком близко!
Прочь! Прочь!
Ты вздох мой слышишь,
Подслушиваешь сердце,
Ты, злозавистливый, —
К чему же эта зависть?
Прочь! Прочь! И лестница к чему?
Ты хочешь в сердце,
В н у т р ь, —
Проникнуть, в ту затаенность
Моих дум проникнуть?
Бесстыдный! Незнакомый — вор!
Скажи, что хочешь выкрасть?
Скажи, что хочешь выведать?
Скажи, что хочешь вымучить,

Мучитель-кат!
Ты — бог-палач!
Иль мне, как псу, у ног твоих
Валяться, ластясь?
Себя отдав, в восторге вне себя
Тебе — любовно завилать?

Тщетно! Жаль дальше,
Грозное жало! Нет,
Не пес — лишь дичь тебе я,
Свирепый охотник!
Твой самый гордый пленник,
Ты, из-за туч разбойник!
Так выскажи!
Что хочешь, ты, грабитель при дороге?
Ты, скрытый в молниях! Незнакомый! Что?
Так выскажи, мне незнакомый бог! — —

Как? выкупа?
Какой же выкуп дать?
Будь спросом щедр — так гордость мнит моя!
И речью скуп — так мнит другая гордость!
А-ах!

Меня — ты алчешь? да?
Меня — всего?

А-ах!
И мучаешь, глупец, — мою
Замучиваешь гордость —
О дай л ю б о в ь — кому согреть?
Любить меня? — Дай жар ладоней,
Дай мне жаровни сердца,
Мне, одинокому,
Дай лед, ах! — семикратный лед
Тоску рождает,
По врагам тоску,
Дай, сдайся, да!

О, грозный враг,
Ты — мне! — —

Ушел!
Ах, сам бежал он,
Единственный, последний
Мой спутник и товарищ,
Мой мощный враг,
Мой незнакомец,
Мой бог-палач! —

— Нет! Возвратись
Со всеми муками!
К последнему из одиноких,
О, возвратись!
Ах, слез ручьи мои вослед бегут
К тебе бегом!
И тот последний сердца пламень —
К тебе огнем!
О, возвратись!
Мой незнакомый бог! Ты боль! Ты счастье —
Мое последнее!

*
* * *

2.

— Но здесь Заратустра не мог себя далее сдерживать, поднял свою палку и что есть сил стал колотить ею сетующего. «Прекрати! — закричал он ему со злобным смехом, — прекрати, ты, комедиант! Ты, фальшивомонетчик! Ты, врожденный лжец! Я узнаю тебя!

Уж отогрею я тебе ноги, ты, скверный кудесник, таким, как ты, мастер я насыпать горячих!»

— «Оставь, — сказал старик и вскочил с земли, — не бей больше, о Заратустра! Я ведь только представлялся!»

Таковы обычные приемы моего искусства; тебя самого хотел я поставить на пробу, давая тебе этот пробный спектакль! И впрямь, ты раскусил меня!

Но и ты — крепко дал мне себя попробовать: т в е р д ты, мудрый Заратустра! Твердо бьешь ты своими «истинами», твоя дубинка добилась от меня — э т о й истины!»

— «Не льсти, — отвечал Заратустра, все еще возбужденный и мрачно взирая на него, — ты, врожденный комедиант! Ты лжив: что ты там толкуешь об — истине!»

Ты павлин из павлинов, море тщеславия, ч т о ты там разыгрывал передо мной, ты, скверный кудесник, в к о г о должен был я поверить, когда ты сетовал, напялив на себя эту личину?»

«К а ю щ е г о с я д у х о м, — сказал старик, — е г о представлял я: ты сам некогда изобрел это слово —

— поэта и кудесника, который обращает, наконец, свой дух против самого себя, преображенного, который замерзает от своего дурного знания и самосознания, от своей совести.

И согласишься: понадобилось немало времени, о Заратустра, пока ты проник в мое искусство и ложь! Ты в е р и л в мою беду, когда поддерживал мне голову обеими руками, —

— я слышал, как ты сетовал: «Его слишком мало любили, слишком мало любили!» То, что я тебя так ловко обморочил, от этого ликовала внутри меня моя злоба».

«Ты обморочивал людей и похитрей моего, — жестко сказал Заратустра. — Я себя не оберегаю от оборотов-обманщиков, я д о л ж е н быть неосторожным: так хочет мой жребий.

Ты же — д о л ж е н морочить: настолько-то я тебя знаю! Ты всегда должен быть дву-, тре-, четыре- и даже пятисмысленным! И то, в чем ты сейчас сознался, было для меня далеко не достаточно правдивым и не достаточно лживым!

Ты скверный фальшивомонетчик, как мог ты поступить иначе? Ты даже свою болезнь нарумянил бы, если бы показался своему врачу голым.

Так нарумянил ты только сейчас предо мною свою ложь, когда говорил: «я ведь т о л ь к о представлялся!» Во всем этом было и нечто с е р ь е з н о е, ты сам нечто вроде кающегося духом!

Да, я-то разгадываю тебя: ты для всех сумел стать кудесником, но для себя не осталось у тебя больше ни лукавства, ни лжи — сам ты для себя не кудесник!

Ты пожинал отвращение, как свою единственную истину. Ни одного непритворного слова не дожидаться от тебя, но твой рот: именно твое отвращение прилипло к твоему рту». — —

— «Да кто же ты? — закричал тут непокорливым голосом старый кудесник, — кто смеет так говорить со м н о й, величайшим среди всех ныне живущих?» — и зеленая молния сверкнула из его глаз на Заратустру. Но мгновенно преобразился он и сказал печально:

«О, Заратустра, я устал, меня воротит от моего кудесничества, я не в е л и к, что мне притворяться! Но — тебе это хорошо известно — я искал величия!

Великого человека хотел я представлять и многих убедил в этом: но эта ложь была свыше моих сил. Об нее сокрушаюсь я.

О, Заратустра, все во мне ложь; но то, что я сокрушаюсь, это мое крушение — оно п о д л и н н о!» —

«Тебе делает честь, — проговорил угрюмо, глядя в сторону, Заратустра, — тебе делает честь, что ты искал величия, но это же и выдает тебя. Ты не велик.

Ты скверный старый кудесник, э т о и есть твое наилучшее и самое честное, и это я чту в тебе — то, что ты устал от самого себя и сказал: «Я не велик».

Я тебя чту как кающегося духом: и пусть то как вспых, как вскрик, но этот единый миг был бы — искренним.

Но скажи, что ищешь ты здесь среди м о и х лесов и скал? И когда ты лег ради м е н я поперек дороги, чего ради хотел ты меня испробовать? —

— в чем искушал ты м е н я? —

Так говорил Заратустра, и глаза его метали искры. Старый кудесник минуту, другую молчал, затем он сказал: «Я искушал тебя? Я — я только искусно ищущу.

О, Заратустра, я ищущу искреннего, истинного, простого, прямого, немудреного, я ищущу человека честнейшей честности, сосуда мудрости, праведника познания, великого человека!

Разве ты не знаешь, о Заратустра! Я и щ у З а р а т у с т р у».

— И здесь воцарилось долгое молчание между ними; Заратустра же глубоко погрузился в себя, так что даже закрыл глаза. Но затем, возвращаясь к своему собеседнику, схватил он кудесника за руку и сказал, исполненный любезности и лукавства:

«Добро! Туда наверх ведет дорога, там берлога Заратустры. В ней можешь ты искать, кого хотел бы найти.

И попроси совета у моих зверей, у моего орла и моей змеи: пусть помогут они тебе искать. А берлога моя обширна.

Впрочем, и я — я не встречал еще ни разу великого человека. Для великого даже око утонченнейших сегодня грубо. Теперь царство черни.

Немало уже встречал я таких, которые тянулись и надувались, а народ кричал: «Смотрите, вот великий че-

ловек!» Но что толку во всех раздувальных мехах! В конце концов оттуда вырвется залпом воздух.

В конце концов лопнет лягушка, которая слишком долго надувалась: тогда-то и вырвется залпом воздух. Ткнуть в брюхо раздутому — вот славная забава. Запомните же это, мальчики!

Сегодня день черни: и кто там з н а е т, что велико, что мало! Кто там счастливо домогался величия! Только дурак: дуракам счастье.

Ты ищешь великих людей, ты, диковинный дурак? Кто н а у ч и л тебя этому? Время ли сегодня для такого дела? О ты, скверный искатель, что искательно искушаешь ты меня?» — —

Так говорил Заратустра, утешенный сердцем, и пошел смеясь своей дорогой.



Безработный папа

Немного погодя, после того как Заратустра отделался от кудесника, увидел он снова неизвестного, сидящего при дороге, по которой он шел, а именно черного длинного человека с сухощавым бледным лицом: человек этот крайне раздосадовал его. «Горе, — молвил он своему сердцу, — вот сидит омулненное уныние, оно, думается мне, из породы жрецов: что нужно и м в моем царстве?

Как! Едва убежал я от того кудесника: и уже другой чернокнижник перебегает мне дорогу, —

— какой-нибудь бесовских дел мастер с руконаложением, темный чудотворец божьей милостью, миропомазанный клеветник на мир, чтобы его черт побрал!

Но черт никогда не бывает на месте, где ему как раз место: всегда приходит он слишком поздно, этот проклятый карлик и колченожка!» —

Так чертыхался Заратустра в сердце своем и подумывал, как бы это ему, глядя в сторону, прошмыгнуть мимо черного человека: а смотри, вышло по-иному. Ибо в это мгновение сидевший заметил его и, несколько напоминая собой человека, на которого свалилось нежданное счастье, вскочил и двинулся прямо на Заратустру.

«Кто бы ты ни был, странник, — сказал он, — помоги заблудившемуся, помоги ищущему, старому человеку, с которым легко может здесь приключиться беда!

Здешний мир мне далек и чужд, часто слышался мне и вой диких зверей; а того, что мог бы мне дать убежище, самого уже нет в живых.

Я искал последнего благочестивого человека, святого и отшельника, единственного, кто в своем лесу ничего еще не слышал о том, о чем знает сегодня весь свет».

«О чем же это знает сегодня весь свет? — спросил Заратустра. — Не о том ли, что уже нет в живых старого бога, в которого некогда верил весь свет?»

«Ты говоришь, — отвечал старый человек уныло. — И я служил этому старому богу до его последнего часа.

Теперь же я безработный, лишен господина, и все ж не свободен, ни мгновенья радости нет у меня, разве только в воспоминаниях.

Потому и поднялся я на эти горы, чтобы устроить себе, наконец, праздник, как оно подобает старому папе и отцу церкви: знай, я — последний папа! — праздник благочестивых воспоминаний и богослужений.

Но, увы, сам он мертв, этот благочестивейший человек, тот святой в лесу, который постоянно славословил своего бога пением и бурчанием.

Его самого уже не нашел я, когда нашел его лачугу, — зато нашел там двух волков, которые с воем оплакивали

его смерть, — ибо все звери любили его. Тогда я убежал.

Так неужели напрасно вступил я в эти леса и горы? Тогда решило мое сердце, чтобы я искал другого, наиболее честивейшего из неверующих в бога, — чтобы я искал Заратустру!»

Так говорил старец и острым взглядом пронизал того, кто стоял перед ним; Заратустра же схватил руку старого папы и долго рассматривал ее с удивлением.

«Смотри-ка ты, досточтимый, — сказал он тогда, — что за красивая и длинная рука! Рука человека, который привык раздавать благословения. Ныне же она крепко держит того, кого ты ищешь, — меня, Заратустру.

Это я, безбожник Заратустра, говорю тебе: кто же больший безбожник, чем я, чтобы я радовался его наставлению?» —

Так говорил Заратустра и впивался глазами в мысли и задние мысли старого папы. Наконец, тот заговорил:

«Кто его больше всех любил и им владел, тот его больше всех и утратил —:

— смотри, сам я, кажется, из нас двоих ныне больший безбожник! Но кому от этого радость!» —

— «Ты служил ему до конца, — спросил задумчиво Заратустра после глубокого молчания, — ты знаешь, как он умер? Правда ли, как гласит молва, будто его удушило сострадание,

— будто он видел, как человек повис на кресте, и не вынес этого, будто любовь к человеку стала его адом и, в конце концов, его смертью?» — —

Но старый папа не отвечал, — он дико глядел куда-то в сторону, с каким-то тоскливо-скорбным и утрюмым выражением лица.

«Туда ему и дорога, — сказал Заратустра после долгого раздумия, все еще глядя упорно старому человеку в глаза. —

Туда ему и дорога, — он приказал долго жить. И хотя это и делает тебе честь, что ты поминаешь этого мертвеца только одним хорошим, но ты знаешь так же хорошо, как и я, к е м он был; и что он шел диковинными путями».

«Говоря с глазу на два, — сказал, повеселев, старый папа (он был слеп на один глаз), — в делах божьих я просвещеннее даже самого Заратустры — да таковым вправе и быть.

Моя любовь служила ему долгие годы, моя воля неизменно следовала его велениям. Добрый же слуга знает все, и даже те вещи, какие сам господин от себя скрывает.

Он был скрытным богом, исполненным таинственности. Впрямь, даже сына обрел он не иначе, как тайным путем. У двери его веры стоит прелюбодеяние.

Кто славословит его как бога любви, недостаточно высоко мыслит самую любовь. Разве не хотел этот бог быть также и судьей? Но любящий любит по ту сторону награды и воздаяния.

Когда он был юн, этот бог с востока, тогда он был жесток и мстителен и воздвиг себе ад на утеху своим любимцам.

Но наконец стал он стар, и мягок, и дрябл, и сострадателен, скорее похожим на дедушку, чем на отца, а больше всего похожим на старенькую бабушку-ковьялочку.

И вот сидел он, дряхлый, у себя на запечье, тужил о своих слабых ногах, усталый от мира, усталый от воли, и задохнулся в один прекрасный день от своего непомерно великого сострадания». —

«Скажи, старый папа, — вставил здесь Заратустра, — ты э т о видел собственными глазами? Пожалуй, все могло быть и так: так, н о и иначе. Когда боги умирают, они умирают всегда всяческими смертями.

Впрочем, ладно! Так или этак, и так и этак — он приказал долго жить! Он претил моему слуху и зрению, худшим не хотел бы я помянуть покойника.

Я люблю все, что ясно глядит и честно говорит. Но он-то — тебе ль этого не знать, старый жрец, — в нем было нечто от твоей породы, от породы жрецов, — он был многомыслен.

Но он был и бессмыслен: что гневался он на нас, этот гневопыхатель, за то, что мы плохо его понимаем! Но почему же не высказывался он отчетливее?

И если виной этому наши уши, почему дал он нам уши, которые его плохо слышали? Грязь была в наших ушах, добро! Но кто ее туда вложил?

Слишком многое не удавалось ему, этому недоучившемуся горшечнику! Но когда он мстил своим горшкам и тварям за то, что те плохо ему удались, — то был грех против х о р о ш е г о в к у с а.

И в благочестии есть хороший вкус: э т о т в к у с сказал наконец: «К черту т а к о г о бога! Лучше вовсе без бога, лучше за свой страх ковать свою судьбу, лучше быть дураком, лучше самому быть богом!»

— «Что я слышу! — сказал старый папа, наострив уши; о Заратустра, ты благочестивее, чем тебе самому это верится при таком безверии! Неведомый бог в тебе обратил тебя к твоему безверию.

Не само ли благочестие твое вынуждает тебя больше не верить в бога? И твоя чрезмерная честность уведет тебя еще по ту сторону добра и зла!

Посмотри-ка, что осталось у тебя про запас? У тебя есть глаза, и руки, и рот, они от вечности предназначены для благословения. Благословляют не только рукой.

Вблизи тебя, хотя ты и хочешь быть безбожнее всех безбожников, я чую таинственное благоухание святости и благодати от долгих благословений: и мне становится при этом и благостно и грустно.

Позволь мне быть твоим гостем, о Заратустра, на одну-единственную ночь! Нигде на земле не будет мне теперь так благостно, как у тебя!» —

«Аминь! Да будет так! — сказал Заратустра с великим удивлением, — туда наверх ведет дорога, там берлога Заратустры.

Поистине охотно проводил бы я тебя туда сам, ты, достопочтенный, ибо я люблю всех благочестивых. Но сейчас спешно отзывает меня от тебя крик в беде.

В моих владениях никто не должен попасть в беду; моя берлога добрая гавань. И всего приятнее для меня любого печальника вновь поставить на твердую землю и твердо на ноги.

Но кто снимет с твоих плеч твою тоску? Для этого я слишком слаб. Впрямь, долго пришлось бы нам ждать, пока кто-нибудь вновь не пробудит для тебя твоего бога.

Ибо этот старый бог не живет больше: он основательно мертв». —

Так говорил Заратустра.

*
* *
*

Урод из уродов человеческих

— И вновь бежали ноги Заратустры по горам и лесам, а глаза его все искали да искали, но нигде не было видно того, кого они увидеть хотели: терпящего беду великую и взывающего в беде о помощи. Но всю дорогу ликовал он в сердце своем и был полон благодарности. «Сколько хорошего, — проговорил он, — подарил мне все же этот день в вознаграждение, что он так худо начался! Каких редкостных собеседников нашел я!

Долго буду я пережевывать их слова, точно добрые зерна; мелко размелет и раздробит их мой зуб, пока они не потекут в душу ко мне молоком!» —

Когда же дорога снова обогнула скалу, сразу изменился ландшафт, и Заратустра вступил в царство смерти. Кругом громоздились черные и красные утесы: ни травы, ни дерев, ни птичьего голоса. То была долина, которую избегали все звери, даже хищники; только одна порода уродливых, толстых, зеленых змей приползала сюда умирать под старость. Потому и назвали пастухи эту долину: Змеиная Смерть.

Заратустра же погрузился в темное воспоминание; казалось ему, будто однажды он уже стоял в этой долине. И много тяжелого легло ему на душу: так что он тихо шел, и все тише и тише, и под конец замер на месте. Но тут, чуть открыл он глаза, увидел он нечто, сидевшее при дороге, по образу и подобию будто человек, но и едва ли человек, нечто невыговариваемое. И разом напал на Заратустру великий стыд, что он нечто подобное мог лицезреть своими глазами: покраснев до самого корня белых волос, отвел он взор и поднял было ногу, чтобы покинуть это недоброе место. Но вдруг в мертвенной пустыне родился звук: от самой земли прорывался он, клопоча и хрипя, как хрипит и клопочет ночью вода, прорываясь сквозь засоренные водопроводные трубы; но в конце концов возник из этого человеческий голос и человеческая речь: — она гласила так:

«Заратустра! Заратустра! Разгадай-ка мою загадку! Говори! Говори! Что такое м е с т ь с в и д е т е л ю?»

Я маню тебя вспять, вернись, здесь скользкий лед! Берегись, берегись, как бы гордость твоя не сломала здесь себе ног!

Ты мнишь себя мудрым, ты, гордый Заратустра! Так разгадай же задачу, о жестокий дробитель орехов, — разгадай загадку, которая есмь я! Так говори же: кто я!»

— Но когда Заратустра услышал эти слова, — что, думаете вы, пережил он в душе? С о с т р а д а н и е н а п а л о н а н е г о; и он внезапно повалился наземь, как дуб, который долго сопротивлялся многим лесорубам, — тяжело, неожиданно, к испугу даже тех, кто хотел его срубить. Но вот он снова поднялся с земли, и лицо его отвердело.

«Да, я узнаю тебя, проговорил он медным голосом, ты у б и й ц а б о г а! Отпусти меня.

Ты не в ы н е с того, кто видел т е б я, — кто всегда видел тебя насквозь, о урод из уродов человеческих! Ты отомстил этому свидетелю!»

Так говорил Заратустра и хотел бежать прочь; но невыговариваемый ухватил его за полу одежды и стал опять клокотать и искать слова. «Останься! — выговорил он наконец, —

— останься! Не проходи мимо! Я угадал, какая секира повергла тебя наземь: слава тебе, о Заратустра, что ты вновь на ногах!

Ты угадал, мне ли не знать, каково тому, кто его убил, — убийце бога. Останься! Присядь рядом со мной, это шаг не напрасный.

К кому порывался я, как не к тебе? Останься, сядь! Но на меня не гляди! Сумей почтить мое уродство!

Они преследуют меня: ныне ты мое последнее прибежище. Не своею ненавистью, не своими сыщиками: — о, над таким преследованием посмеялся бы я и был бы горд и весел!

Не следовал ли всегда успех по пятам всех хорошо преследуемых? Кто хорошо преследует, легко научится и с л е д о в а т ь: — раз уж он идет — по пятам! Но их с о с т р а д а н и е —

— их сострадание — вот от чего я бегу и прибегаю к тебе. О, Заратустра, защити меня, ты мое последнее прибежище, ты единственный, кто меня разгадал:

— ты угадал, каково тому, кто его убил. Останься! А коль хочешь идти, о нетерпеливый, — не иди путем, которым шел я. Это путь плохой.

Ты досадуешь, что я так долго каверзни языком коверкаю? Что уже тебе советы даю? Но знай, я тот урод из уродов человеческих,

— у которого к тому же самые большие, самые тяжелые ноги. Где я прошел, там путь плох. Я все пути истаптываю на смерть и позор.

Но что ты прошел мимо меня молча, что ты покраснел, я это заметил: по этому признал я в тебе Заратустру.

Всякий другой кинул бы мне милостыню, свое страдание, взглядом и словом. Но для этого — я не настолько нищ, вот что ты угадал —

— для этого я слишком богат, богат великим, страшным, безобразно-уродливым, невыговариваемым! Твой стыд, о Заратустра, почтил меня!

В язвах с трудом выбрался я из великой толпы сострадательных, — чтобы найти того единственного, который сегодня учит: «Сострадание нагло», — тебя, о Заратустра!

— будь то сострадание бога, будь то сострадание человека: сострадание враждебно стыду. И не хотеть помочь может быть благороднее, чем та добродетель, которая припрыгивает на помощь.

Вот что, однако, называется сегодня добродетелью даже у всех маленьких людей — сострадание: нет у них благоговения перед великим несчастьем, перед великим уродством, перед великой неудачей.

Поверх всей этой шатии скользит мой глаз, как глаз собаки поверх спин кишмя кишащих овечьих стад. Все они маленькие, доброшерстные, доброжелательные серенькие людишки.

Как цапля пренебрежительно скользит глазом поверх мелководных прудов с откинутой головою — так

скользит мой глаз поверх всего кишения сереньких маленьких волн, и воля, и душ.

Куда как долго признавали за ними право, за этими маленькими людишками: п о т о м у признали за ними наконец и власть — и вот учат они: «Только то есть добро, что одобряют маленькие люди».

И «истиной» называется сегодня то, о чем говорил проповедник, сам выходец из их среды, тот удивительный святой и заступник маленьких людей, который свидетельствовал о себе: «Я есмь истина».

Этот нескромный уже давно позволяет маленьким людям петушиться, — он, учивший немалому заблуждению, когда учил: «Я есмь истина».

Был ли когда-либо нескромному дан более вежливый ответ? — Ты же, о Заратустра, прошел мимо него, повторяя: «Нет! Нет! Трижды нет!»

Ты предостерегал от его заблуждения, ты первый предостерегал от сострадания — не всех, не каждого, а себя и сродных тебе.

Ты стыдишься стыда великого страдальца, и впрямь, когда ты говоришь: «От сострадания находит на нас великая туча, — берегись, вы, люди!»

— когда ты учишь: «Все созидатели тверды, всякая великая любовь куда выше своего сострадания»: о Заратустра, как хорошо, по-видимому, вышколил ты себя распознавать знаменья погоды!

Но и ты сам — предостереги же и самого себя от своего сострадания! Ибо многие уже на пути к тебе, многие терпят страдания, сомнения, отчаяние, многие утопающие, многие замерзающие —

Я предостерегаю тебя также и от меня. Ты разгадал мою лучшую, худшую загадку, меня самого и то, что я совершил. Я знаю секиру, которая тебя подсечет.

Но он — д о л ж е н был умереть: он видел глазами, которые видели в с ё, — он видел глубины и основания человека, весь его скрытый позор и уродство.

Его сострадание не знало стыда: он заползал в мои самые грязные закоулки. Этот любопытнейший из любопытных, сверхназойливый, сверхсострадательный должен был умереть.

Он всегда видел м е н я: такому свидетелю хотел я отомстить — или же вовсе не жить.

Бог, который видел все, даже ч е л о в е к а: этот бог должен был умереть! Человеку не с т е р п е т ь, чтобы такой свидетель жил».

Так говорил урод из уродов человеческих. Заратустра же встал и собрался было уходить, ибо его пробира-ло ознобом до самого сердца.

«Ты невыговариваемый, — сказал он, — ты предостерег меня от своего пути. В благодарность за это я предлагаю тебе мой путь. Взгляни, там наверху берлога Заратустры.

Моя берлога обширна, и глубока, и богата углами; там самый скрытый найдет где укрыться. И вплотную к ней примыкают сотни норок и щелок для ползающих, порхающих и прыгающих зверюшек.

Ты отверженный, ты сам себя отвергший, ты не хочешь жить среди людей и людского сострадания? Добро, так поступай, как я! Тогда научишься ты от меня; только поступки учат.

И поговори прежде всего и немедленно с моими зверями! Прегордый зверь и премудрый зверь — они были бы, пожалуй, для нас обоих истинными советниками!» — —

Так говорил Заратустра и пошел своими путями, еще задумчивее, еще медленнее, чем прежде; ибо о многом спрашивал он себя и не находил скорого ответа.

«О, как беден, однако, человек! — подумал он в сердце своем, — как уродлив он, как хрипит он, как полон скрытого стыда!

Мне говорят: человек любит самого себя: ах, как велико должно быть это самолюбие! Как много презрения противостоит ему!

Да, и вот этот любил себя, в той мере, в какой презирал себя, — великий любвеобилец он для меня и великий презритель.

Еще не встречал я другого, кто бы глубже презирал себя: и э т о высота. Горе, быть может, о н был тот высший человек, чей крик я слышал?

Я люблю великих презирателей. Но человек есть нечто, что должно преодолеть». — —

*
* * *

Добровольный нищий

Когда Заратустра покинул уroda из уродов человеческих, стало ему холодно и он почувствовал себя одиноким: так много холодного и одинокого пробежало у него в мыслях, что даже члены тела его от этого похолодели. Между тем, пока он забирался все дальше и дальше, идя то вверх, то вниз, то мимо пастбищ зеленых, то по диким каменистым руслам, где когда-то нетерпеливый ручей находил себе ложе: стало ему вновь как-то сразу теплее и радостнее на сердце.

«Не пойму: что со мной? — спросил он себя, — что-то теплое и живое подкрепляет мне силы, оно должно быть тут, поблизости от меня.

Уже я не так одинок; неведомые спутники и братья бродят вокруг меня, их теплое дыхание веет мне в душу».

Когда же он стал озираться в поисках утешителей своего одиночества: смотри, ими оказались коровы, которые стояли скучившись на пригорке; их близость и за-

пах согревали сердце ему. Но эти коровы, казалось, прислушивались к кому-то ораторствующему и не обращали внимания, кто это к ним подходит. Но чуть Заратустра очутился совсем уже близко от них, услышал он явственно человеческий голос, ораторствующий из самой середины коров; и, видимо, они всем стадом повернули головы в сторону ораторствующего.

Тогда Заратустра стремглав кинулся наверх и растолкал животных, ибо он опасался, что здесь с кем-нибудь приключилась беда, которой едва ли поможет страдание коров. Но тут-то он и ошибся; что за притча! перед ним сидел на земле человек и, казалось, всячески убеждал животных ни в какой мере его не бояться, миролюбивый человек и нагорный проповедник, из глубины глаз которого проповедовала сама доброта. «Что ищешь ты здесь?» — воскликнул Заратустра удивленно.

«Что я здесь ищу? — отвечал тот. — Того же, чего ищешь и ты, возмутитель покоя! Я ищу счастья на земле.

Этому хотелось бы мне научиться у этих коров. Поэтому, знаешь ли, вот уже половину утра, как я их убеждаю, и они только было собирались дать мне ответ. Зачем смущаешь ты их?

Если мы не обратимся и не станем как коровы, не войти нам в царство небесное. Одному следовало бы нам у них поучиться: пережевыванию.

И впрямь, если бы человек овладел всем миром и не научился одному — пережевыванию: что пользы! Он не избавился бы от своей скорби

— от своего великого уныния: оно сегодня называется о т в р а щ е н и е м. У кого сегодня сердце, рот и глаза не полны отвращения? И у тебя! И у тебя! Но взгляни только на этих коров!» —

Так говорил нагорный проповедник и перевел взор на Заратустру, — ибо до сих пор, не отрываясь, он с любовью глядел на коров — : и мгновенно преобразился

он. «Кто это, с кем это говорю я? — в испуге воскликнул он и вскочил на ноги.

Это он, человек свободный — от отвращения, это сам Заратустра, победитель великого отвращения, это око, это рот, это сердце самого Заратустры».

И, говоря так, целовал он у того, к кому обращался, руки, с глазами полными восторженных слез, и вел себя совершенно как имярек, которому неожиданно слетает с неба драгоценный дар и сокровище. Коровы же смотрели на все это и удивлялись.

«Не говори обо мне, ты, мой диковинный, ты, мой милый чужак! — сказал Заратустра, отмахиваясь от его нежности, — говори мне лучше о себе! Не ты ли тот добровольный нищий, который некогда отметнул от себя большое богатство, —

— который устыдился своего богатства и богачей и бежал к последним из бедняков, чтобы одарить их избытком своего сердца? Но они не приняли его».

«Но они не приняли меня, — сказал добровольный нищий, — тебе ли этого не знать! И вот пошел я, наконец, к зверям и к этим коровам».

«Там научился ты, — прервал Заратустра ораторствующего, — насколько труднее полностью давать, чем полностью принимать, и что умение дарить есть и с к у с т в о и высшее, лукавейшее мастерство доброты».

«Особенно в наши дни, — отвечал добровольный нищий, — хотя бы сегодня, когда все низкое на взрыве восстания и глядит исподлобья и на свой лад высокомерно: на плебейский лад.

Ибо пришел час, тебе ли не знать, час великого, разрушительного, длительного восстания черни и рабов: оно все растет и растет!

Уже возмущает низких всякое благодеяние и мелкие подачки; и сверхбогачам надо быть настоroje!

Кто сегодня, подобно пузатым бутылкам, по капле сочтится из слишком узенькой шейки: — таким бутылкам сегодня охотно ломают шею.

Похотливая жадность, желчная зависть, затаенная мстительность, гордость черни: все это бросилось мне в лицо. Уже не почитают за истину, будто блаженны нищие. Но царство небесное у коров».

А почему же оно не у богатых? — спросил испытующе Заратустра, отгоняя коров, которые с сопением доверчиво обнюхивали миролюбца.

«Что испытываешь меня? — отвечал он. — Ты знаешь это куда лучше меня. Что же толкнуло меня к последним из бедняков, о Заратустра? Не отвращение ли к нашим богачам?

— к каторжникам богатства, которые из всякого сора умеют извлечь для себя прибыль, с холодными глазами, похабными мыслями, к этой сволочи, от которой до самого неба вонь стоит,

— к этой раззолоченной пролгавшейся черни, чьи предками были карманники, или стервятники, или тряпичники, услужливые, покорливые, забывчивые с женщинами: — все они, так сказать, недалеко ушли от шлюх —

Чернь вверху, чернь внизу! Что значит сегодня «бедный» и «богатый»? Я разучился их различать, — и я кинулся бежать от них, все дальше и дальше, пока не пришел к этим коровам».

Так говорил миролюбец и при этом сам сопел и потел: так что коровы вторично удивились. А Заратустра с улыбкой смотрел ему все время в лицо, пока он так жестоко говорил, и при этом молча качал головой.

«Ты совершаешь над собой насилие, о нагорный проповедник, когда пользуешься такими жестокими словами. Для такой жестокости не приноровлены у тебя ни рот, ни глаза.

Не приноровлен, как мнится мне, и самый твой желудок: противны ему все эти негодование, и ненависть, и клокотанье. Твой желудок требует более нежной пищи: ты не из плотоядных.

Скорее, ты мнишься мне травоядным и собирателем кореньев. Быть может, ты жуешь зерна. Но несомненно ты не склонен к плотским радостям и любишь мед».

«Ты подлинно разгадал меня, — отвечал добровольный нищий с облегченным сердцем. — Я люблю мед и жую зерна, ибо я искал то, что приятно на вкус и делает дыхание чистым:

— а также и то, что требует немалого времени, — денного труда и дела для рта от кротких тунеядцев и бездельников.

Впрочем, больше всего в этом успели здешние коровы: они изобрели жвачку и лежание на солнце. Они поддерживаются и от всяких тяжелых мыслей, от которых сердце пучит».

— «Добро! — сказал Заратустра, — тебе бы не мешало также увидеть и м о и х зверей, моего орла и мою змею, — равных им не найти сегодня на земле.

Смотри, туда ведет дорога к моей берлоге: будь на эту ночь ее гостем. И поговори с моими зверями о счастье зверей, —

— пока я не вернусь домой. Сейчас меня спешно отзывает от тебя крик в беде. Также найдешь ты новый мед у меня, свежий как лед, сотовый златомед: ешь его!

А теперь попрощайся, не мешкая, со своими коровами, о мой диковинный, о мой милый чудак, как бы тяжело для тебя то ни было! Ибо они твои самые теплые друзья и учителя!» —

«— За исключением одного, который мне еще милее, — отвечал добровольный нищий. — Сам ты добр и лучше всякой коровы, о Заратустра!»

«Прочь, прочь, чтоб тебя! Ты нестерпимый льстец! — закричал со злобой Заратустра, — что ты портишь меня такой похвалой и медом лести?»

«Прочь, прочь от меня!» — закричал он еще раз и поднял палку на нежного нищего: тот же стал улепетывать со всех ног.



Тень

Но только улепетнул от него добровольный нищий и Заратустра оказался вновь наедине с собой, как услышал он позади себя новый голос, который взывал: «Стой! Заратустра! Да погоди же! Ведь это я, о Заратустра, я, твоя тень!» Но Заратустра не стал ждать, до того внезапная досада овладела им из-за этой непрерывной сутолоки и толкотни у него в горах. «Где ты, мое одиночество! — проговорил он. —

Мне, впрямь, становится не под силу; этот горный кряж кишит народом, мое царство уже не от мира сего, мне нужны новые горы.

Моя тень зовет меня? Какое мне дело до моей тени! Пусть бежит она за мной по пятам! — я убегу от нее».

Так говорил Заратустра своему сердцу и пустился бежать. Но тот, кто был позади него, следовал за ним: так что теперь трое бегущих вдруг оказались друг за другом: впереди добровольный нищий, за ним Заратустра и третьим — последним — его тень. Не долго бежали они так, как осознал Заратустра всю свою глупость и одним рывком стряхнул с себя всякие нелады и досаду.

«Как! — говорил он, — не случались ли от века смехотворнейшие вещи с нами, старыми отшельниками и святыми?»

Впрямь, до чего высоко выросла моя глупость в горах! И вот слышу я, как шесть старых дурацких ног топчут одна за другой!

Но вправе ли Заратустра бояться какой-то тени? Да мне, как ни как, кажется, что у нее ноги подлинней моих».

Так говорил Заратустра, смеясь глазами и всем нутром, остановился и вдруг быстро обернулся — и, что ж, он едва не свалил при этом свою преследовательницу-тень наземь: до того тесно вплотную следовала она за ним по пятам и до того была она слаба. Когда же он взял ее глазом на ощупь, испугался он, словно внезапно перед ним привидение выросло: до того худой, черной, тощей и отжившей выглядела его преследовательница.

«Кто ты? — спросил Заратустра резко, — чего ты тут снуешь? И почему называешь себя моей тенью? Ты мне не нравишься».

«Прости меня, — отвечала тень, — за то, что это я; и если я не нравлюсь тебе, тем лучше, о Заратустра! Хвала за это и тебе, и твоему хорошему вкусу.

Странник я, который уже немало побродил за тобой по пятам: неизменно в дороге, но без цели, без родного очага: так что впрямь, еще немного, и получится вечный жид, разве только что я не вечен и не жид.

Как? Неужели мне быть неизменно в дороге? Быть игрушкой ветров, неприкаянной, вечно гонимой? О земля, ты для меня стала слишком круглой!

Нет той поверхности, где бы я не сидела; как усталая пыль, засыпала я на зеркалах и на оконных стеклах: все берут у меня, никто не дает, я становлюсь тонкой — я почти похожу на тень.

Но за тобой, Заратустра, я носилась и тащилась дольше всего, и если я пряталась порой от тебя, все же была я твоей преданной тенью: где ты только ни сидел, там сидела и я.

С тобой бродила я по отдаленным из отдаленных, холодным из холодных миров, словно призрак, добровольно бегущий зимою по крышам и снегу.

С тобою устремлялась я ко всему запретному, осужденному, отдаленному: и если можно вообще во мне найти добродетель, так именно ту, что не страшен мне никакой запрет.

С тобой разбила я все, что любила сердцем, все столбы пограничные, все образы опрокинула я, за желаниями опаснейшими скользила я вслед — впрямь, по любым преступлениям проскальзывала я.

С тобой разучилась я вере в цену слов, и ценностей, и великих имен. Когда с черта спадает кожа, не отпадает ли и его имя? Оно тоже кожа. Быть может, сам черт — только кожа.

«Нет ничего истинного, все позволено»: — так внушала я себе. В самые холодные из холодных вод кидалась я с головой и сердцем. Ах, как часто стояла я по этому голой, будто красный рак!

Ах, куда канули для меня все доброе, и весь стыд, и вся вера в добрых! Ах, где она, та залгавшаяся невинность, которой была я некогда богата, невинность добрых и их благородной лжи!

Слишком часто, поистине, следовала я по пятам истины: и вот стукнулись мы лбами. Порой думалось мне — я лгу, и что ж! тут-то и попадала я — в гвоздь истины.

Слишком многое прояснилось для меня: теперь нет мне ни до чего дела. Уже ничто не живет из того, что я люблю, — как могла бы я еще любить себя?

Жить на радость себе или вовсе не жить: так хочу я, так хочет этого и праведник. Но увы! — где д л я м е н я еще на свете — радость?

Есть ли у м е н я — цель? Гавань, к которой бежит м о й парус?

Доброго ветра? Ах, только тот, кто знает, к у д а он держит путь, знает также, какой ветер добрый и попутный для него ветер.

Что же еще осталось у меня? Сердце усталое и мятежное; беспокойная воля; крыло без руля; хрустнувший хребет.

О это искание м о е г о очага: о Заратустра, знаешь ли ты, что искание было м о и м наказанием, оно пожирает меня.

Где м о й очаг? О нем спрашиваю я, его ищу и искала я — его не нашла я. О вечное везде, о вечное нигде, о вечное — “все тщетно!”»

Так говорила тень, и лицо Заратустры вытягивалось при ее словах. «Ты — моя тень! — сказал он наконец с грустью. —

Тебя опасность ждет немалая, о вольный дух и странник! Худой выдался тебе денек: гляди-ка, чтобы не выдался тебе еще худший вечер!

Таким, как ты, неприкаянным, покажется напоследок и тюрьма блаженством. Видела ли ты когда, как спят в тюрьме изловленные преступники? Они спят спокойно, они наслаждаются своей новой безопасностью.

Берегись, чтобы не уловила тебя под конец узкая вера, жестокий, упорный морок! Уже теперь обольщает и искушает тебя все, что узко и твердо.

Ты утратила цель: увы! как же отшутишься и отмучишься ты от сознания этой утраты? Вместе с целью — ты утратила и путь!

Ты моя бедная скиталица, сновидица, ты усталый мотылек! Не хочешь ли ты на этот вечер иметь отдых и кров? Так иди, поднимись к моей берлоге!

Туда навверх ведет тропа к моей берлоге. А сейчас дай-ка я опять от тебя поскорей убегу. Уже легла как бы тень на меня.

Один побегу я, чтобы снова вокруг меня стало светло. Ради этого долго еще придется мне бодро пребывать на ногах. Вечером же будут у меня — танцы!» — —

Так говорил Заратустра.

*
* *
*

В полдень

— И Заратустра все бежал да бежал и никого более не находил, и был он один и все вновь и вновь находил себя же, и наслаждался, и упивался своим одиночеством, и думал о хороших вещах — долгими часами. Но в час полдня, когда солнце стояло прямо над головой Заратустры, проходил он мимо старого искривленного и суковатого дерева, увитого богатой любовью виноградной лозы и укрытого от самого себя: с лозы в изобилии навстречу страннику свисали желтые кисти виноградин. И захотелось ему утолить чуточную жажду и сорвать для себя одну кисть; но чуть протянул он к ней руку, как еще сильнее захотелось ему иного: а именно, прилечь у дерева на час полного полдня и уснуть.

Так и сделал Заратустра; и только улегся он на землю, среди тишины и таинственности пестроцветных трав, как забыл он о своей чуточной жажде и уснул. Ибо, как гласит поговорка Заратустры: одно другого нужнее. Только глаза его оставались открытыми: — не могли они досыта наглядеться и излиться в хвалах дереву и любви к нему виноградной лозы. Но, засыпая, так говорил Заратустра своему сердцу:

«Тише! Тише! Не стал ли мир только что совершенным? Не пойму — что со мной?»

Как кокетливый ветер невидимкой танцует по зеркальному морю, легко, легче пера: так сон танцует по мне.

Глаз не смежил он мне, душе позволил он бдить. Легок он! Впрямь! легче пера!

Он убеждает меня, сам не знаю как, он чуть нежит меня внутри ласковой рукой, он неволит меня. Да, он неволит меня, и душа моя вся вытягивается на земле: —

— какой длинной, усталой становится она, моя диковинная душа! или пришел для нее вечер седьмого дня как раз в полдень? Или блуждала она слишком долго, блаженствуя, среди прекрасных и зрелых вещей?

Она вытягивается все в длину да в длину — все длиннее! Она тихо лежит, моя диковинная душа. Слишком много хорошего уже вкусила она, эта печаль золотая подавляет ее, у нее кривится рот.

— Как корабль, вбежавший в свою тишайшую бухту: — уже к земле прислоняется он, усталый от долгих странствий и от неведомых морей. Разве земля не вернее?

Как этот корабль причаливает, прикивает к суше: — достаточно, чтобы с суши паук протянул к нему свою паутинку. В более крепком канате нет нужды.

Как этот усталый корабль в тишайшей бухте — так покоюсь теперь и я близко к земле, верно, доверчиво, терпеливо, к ней привязанный чуть осязательными нитями.

О, счастье! О, счастье! Ты хотела бы петь, о душа моя? Ты лежишь в траве. Но теперь тот таинственный, торжественный час, когда ни один пастух не гудит на свирели.

Знойный полдень спит на нивах. Не пой! Тише! Мир совершенен.

Остерегись! Не пой, травяная пташка, о душа моя! И перестань даже лепетать! Так смотри мне — тише! старый полдень спит, он шевелит ртом: не впивает ли он сейчас каплю счастья —

— старую выдержанную побуревшую каплю золотого счастья, золотого вина? Что-то перепорхнуло по нем, его счастье смеется. Так — смеется бог. Тише! —

— «О, как, к счастью, мало нужно для счастья!» — Так говорил я некогда и мнил себя умным. Но это было злословием: э т о постиг я теперь. Умные дураки говорят лучше.

Ибо самая малость, неуловимка, пылинка, шорох ящерицы, легкий вздох, легкий вспорх, промельк-миг — самая малость и есть лучшего счастья язык. Тише!

— Что случилось со мною: Чу! Время ль прочь улетело? Я ли падаю? Я ли упал? — Чу! в колодезь вечности?

— Что же это со мной? Тише! Меня кольнуло — увы! — в сердце? В самое сердце! О, разбейся, сердце, после такого счастья, после такого укола!

— Как? Не был ли мир только что совершенным? Округлым и зрелым? О, будь проклят он, золотой круглый обруч, — куда же катится он? Побегу-ка за ним! Мельк!

Тише! — — (и здесь Заратустра потянулся и почувствовал, что он спит).

Вставай! — говорил он самому себе, — ты, соня! Ты, полуденный сонливец! Бодрей! Веселей, вы, старые ноги! Пора, давно пора, еще добрый кусок пути осталось вам пройти —

Вот и выспались вы, как долго вы спали! Полвечности! Ну, бодрей, веселей, ты, старое сердце! Скажи: как долго еще надо тебе после такого сна — просыпаться?»

(Но тут он вторично уснул, и его душа противилась ему, и защищалась, и снова улеглась спать.) — «Да оставь же меня! Тише! Не был ли мир только что совершенным? О, будь проклят ты, золотой округлый шар!» —

«Вставай, — говорил Заратустра, — ты, малютка-воровка, ты, лежебока! Как? Все еще потягиваться, зевать, вздыхать, стремглав падать в глубокие колодцы?

Кто же ты? О моя душа!» (и тут испугался он, ибо солнечный луч упал с неба ему на лицо).

«О небо надо мной, — проговорил он вздыхая и сел выпрямившись, — ты всматриваешься в меня? Ты вслушиваешься в мою диковинную душу?

Когда же выпьешь ты эту каплю росы, упавшую на все что ни есть земное, — когда выпьешь ты эту диковинную душу —

— когда же, колодезь вечности! Ты, ясная, страшная бездна полдня! Когда же вопьешь ты обратно в себя мою душу?»

Так говорил Заратустра и поднялся со своего места у дерева, словно выйдя из странного опьянения: и что же! солнце все еще стояло прямо над его головою. Откуда иной был бы вправе заключить, что Заратустра спал тогда недолго.

*
* *
*

Приветствие

Только поздно под вечер после долгих тщетных исканий и скитаний вернулся Заратустра домой к своей берлоге. Но когда он уже стоял перед ней, не дальше как шагах в двадцати, случилось нечто такое, что он менее всего сейчас ожидал: вновь услышал он великий крик в б е д е. И, диво! на этот раз крик исходил из его же собственной берлоги. Но это был долгий, разноголосый, престранный крик, и Заратустра отчетливо различал, что он слагается из множества голосов: хотя

издалека и казалось, будто он звучал словно крик из единых уст.

Тут прынул Заратустра к своей пещере, и гляди! что за игровое зрелище ожидало его после тех голосовых игр! Там все они сидели в сборе, друг подле друга, те самые, мимо кого он днем проходил: король, что справа, и король, что слева, старый кудесник, папа, добровольный нищий, тень, совестливый духом, скорбный прорицатель и осел; а урод из уродов человеческих напялил на себя корону и опоясался двумя пурпурными поясами, — ибо он любил, подобно всем уродам, переряжаться и прихорашиваться. А посреди этого хмурого общества стоял орел Заратустры, весь взъерошенный и встревоженный, ибо приходилось ему на многое отвечать, на что его гордость не имела ответа; а умная змея висела, обвившись вокруг шеи его.

На все это смотрел Заратустра с великим удивлением; затем он с снисходительным любопытством испытующе взгляделся в каждого из своих гостей в отдельности, вычитал в их душе и опять удивился. Между тем собравшиеся поднялись с мест и с благоговением ожидали слова Заратустры. Заратустра же говорил так:

«Вы, отчаяшися! Вы, диковинные! Так это значит мне в а ш крик в беде слышался? Теперь-то я знаю, где мне искать т о г о, кого я тщетно сегодня искал: в ы с ш е г о ч е л о в е к а —

— в моей собственной берлоге сидит он, этот высший человек! Но чему же тут удивляюсь я! Не сам ли я его к себе заманил — жертвой медовой и коварным зовом-приманкой своего счастья?

Но мне думается, плохо подходите вы для сообщества, вы будите в сердце неприязнь друг к другу, вы, взывающие в беде о помощи, сидя здесь в сборе? Сперва должен прийти некто

— некто, кто заставит вас вновь смеяться, добрый, веселый шут гороховый, танцор и ветер и вертопрах, какой-нибудь старый дуралей: — как вы думаете?

Простите же мне, вы, отчаявшиеся, если я выступаю перед вами с такими ничтожными словами, впрямь, недостойными таких гостей! Но вы не догадываетесь, что делает сердце мое задорно-смелым: —

— вы сами, конечно, и весь ваш облик, простите же мне! Ибо любой становится молодцом при виде отчаявшегося. Ободрить отчаявшегося — для этого любой мнит себя достаточно сильным.

Мне самому даровали вы эту силу, — добрый дар, мои высокие гости! Что за изрядный гостинец! Добро, не сердитесь же, если я вам от своего предлагаю.

Здесь царство мое и моя держава: но все, что мое, на этот вечер и на эту ночь пусть будет и вашим. Пусть звери мои вам служат: пусть берлога моя будет для вас отдохновением!

Под моим кровом и в моем доме никто не должен отчаиваться, на моем участке охраняю я каждого от его диких зверей. И вот первое, что я вам предлагаю: безопасность!

Второе же: мой мизинец. И получили вы мизинец, так берите целиком и всю руку, — так и быть! и сердце в придачу! Добро пожаловать ко мне, добро пожаловать, мои долгожданные гости!»

Так говорил Заратустра и смеялся от любви и коварства. После этого приветствия отвесили ему гости вторично поклон, храня благоговейно молчание; король же, что справа, отвечал ему от их имени.

«По тому, о Заратустра, как ты приветствовал нас и протянул нам руку, признаем мы в тебе Заратустру. Ты принизил себя перед нами; почти боль причинил ты нашему благоговению: —

Но кто мог бы, подобно тебе, с такой гордостью себя принижать? Это нас одобряет, это отрада для наших глаз и сердец.

Ради любования хотя бы этим одним охотно взошли бы мы и на горы более высокие, чем эта. Как любопытствующие пришли мы сюда, мы хотели видеть, что делает ясными тусклые глаза.

И смотри, уже нет ни слуха, ни духа от нашего крика в беде. Уже наше сердце и ум настежь распахнуты и восхищены. Немного надо: и наше мужество станет, мужая, задорным.

Ничего, о Заратустра, не растет на земле более радостного, чем высокая, сильная воля: она ее прекраснейшая земная поросль. Целый ландшафт оживает от одного такого дерева.

Кедру уподобил бы я того, о Заратустра, кто вырастет подобно тебе: высоким, молчаливым, твердым, одиноким, несравненным по гибкости деревом великолепным, —

— а под конец вырвется он ввысь, крепкими зелеными ветвями, в жажде своего господства, крепкие вопросы вопрошая у гроз и ветров и у всех, кто от века на высотах, как дома,

— еще крепче отвечая как повелитель победоносный; о, кто бы не поднялся на высокие горы, чтобы полюбоваться на такую поросль?

При виде твоего дерева, о Заратустра, подкрепляет свои силы даже нелюдим, неудачник, и при виде тебя даже неприкаянный обретает покой и оздоравливает свое сердце.

И впрямь, к твоей горе и дереву на горе обращено сегодня много глаз; обнаружилось томление, и многие научились спрашивать: кто это Заратустра?

И все, кому ты вливал когда-либо в уши, каплю за каплей, свою песнь и свой мед: все эти затаившиеся от-

шельники-одиночки, отшельники-двойцы разом заговорили к своему сердцу:

«Жив ли еще Заратустра? Не стоит больше жить, все безразлично, все тщетно: или же — мы должны жить с Заратустрой!

Почему не приходит он, так давно возвестивший о себе? так многие спрашивают; не поглотило ли его одиночество? Или же нам надо прийти к нему?»

Ныне совершается: само одиночество становится трухлым и рассыпается прахом, подобно могиле, что рассыпается прахом и уже не может удержать своих мертвецов. Всюду видны тела поднявшихся из гробов.

Ныне все выше и выше вздымаются волны вокруг твоей горы, о Заратустра. И как ни высока твоя высота, многие поднимутся к тебе наверх; не долго уже твоему челну пребывать на суше.

И если мы, отчаявшиеся, ныне пришли в твою берлогу и уже больше не отчаиваемся: это только признак и предзнаменование, что лучшие на пути к тебе, —

— ибо он сам на пути к тебе, этот последний остаток бога среди людей, а это означает: на пути к тебе все люди великого томления, великого отвращения, великого пресыщения,

— все те, которые жить не хотят, — или они научатся вновь у п о в а т ь — или они научатся от тебя, о Заратустра, в е л и к о м у упованию!»

Так говорил король, что справа, и схватил руку Заратустры, чтобы ее поцеловать; но Заратустра уклонился от его поклонения и подался в испуге назад, безмолвный и будто увлеченный внезапно в беспредельные дали. Но мгновение спустя был он уже вновь со своими гостями, взглянул на них ясным испытующим взором и проговорил:

«О гости мои, о высшие люди, я хочу поговорить с вами по-немецки честно и четко. Не в а с ждал я на этих горах.

(«По-немецки честно и четко? Избави бог! — сказал тут король, что слева, в сторону; очевидно, он плохо знает милых немцев, этот мудрец страны востока!

Но он подразумевает «по-немецки сугубо и грубо» — добро! в наши дни это еще не наихудший вкус!»)

Вы, быть может, и впрямь, все до одного высшие люди, — продолжал Заратустра, — но для меня — вы еще не достаточно высоки и сильны.

Для меня — это значит: для всего того непреклонного, что молчит во мне, но не всегда будет молчать. И привержены вы мне, то далеко не так, как моя правая рука.

Кто сам стоит на больных и хрупких ногах, подобно вам, тот требует прежде всего, сознает ли он это или скрывает от себя: чтобы его щ а д л и.

Но ни рук, ни ног своих не щажу я — я не щажу своих воинов: как бы могли вы быть пригодны для моей войны?

С вами погубил бы я любую победу. И немало из вас повалилось бы тотчас, едва услыша громовую дробь моих барабанов.

К тому же вы для меня не достаточно красивы и благородны. Мне нужны чистые, гладкие зеркала для моих истин; на вашей поверхности исказится, пожалуй, и мой собственный образ.

На ваши плечи давило немало тяжестей, немало воспоминаний; немало злобных карликов сидит скорчившись по вашим закоулкам. Есть скрытая чернь и внутри вас.

И пусть высоки вы и высшей породы; многое в вас искривлено и изуродовано. И нет на свете такого кузнеца, который молотом наладил и выпрямил бы вас.

Вы только мосты: пусть наивысшие переходят через вас! Вы означаете ступени: не сердитесь же на то, что, через вас переступая, восходит на с в о ю высоту!

Некогда пусть и у меня вырастет из вашего семени истинный сын и совершенный наследник: но до этого далеко. Но вы не те, кому принадлежит мое наследство и имя.

Не вас жду я здесь на этих горах, не с вами дано мне спуститься вниз в последний раз. Только предзнаменованием мне явились вы, что уже высшие на пути ко мне, —

— н е т, не людьми великого томления, великого отращения, великого пресыщения и не тем, что назвали вы последком бога.

— Н е т! Н е т! Т р и ж д ы н е т! Д р у г и х ж д у я здесь на этих горах и без них не сдвину ногу отсюда,

— высших жд у я, более сильных, победоносных, беспечальных, квадратных душою и телом: л ь в ы с м е ю щ и е с я должны прийти!

О вы, мои желанные гости, о вы, диковинные, — или ничего еще не слышали вы о моих детях? И о том, что они на пути ко мне?

Говорите же мне о моих садах, о моих блаженных островах, о моем новом прекрасном племени, — почему не говорите вы мне об этом?

Такой гостинец прошу я от вашей любви, чтобы вы говорили мне о моих детях. Во имя их я богат, во имя их стал я беден: чего не отдал я,

— чего не отдам я, чтобы только иметь одно: э т и х детей, э т у живую поросль, э т и деревья-жизни моей воли и моей высшей надежды!»

Так говорил Заратустра и внезапно оборвал свою речь: вновь одолело его томление, и он сомкнул глаза и рот, отдаваясь движению сердца. И все гости его хранили также молчание и стояли недвижимы и в сму-

щении: только вот один старый прорицатель подавал знаки руками.

*
* *
*

Вечеря

Тут-то и прервал прорицатель приветствие Заратустры и его гостей: он протеснился вперед, как человек, которому время дорого, схватил руку Заратустры и воскликнул: «Однако, Заратустра!

Одно нужнее другого, так утверждаешь ты сам: добро! одно м н е теперь нужнее всего прочего.

Уместно спросить: не пригласил ли ты меня на у ж и н? Здесь немало народу, проделавшего предлинный путь. Не речами же намерен ты нас угощать?

Да и все вы, по-моему, переборщили, вспоминая о замерзании, утопании, удушении и о других телесных невзгодах: но никто не вспомнил о м о и х невзгодах, об опасности умереть с голоду — »

(Так говорил прорицатель; но чуть звери Заратустры услыхали эти слова, кинулись они со страху опроретью прочь. Ибо видели, что всех запасов, ими днем принесенных, не хватит даже на то, чтобы набить желудок одному только прорицателю.)

«Включая сюда и опасность умереть от жажды, — продолжал прорицатель. — И хотя я слышу, как здесь плещет вода, подобно речам мудрости, плещет обильно и бесперебойно: я — хочу в и н а!

Не всякий, подобно Заратустре, прирожденный водохлеб. Да и не годится вода для усталых и увядших: н а м подобает вино, — только оно дарит внезапное выздоровление и нечаемое здорвье!»

Пользуясь случаем, что прорицатель пожелал вина, король, тот, что слева, молчаливый, наконец-то вставил свое слово: «О вине, — сказал он, — позаботились мы, я и брат мой, король, тот, что справа: у нас вдоволь вина, — ноша целого осла. Не хватает только одного — хлеба».

«Хлеба? — переспросил Заратустра и засмеялся. — Как раз хлеба-то и не бывает у отшельников. Но не единым хлебом жив человек, но и мясом упитанных ягнят — у меня же их целых два:

— пусть и х попроторнее зарежут и приправят прямо — шалфеем: так люблю я. Также нет недостатка в плодах и кореньях, коими не побрезгают даже и smakователи-лакомки; также и в орехах, и в других загадках для щелканья.

Итак, поспешим же приготовить пир на славу. Но кто хочет с нами пировать, должен заодно со всеми не пожалеть рук, в том числе и короли. У Заратустры даже король может быть поваром».

Это предложение пришлось всем по сердцу: только один добровольный нищий возражал против мяса, и вина, и пряностей.

«Но послушайте только этого кутилу Заратустру! — молвил он шутливо, — для того ли уходят в берлоги и на выси гор, чтобы устраивать такие пирушки?

Впрочем, теперь я понимаю, чему он нас некогда учил, говоря: «Хвала маленькой бедности!» И почему хочет он упразднить нищих».

«Гляди веселей и не брюзжи, — отвечал Заратустра, — будь как я. Оставайся при своем, ты, душа-человек, жуй свои зерна, пей свою воду, превозноси свою кухню: если только тебя это радует!

Я закон только для моих, — для всех я не закон. Но кто отвержен ко мне, тому следует быть крепким костью и легким на ноги, —

— быть охотником до войн и празднеств, уж никак не нелюдимом, не мечтательным дурнем, — быть готовым на подвиг труднейший, как на праздник, быть здоровым и невредимым.

Лучшее принадлежит моим и мне; и где нам не дают, там мы сами берем: — самую лучшую пищу, самое чистое небо, самые могучие мысли, самых прекрасных женщин!» —

Так говорил Заратустра; король же, что справа, в ответ заметил: «Странно! Слыханы ли столь умные речи из уст мудреца?

И впрямь, это необыкновенный случай для мудреца, когда он вдобавок еще умен и не осел».

Так говорил король тот, что справа, и удивился; осел же злоумышленно добавил к его речи: «и-я». А это и было началом того долгого пиროвания, которое в исторических книгах названо «вечеря». За вечерей, однако, ни о чем ином не говорилось, как только о в ы с ш е м ч е л о в е к е.

*
* * *

О высшем человеке

1.

Когда я впервые пришел к людям, совершил я безумие отшельника, великое безумие: я выступил на базаре.

И когда я говорил ко всем, я не говорил ни к кому. А к вечеру канатоходцы были моими товарищами, и трупы; и я сам был почти что трупом.

Но с приходом нового утра пришла ко мне новая истина: тогда научился я говорить: «Что мне до базара, и черни, и шумихи черни, и длинных ушей черни!»

О высшие люди, от меня научитесь: на базаре не верит никто в высших людей. И вольно вам там говорить, что ж! говорите! Но чернь моргает: «Мы все равны».

«О высшие люди, — так моргает чернь, — нет высших людей и в помине, мы все равны, человек есть человек, пред богом мы все равны!»

Пред богом! — Так вот же умер ваш бог! Перед черню же не хотим мы быть равными. О, высшие люди, уходите прочь с базара!

*
* *
*

2.

Пред богом! — Так вот же умер ваш бог! О высшие люди, этот бог был вашей величайшей опасностью.

С тех пор, как он погребен, только с этих пор вы воскресли. Ныне грядет великий полдень, отныне будет высший человек — господином!

Поняли вы это слово, о братья мои? Вы в ужасе: затосковало сердце? Бездны ль пасть зияет рядом? Пастью ль лает пес из ада?

Ну же, бодрей, веселей! О, высшие люди! В родовых схватках гора грядущего человек. Бог умер: отныне хотим мы — чтобы жил сверхчеловек.

*
* *
*

3.

Самые озабоченные спрашивают сегодня: «Как сохранить себя человеку?» Заратустра же спрашивает, как единственный и первый: «Как преодолеть человека?»

Сверхчеловек у меня на сердце, о н мое первое и единственное — а вовсе н е человек: не ближний, не из ближних ближний, не беднейший из бедных, не страдающий из страдающих, не лучший из лучших —

О братья мои, если я еще что могу любить в человеке, так это то, что он переход и захождение. И в вас много такого, что внушает мне любовь и надежду.

Вы презирали, о высшие люди, это внушает мне надежду. Ибо великие презрители — великие почитатели.

Вы отчаивались, — за это вам честь и слава. Ибо вы не научились покорно сдаваться, вы не научились благоразумию.

Ибо сегодня маленькие люди стали господами: все они проповедуют покорность, и скромность, и благоразумие, и прилежание, и оглядку, и бесконечное «и так далее» маленьких добродетелей.

Все, что от бабьего духа, что идет от рабьего духа, и особенно вся эта сволочная чернь: в о т к т о хочет стать господином судеб человеческих — о отвращение! отвращение! отвращение!

Они спрашивают, спрашивают и не перестают спрашивать: «Как сохранить себя человеку лучше всего, дольше всего, приятнее всего?» Тем самым они — господа нынешнего дня.

Этих нынешних господ, преодолейте вы их, о братья мои! — этих маленьких людишек: в н и х величайшая опасность для сверхчеловека!

Преодолейте, вы, о высшие люди, маленькие добродетели, маленькое благоразумия, песчинки щепетильностей, муравьиное кишенье, жалкое благополучие, «счастье большинства» — !

И уж лучше отчаивайтесь, но не сдавайтесь. И впрямь, я люблю вас за то, что вы сегодня не умеете жить, вы, высшие люди! Так живете в ы — лучше всего!

*

* *

4.

Есть ли у вас мужество, о братья мои? Есть ли отвага? Не мужество перед свидетелями, а мужество отшельника и орла, на которое уже никакой бог не смотрит?

Холодные души, мулы, слепцы, пьяницы — их не называю я отважными. Тот отважен, кто знает страх, но подавляет в себе страх, кто видит бездну, но с гордостью.

Кто видит бездну, но глазами орла, кто когтями орла хватает бездну: да, тот мужественен. — —

*
* * *

5.

«Человек зол», — так говорили мне в утешение все мудрейшие из мудрых. Ах, если бы это и сегодня было правдой! Ибо зло — лучшая сила человека.

«Человек должен стать лучше и злее», — так учу я. Злейшая злоба нужна для блага сверхчеловека.

Для того проповедника маленьких людей, может быть, и хорошо было, что он страдал и нес на себе грехи людей. Я же радуюсь великому греху как своему великому утешению. —

Но такие слова не для длинных ушей. Не всякое слово всякому рылу. Это все тонкие дальние вещи: не овечьим копытом ухватить их!

*
* * *

Вы, о высшие люди, не думаете ли вы, что я здесь для того, чтобы исправить то, что вы испортили?

Или я собирался вам, страдающим, впредь поудобнее постель стлать? Или вам, неприкаянным, заблудившимся, невесть куда закарабкавшимся, указать новые тропки полегче?

Нет! Нет! Трижды нет! Все больше лучших из вас пусть пропадает — жаль, надо, чтобы было вам все хуже, все туже. Только так —

— только так дорастет человек до т о й высоты, где молнии удар поразит, сокрушит его: хорошая высота для молний!

На редкое, долгое, дальнейе устремлены моя мысль и желание: что мне до ваших маленьких, несчастных, коротких невзгод!

По мне, вы еще мало страдаете! Ибо вы страдаете за себя, вы еще не страдали з а ч е л о в е к а. Скажите иное, и вы солжете! Не страдает никто из вас за то, за что я страдал. — —

*
* * *

Мне мало того, что молния уже не может вредить. Не отвести хочу я ее: пусть научится она на м е н я — работать. —

Моя мудрость уже давно собирается подобно туче, все темнее, все тише она. Так поступает всякая мудрость, которая н е к о г д а родит молнии. —

Этим нынешним людям не хочу я ни быть с в е т о м, ни называться светом. И х — хочу ослепить: молния мудрости моей! выколи им глаза!

*
* *
*

8.

Не стремитесь свыше своих сил: есть дурная фальшь у тех, кто стремится свыше своих сил.

И особенно, когда стремятся они к великим делам! Недоверие пробуждают они к великим делам, эти ловкие фальшивомонетки и лицедеи: —

— пока сами в себе не изолгутся вконец, косоглазые, сверху выбеленная червоточина, громкими словами драпированные, добродетелями напоказ, блестящими мнимыми делами.

Проявите благую осторожность, о высшие люди! Нет для меня сегодня ничего драгоценнее и редкостнее честности.

Разве это «сегодня» не во власти черни? Чернь же не знает, что велико, что ничтожно, что прямо и честно: она невинно криводушна, она всегда лжет.

*
* *
*

9.

Проявите сегодня благое недоверие, о высшие люди, вы, отважные! Вы, откровенные! Таите про себя свои основания! Ибо это сегодня во власти черни.

Чему некогда чернь научилась верить без оснований, кто смог бы ее разуверить в этом в силу — основания?

И на базаре убеждают жестами. Основания же делают чернь недоверчивой.

И если там истина одержала победу, спросите себя с благим недоверием: «Какое непобедимое заблуждение за нее боролось?»

Будьте также настороже и от ученых! Они ненавидят вас: ибо они бесплодны! У них холодные высохшие глаза, перед ними любая птица лежит ощипанной.

Они кичатся тем, что они не лгут: но неспособность ко лжи еще далеко не любовь к истине. Будьте настороже!

Не бояться горячки еще не значит познавать! Выможенным умам я не верю. Кто не умеет лгать, не знает, что есть истина.



10.

Вы хотите высоко подняться, — пользуйтесь собственными ногами! Не позволяйте себя в з н о с и т ь, не садитесь на чужие спины и головы!

Но ты вскочил на коня? Ты мчишься стремглав вверх к своей цели? Скачи, мой друг! Но и твоя хромяя нога тоже с тобой на коне!

Чуть достигнешь ты цели, чуть с коня ты соскочишь: на в ы с о т е твоей, о высший человек, — там-то ты и споткнешься!



11.

Вы, созидающие, вы, высшие люди! Бременеешь всегда только своим ребенком.

Не поддавайтесь на уговоры и подговоры! Кто, скажите, в а ш ближний? И если вы действуете «ради ближнего» — созидаете вы все же не ради него!

Разучитесь же этому «ради», о созидающие: ваша добродетель требует, чтобы ничего не совершали вы ради, и для, и ибо. Против этих фальшивых маленьких словечек средство одно: заткнуть уши.

«Ради ближнего» — добродетель только маленьких людей: там принято: «свой своему» и «рука руку моет»: — у них нет ни права, ни силы достичь в а ш е г о своекорыстия!

В вашем своекорыстии, о созидающие, скрыты всех бременеющих осторожность и прозорливость! То, чего еще никто глазами не видел, плод; он сберегает, и он оберегает, и он питает всю вашу любовь.

И там, где вся ваша любовь, — у вашего ребенка, там и вся ваша добродетель! Ваше дело, ваша воля — вот в а ш «ближний»: не поддавайтесь обольщению ложных ценностей!

*
* * *

12.

Вы, созидающие, вы, высшие люди! Тот, кто должен родить, — болен; тот же, кто родил, — не чист.

Спросите женщин: рожают не потому, что рожать сладко. Боль заставляет кудахтать кур и поэтов.

Вы, созидающие, внутри вас много нечистого. Это оттого, что вам суждено было стать роженицами.

Новое дитя: о, как много новой грязи вышло зараз на свет! Посторонитесь! И кто родил, должен чисто промыть свою душу!

*
* *
*

13.

И не будьте вы добродетельны свыше своих сил! И не требуйте от себя ничего правдоподобию вопреки!

Идите по стопам, где уже ступала добродетель ваших отцов! Как могли бы вы восходить высоко, если воля ваших отцов не восходит вместе с вами?

Но кто хочет первенцем быть, пусть глядит, как бы ему последышем не стать! И где явны пороки ваших отцов, там не стремитесь выказать себя праведниками!

Чьи отцы держались жен, и крепких вин, и диких свиней: что, как такой захотел бы от себя целомудрия?

Вздором было бы это! Впрямь, для такого, по-моему, уже немало, если он муж одной, двух, трех жен.

И если б он монастыри основывал и писал над дверью: «Путь к праведному», — я бы все говорил: к чему! все это новый вздор!

Для себя самого основал он смирительный и странноприемный дом: на здоровье! Но я в это не верю.

В уединении растет то, что каждый туда принесет, растет и внутренний скот. Оттого-то многим и не посоветуешь одиночество.

Бывало ли на земле что-нибудь грязнее отцов-пустынников? Вокруг н и х бесновался не только дьявол — но и свинья.

Робкими, сконфуженными, неловкими, подобно тигру, которому не удался прыжок: такими, о высшие люди, вы, бывало, крались при мне сторонкой. Вам не удался б р о с о к костей.

Но, игроки в кости, что за беда! Вы не научились играть и шутить, как надо! Не всегда ли сидим мы за большим столом для шуток и игр?

И если великое вам не удалось, разве это значит, что и вы — не удались? И если вы сами не удались, разве это значит, что не удался и — человек? А не удался человек, так что же: бодрей! веселей!



Чем выше порода, тем реже она удается. О высшие люди, вы гости мои, разве не все вы — неудавшиеся?

Не падайте духом, что за беда! Сколь многое еще возможно! Научитесь смеяться над собой так, как надо!

И что за диво, если вы не удались и наполовину удались, вы, полуразбитые! Разве не в вас стучит и шевелится — г р я д у щ е е человека?

Все самое что ни есть далекое, глубокое, до звезд высокое в человеке, его чудовищная сила: не бурлит ли, пенясь, все это в вашем горшке?

Что за диво, если иной горшок разобьется! Научитесь над собой смеяться так, как надо! Вы, высшие люди, сколь многое еще возможно!

И впрямь, сколь многое уже удалось! Как богата эта земля маленькими хорошими совершенными вещами — удавшимися!

Обставьте себя хорошими совершенными вещами, о высшие люди! Вещами, чья золотая зрелость врачует сердце. Совершенное учит уповать.

*
* *
*

16.

Какой грех здесь на земле был до сих пор наибольшим грехом? Не было ли им слово того, кто говорил: «Горе смеющимся!»

Или он не нашел на земле причин для смеха? Значит, он плохо искал. И дитя находит здесь причины.

Он — недостаточно любил: иначе он полюбил бы и нас, смеющихся! Но он ненавидел нас, возмущался нами, вой и скрежет зубовой обещал он нам.

Разве надо тотчас проклинать там, где не любишь! Это, думается мне, дурной вкус. Но так поступал он, этот безусловный. Он был родом из черни.

И сам он любил далеко не достаточно: иначе он меньше негодовал бы на то, что его не любят. Великая любовь не х о ч е т любви: — она хочет большего.

Сойдите с дороги всех этих безусловных! Они бедные, больные люди, людская чернь: они злобно поглядывают на жизнь, у них недобрый глаз на эту землю.

Сойдите с дороги всех этих безусловных! У них тяжелые ноги и темные сердца: — они не умеют плясать. Как стала бы для этаких земля легкой!

*
* *
*

Кривыми приближаются все хорошие вещи к своей цели. Подобно кошкам выгибаются они горбом, они мурлыкают про себя в чайнии близкого счастья, — все хорошие вещи смеются.

Походка выдает, по с в о е м у ли пути идет человек: смотрите, как я хожу! А кто близок к своей цели, тот танцует.

И впрямь, в статую не обратился я и не стою перед вами оцепенелым, отупелым, окаменелым столбом; я люблю быстрый бег.

И хотя есть на земле и топь, и засасывающая унылость: у кого легкие ноги, тот пробегает и по тине и танцует словно по расчищенному льду.

Возвысьтесь сердцем, братья мои, выше! еще выше! Но не забывайте при этом ног! Выше поднимайте и ноги, вы, молодцы-танцоры, а еще лучше: стоять вам на голове!



Этот венец смеющегося, этот венец-веночек из роз, розарий: я сам увенчал себя этим венцом, я сам провозгласил священным мой насмешливый хохот. Никого другого не нашел я сегодня достаточно сильным, чтобы это свершить.

Заратустра-танцор, Заратустра легкий, кивающий крыльями, к взлету готовый, всех птиц зазывающий, легок и скор, как огонь, блаженно-легкий ветрогон: —

Заратустра — вещий правдолюб, Заратустра — ве-
щий смехолоб, не беспрекословный, не безусловный,
любитель прыжков и скачков вбок; я сам венчал себя
этим венцом!



19.

Возвысьтесь сердцем, братья мои, выше! еще выше!
И не забывайте при этом и ног! Выше поднимайте и но-
ги, вы, молодцы-танцоры, а еще лучше: стоять вам на го-
лове!

Бывают и в счастье тяжеловозы, бывают топтыгами
от рождения. Уморительны их усилия слона, который
силится — на голове устоять.

Но разве не лучше одуреть от счастья, чем от не-
счастья, разве не лучше топтыгой плясать, чем хро-
мать. Так научитесь же от меня моей мудрости: даже
у наихудшей вещи на свете две хорошие оборотные
стороны, —

— даже у наихудшей вещи на свете хорошие ноги-
танцульки: так научитесь же сами, о высшие люди, ста-
новиться, как следует, на свои настоящие ноги!

Так разучитесь же пузырям вздоров и унынию чер-
ни! О, сколь унылыми кажутся мне сегодня даже го-
роховые шуты черни! Однако во власти черни это се-
годня.



Будьте как ветер, когда он вырывается из горных щелей: под свою собственную дудку хочет он плясать, моря дрожат и прыгают у него под стопами.

Кто дает крылья ослам, кто доит львиц, хвала этому доброму непримиримому духу, который как буйный вихрь на всякое сегодня, на всякую чернь, —

— кто всем пустоселам и пустомелям враг, и всем поблеклым листьям и сорным травам: хвала этому дикому, доброму, свободному духу-урагану, который по топям и уныlostям пляшет, словно по луговинам!

Который ненавидит этих шелудивых собак, эту чернь и всякое неудавшееся мрачное отродье: хвала этому духу всех свободных духом, хохочущей буре, засыпающей пылью глаза зачиревшим чернителям жизни!

О высшие люди, ваш злейший порок: вы не научились танцевать так, как надо, — выше себя, над собой танцевать! Что за беда, если вы не удались!

Сколько многое еще возможно! Так **н а у ч и т е с ь** же над собой до упада смеяться! Возвысьтесь сердцем, вы, молодцы-танцоры, выше! еще выше! И не забывайте при этом и молодой смех!

Этот венец смеющегося, этот венок из роз, розарий: вам, братья мои, бросаю я этот венец! Смех провозгласил я священным, о высшие люди, так **н а у ч и т е с ь** же — смеяться!

*
* *
*

Песнь тоски-уныния

Когда Заратустра произносил эти речи, стоял он близко ко входу в берлогу; но при последних словах ускользнул он от своих гостей и на короткое время выбежал на вольный воздух.

«О чистые запахи вокруг меня, — воскликнул он, — о блаженная тишина вокруг меня! Но где же мои звери? Ко мне, ко мне, ты мой орел, ты моя змея!

Скажите же мне, звери мои: эти высшие люди, вместе взятые, — быть может, они не хорошо п а х н у т? О чистые запахи вокруг меня! Только теперь я знаю и чувствую, как я вас люблю, звери мои».

— И Заратустра проговорил еще раз: «Я люблю вас, звери мои!» Орел же и змея прижались к нему, когда он произносил эти слова, и подняли к нему головы. Так тихо стояли они втроем, скучившись, и втягивали и всасывали ноздрями свежий воздух. Ибо воздух был снаружи лучше, чем близ высших людей.

*
* *
*

2.

Но едва покинул Заратустра берлогу, как поднялся старый кудесник, лукаво огляделся по сторонам и сказал: «Он вышел!

И вот уже, о высшие люди, — позвольте мне пощекотать вас этим хвалебным и лестным именем, уподобясь в этом ему самому, — вот уже нападает на меня мой злой дух-обманщик, дух-кудесник, мой бес тоски-уныния,

— он противится этому Заратустре по самой природе своей: простите же ему! И вот х о ч е т кудесничать

он перед вами, ибо как раз настал его час: напрасно борюсь я с этим злым духом.

Всем вам — как бы ни возносили вы себя на словах, будете ли вы называть себя «вольнодумцами», или «истинными», или «кающимися духом», или «раскованными пленниками», или «великими взыскующими», —

— всем вам, подобно мне страдающим в е л и к и м о т в р а щ е н и е м, вам, для которых старый бог умер, а новый бог не лежит еще и в колыбели спеленутым и убаюканным, — всем вам мил мой злой дух и бес-кудесник.

Я знаю вас, о высшие люди, я знаю его — я знаю и это чудовище, которое я люблю вопреки воле, этого Заратустру: он сам кажется мне часто похожим на прекрасную маску святого,

— похожим на новый невиданный маскарад, который по вкусу моему злому духу, бесу тоски-уныния: — я люблю Заратустру, так оно порой кажется мне, ради моего злого духа. —

Но уже нападает он на меня и нудит меня, этот дух тоски-уныния, этот вечерне-сумеречный бес: о высшие люди, ему страстно хочется —

— распахните же настезь глаза! — ему страстно хочется явиться г о л ы м, будь то в образе мужеском, будь то в образе женском, я еще и сам того не знаю: но он идет, он нудит меня, увы! Распахните настезь ваши чувства!

Звон дня замирает, для всех вещей наступает вечер, даже для вещей наилучших; так внимайте и примечайте, о высшие люди, каков этот бес, будь то мужчина, будь то женщина, этот дух вечерней тоски-уныния!»

Так говорил старый кудесник, огляделся лукаво по сторонам и взялся тогда за свою арфу.

*
* *
*

При ясном воздухе,
 Когда роса отрадой
 На землю ниспадает,
 Незримо, так неслышно: —
 Ах, нежны башмачки
 Росы-отрады, как у отрадно-кротких — :
 Ты помнишь ли, ты помнишь, сердце, дни,
 Когда алкало ты
 Слезинок небесных и росных капель,
 Палимое, алкало ты,
 Пока по желтым тропам трав
 Злобно вечерние взоры солнца
 Сквозь чернь деревьев пробежали,
 Знойно-слепящие взоры, так злорадно?
 «Поборник п р а в д ы? Ты? — глумились так —
 О, нет! поэт, и только!
 Зверь, крадущийся, кровожадный, коварный,
 Рожденный лгать,
 Надуманно, продуманно, — но лгать:
 Алкать добычи,
 В пестрой маске,
 Сам себе маска,
 Сам себе добыча —
 И о н — поборник правды?
 О, нет! Паяц — и только! Поэт — и только!
 Пестроречивый,
 Паяц под маской пестрокрикливый,
 Пронырливый — по лживым мостам слов,
 По пестрым радугам,
 Между мнимым небом
 И мнимой землею
 Парящий, скользкий, —
 Паяц — и т о л ь к о!
 Поэт — и т о л ь к о!

И он — поборник правды?
Не молчаливый —
Холодный, гладкий, стылый.
Нет, не икона,
И не столп бога,
Не выставлен пред храмом,
Как привратник бога:
Нет! Враг подобным идолам-истинам,
В любой пустыне дома, но не пред храмом,
С задором кошки
Прыжком в окно любое
Шмыг! в любой случай,
К любым джунглям принохиваясь,
Жадно-прежадно принохиваясь,
Чтобы ты по джунглям мог
Меж пятнистых-пестрых хищников
Грешно-здоровым и пестрым бегать,
Красивый,
С губой похотливой,
Блаженно-глумливый,
Блаженно-адский, блаженно-алчный,
Хищно, зорко ползать, бегать: —

Иль как орел — глядит он долго,
Долго в пропасти, оцепенев:
В с в о и же пропасти: — —
О, как они кручей здесь,
Срывом на срыв,
Глубью за глубию все глубже змеятся! —
Вдруг
С налету, стремглав
Крылья на срез, упав,
Когтят ягненка,
Разом, в голоде яром,
Ягняток алча,
Злобясь на ягнячьи души,

Злобно злобясь на всех, кто глядит
По-овечьи, ягнячьи, кудлато-шерстно,
Серо, с ягнячье-овечьим шелкошерстием!

Итак,
Орлины, пантерины
Те томления поэта,
Те т в о и томленья под тысячью масок,
Ты, о паяц! Ты, о поэт!

Ты в человеке видел
Равно овцу и бога — :
Бога т е р з а т ь в человеке,
Как овцу в человеке,
И терзая с м е я т ь с я —

Вот о н о, твое блаженство!
Орла и пантеры блаженство!
Паяца и поэта блаженство!» — —

При ясном воздухе,
Когда серп месяца,
Зеленый меж багрян,
Завистливо скользит:
— Враждебен дню,
При каждом шаге тайно
Срезая роз гирлянды,
Пока не сникнут розы,
Не сникнут розы бледно к склону ночи: —

Так сник и я когда-то
В моем безумье истины,
В моем денном томлении,
Устав от дня, больной от света,
— Сникал я к вечеру, сникал я к тени:
Спаленный истиной,
В жажде истины:
— Ты помнишь ли, ты помнишь, сердце, дни —

Когда алкало ты? —
Ах я изгнанник
От света истины!
Паяц, и только!
Поэт, и только!

*
* * *

О науке

Так пел кудесник; и все собрание гостей, как птицы, попало незаметно в сеть его коварного и тоскливого сладострастия. Только совестливый духом не дал себя уловить: мигом выхватил он у кудесника арфу и воскликнул: «Воздуха! Скорей чистого воздуха сюда! Скорей Заратустру сюда! Ты эту берлогу делаешь душной и ядовитой, ты, старый, злорадный кудесник!

Ты увлекаешь, лживый, лукавый, к неведомым желаниям и пустыням. И горе, когда такие, как ты, начинают ломаться и кривляться и с т и н о й!

Горе всем вольным духом, кто не остерегается п о д о б н ы х кудесников! Прощай навсегда их воля: ты зовешь, ты заманиваешь обратно в тюрьму, —

— ты, старый, уныло-тоскующий бес, в твоей жалобе слышится приманная дудочка. Ты похож на тех, кто похвалой целомудрию тайно зовет к сладострастным усладам!»

Так говорил совестливый духом; старый же кудесник огляделся кругом, наслаждался своей победой и потому проглотил досаду, которую вызвал у него совестливый. «Умолкни! — сказал он смиренным голосом, — хорошие песни любят хороший отзвук; после хороших песен следует долго молчать.

Так поступают все они, все эти высшие люди. Но ты, верно, мало что понял из моей песни? Мало в тебе от дара кудесника».

«Ты хвалишь меня, — отвечал совестливый, — отделяя меня от себя, добро! Но вы, остальные, что я вижу! Вы все еще сидите с похотливыми глазами: —

Вы, свободные душой, где же ваша свобода! Мне представляется, будто вы похожи на тех, кто долго заглядывался на блудливых пляшущих голых девушек: сами ваши души пляшут!

В вас, о высшие люди, должно быть, больше от того, что этот кудесник называет своим злым духом чудес и мороков: мы, должно быть, куда как различны.

И впрямь, мы достаточно переговорили и передумали совместно, до того как Заратустра вернулся в берлогу, чтобы твердо знать: да, мы различны.

Мы и здесь наверху и щ е м различного, вы и я. Я ищу побольше б е з о п а с н о с т и, потому и пришел я к Заратустре. Ибо он еще самая крепкая башня и воля —

— сегодня, когда все колеблется, когда вся земля сотрясается. А вы, — стоит мне увидеть, какие вы делаете глаза, и мне представляется, будто вы ищете побольше н е у в е р е н н о с т и,

— больше содрогания, побольше опасности, побольше землетрясения. Вас влечет, так мнится мне, простите мне мое самомнение, о высшие люди, —

— вас влечет к наихудшей, наиопаснейшей жизни, которая м н е внушает наибольший страх, к жизни диких зверей, к лесам, берлогам, стремнинам и неверным безднам.

И не водители, выводящие из опасности, нравятся вам больше всего, а отводящие вас от всех путей, со-вратители. Но если такое влечение д е й с т в и т е л ь н о живет в вас, оно все-таки представляется мне н е в о з м о ж н ы м.

Страх — вот унаследованное основное чувство человека; из страха возникает все: первородный грех и наследственная добродетель. Из страха выросла и моя добродетель, название которой: наука.

Страх перед дикими зверями — он больше всего прививался человеку, страх и перед зверем, которого человек скрывает в себе и страшится: — Заратустра называет его «внутренним скотом».

Этот долгий давний страх стал, наконец, утонченным, стал духовным, одухотворенным, — сегодня, как кажется мне, он носит название: н а у к а». —

Так говорил совестливый; но Заратустра, который вот только сейчас вернулся в свою берлогу и слышал и угадал последнюю речь, кинул совестливому целую пригоршню роз и стал смеяться над его «истинами». «Как! — воскликнул он, — что это я слышал вот только сейчас? Впрямь, мне представляется, что ты дурак или я сам дурак: и «истину» твою я мигом поставлю на голову.

Именно с т р а х — для нас исключение. Мужество же, и риск приключения, и любовь к неизвестному, к еще не изведанному никем, мужество — вот в представлении моем вся предыстория человека.

У зверей, самых диких и мужественных, отхитрил и отнял он завистливо все их добродетели: только так вырос он — в человека.

Э т о мужество, став, наконец, утонченным, духовным, одухотворенным, это человеческое мужество с крыльями орла и мудростью змеи: о н о, так мне кажется, называется сегодня —»

«З а р а т у с т р о й!» — в один голос закричали все сидевшие в сборе и тут же разразились шумным смехом; но поднялось от них как бы тяжелое облако. Смеялся и кудесник, и проговорил с умом: «Ну, вот! Нет его, исчез мой злой дух!

И не я ли сам вас предостерегал от него, говоря, что он обманщик, дух лжи и морока?

Особенно когда он предстает во всей своей наготе. Но я ли ответствен за его козни! Я ли создал его и мир?

Добро! Будем вновь добры и бодры духом! И хотя Заратустра злобно поглядывает — посмотрите-ка на него! он сердится на меня — :

— но пока ночь придет, он научится вновь меня любить и хвалить, он не может долго прожить, не совершив таких нелепостей.

Он — любит своих врагов: в этом искусстве он искуснее всех, кого я только встречал. Но он мстит за это — своим друзьям!»

Так говорил старый кудесник, и высшие люди выражали ему одобрение: и стал Заратустра их всех обходить и со злобой и любовью пожимать руки своим друзьям — как человек, которому надо и что-то загладить, и в чем-то извиниться перед каждым из них. Но когда он дошел при этом до выхода из берлоги, гляди! его вновь потянуло на чистый воздух и к своим зверям, — и он уже было собрался выскользнуть.

*
* *
*

В кругу дочерей пустыни

«Не уходи от нас! — сказал тут странник, который называл себя тенью Заратустры, — останься с нами, не то снова найдет на нас былая мрачная унылость.

Уже дал нам вкусить этот старый кудесник наилучшее из благ твоих, и вот, взгляни, уже у доброго благочестивого папы слезы в глазах, и он уж совсем было собрался поплыть по морю тоски-уныния.

Пусть эти короли надевают на себя личину веселья перед нами: этому куда как хорошо научились о н и сегодня от нас! Но не будь здесь свидетелей, бьюсь об заклад, и у них возобновилась бы былая недобрая игра —

— недобрая игра волочащихся облаков, влажной унылости, хмурого неба, украденных солнц, завывающих осенних ветров,

— недобрая игра нашего завыванья и крика в беде о помощи: останься с нами, о Заратустра! Здесь много скрытого отчаянья, оно хочет высказаться, много вечернего сумрака, много облачности, много спертого воздуха!

Ты накормил нас ядерной мужней пищей и крутыми речениями: не допусти же, чтобы на нас при застолье опять напали изнеженные женственные духи!

Только ты делаешь воздух вокруг себя ядерным и ясным!

Встречался ли мне когда на земле столь здоровый воздух, как у тебя в берлоге?

А видел я немало стран, мой нос научился исследовать и оценивать всяческий воздух: но у тебя пьют мои ноздри свою высшую усладу!

Разве только, — о разве только, — о прости мне одно давнее воспоминание! Прости мне одну давнюю застольную песню, которую некогда сочинил я среди дочерей пустыни: —

— и у них был такой же здоровый светлый восточнo-утренний воздух; там был я наиболее отдален от облачной влажной уныло-тоскливой Старой Европы!

Тогда любил я таких дев востока и иные, лазурные небеса, над которыми не нависают ни тучи, ни думы.

Вы не поверите, как они мило сидели, когда не плясали, глубокие, но безмысленные, словно маленькие тайны, словно лентами увитые загадки, словно орехи к застолью —

правда, пестрые и чуждые! Но безоблачные : загадки, которые не трудно разгадать: из любви к таким девам сочинил я тогда застольный псалом».

Так говорил странник и тень; и прежде, чем успел кто ответить ему, он уже ухватил арфу старого кудесника, скрестил ноги и оглядел всех важно и мудро: — ноздрями же он вопросительно-медленно втягивал воздух, как тот, кто в новых странах пробует новый воздух. Затем, подвывая, начал он петь.

*
* *
*

2.

Растет пустыня вширь: увы тому,
кто затаил пустыни!

— Торжественно!

Да, да, торжественно!

Достойный приступ!

Торжественно по-африкански!

Достойно льва

Или моральной обезьяны-ревуна —

— но ничто для вас,

О вы, прелестные подруги,

У ваших ножек мне

Впервые, право,

Мне, европейцу, у подножья пальм

Сидеть позволено. Селá.

И впрямь, чудесно!

Так вот сажу я,

К пустыне близко и опять

Так далеко от пустыни,

Сам унесен в пустынность:

То есть проглоченный

Вот этой крошкой-оазисом — :

— она как раз зевая
Разинула рот свой.
Благоуханнейший ротик:
Туда я упал,
Пропал, проник — прямо к вам,
О вы, прелестные подруги! Селá.

Хвала, хвала тому киту,
Если не благоденствовал так
Гость его! — Ясен вам
Сей мой намек от учености?
Хвала его брюху,
Если было
Столь же миленьким оазисом-брюхом
Оно, как это: что беру под сомнение,
— потому и прибыл я из Европы:
Она же мнительнее всех прочих
Самочек староватых.
Да спасет ее бог!
Аминь!

Так вот сажу я
В этом малом оазисе,
Словно финик я,
Бурый, сахарный, золотой, бухлый,
Так алча кротко рта красотки,
А больше — зубок красотки-девы,
Тех льдистых, острых, белоснежных
Кусачек; каждый горячий
Финик сердцем по ним сгорает. Селá.

Вот с такими плодами
Сходный, слишком сходный,
Лежу я здесь, жучками
Крылатыми
Ороен, обжужжен.

Равно и теми точечными,
Глупенькими, грешненькими
Из вздоров и затей, —
И вами осажден,
О вы, немые, чающие
Красотки-кошки,
Дуду и Зулейка,
— о с ф и н к с е н — так-то в слово
Много чувств вложил я:
(Да простит мне бог
Словоковерканье!)
— здесь сижу и лучший воздух нюхаю,
Впрямь, райский воздух,
Светлый, легкий воздух, злато-полосный,
Воздух, какой в кои веки
Ронял на землю месяц, —
Пуская, случайно,
Иль то случилось от своеволия?
Если верить древним поэтам.
Я ж усомнившийся и здесь —
Я сомневаюсь,
Потому и прибыл я из Европы,
Она же мнительнее всех прочих
Самочек староватых.
Да спасет ее бог!
Аминь!

Прекрасный воздух впивая
И ноздри раздув бокалом,
Без грядущего, без воспоминаний
Сижу я здесь, весь,
О вы, прелестные подруги,
И вот на пальму смотрю,
Как она танцоркой вдрут
Стан согнет, разогнет и бедром качнет,
— самому не утерпеть, коль долго смотреть —

Ах, танцоркой она, как мне кажется,
Всегда, всегда, так долго, долго
Все стояла только на одной ноге?
— так забыла стоймя, как мне кажется,
О другой ноге?
По крайней мере я
Тщетно искал утрату —
Где же клад-близнец,
Где вторая нога —
В том священном соседстве
Ее премиленькой, прехорошенькой
Веерной-взлетной и блестящей юбочки?
Да, коль вы мне, о, красотки-подруги,
Готовы верить сполна:
Она потеряла ее!
Ах, нет ее!
Не будет ее!
Другой ноги!
О, как мне жаль прелестной другой ноги!
Куда бы ей деться и грустить позабытой?
Ноге одинокой?
Быть может, в страхе перед
Злобным белокурым
Львом-зверюгой? — А вдруг она
Обгрызена, обглодана —
О жуть! Увы! Увы! обглодана! Селá.

Не плачьте же,
Вы, мягкие сердца!
Не плачьте, вы,
О, финики-сердца!
Сосцы молочные!
Сердца-лакрицы —
Сумочки!
Не плачь же больше,
Бледная Дуду!

Будь мужем, Зулейка!
Мужайся! мужайся!
— Иль уместно здесь
Подкрепительное,
Душекрепительное?
Елейная притча?
Торжественная треба? —

Эй, сюда! важность!
Добродетель-важность!
Европейца важность!
Дуй же, дуй же снова,
Раздувательный мех
Добродетелей!
Эй!
Еще раз рыкнем,
Морально рыкнем!
Словно моральный лев,
Пред лицом дочерей пустыни рыкнем!
— Ибо вой добродетели,
Вы, прелестные девушки,
Куда там больше
Жара души европейца,
Жадной тоски европейца!
Вот стою я уже,
Как европеец,
Не могу иначе,
Да поможет мне бог!
Аминь!

Р а с т е т п у с т ы н я в ш и р ь, у в ы т о м у,
к т о з а т а и л п у с т ы н и!

*
* * *

1.

После песни странника и тени берлога сразу наполнилась шумом и смехом; и так как собравшиеся гости говорили все разом и так как осел при таком оживлении не мог смиренно стоять, нашла на Заратустру легкая неприязнь и насмешка к своим гостям: что не мешало ему радоваться их веселости. Ибо она казалась ему признаком выздоровления. И вот выскользнул он на свежий воздух и говорил к своим зверям.

«Куда же девались все их беды? — говорил он и сам уже вздохнул свободно, позабыв о своей легкой досаде, — у меня разучились они, по-видимому, воплю о помощи в беде!

— хотя вопить, к сожалению, и не отучились». И Заратустра заткнул себе уши, ибо в это мгновение «и-я» словно как-то причудливо слилось с шумом ликования высших людей.

«Им весело, — начал он снова, — и кто знает? быть может, за счет хозяина; и хоть научились они от меня смеяться, все же не м о й это смех, не ему они учились.

Впрочем, что за беда! Они старые люди, они выздоравливают на свой лад, они смеются на свой лад; мои уши терпели гораздо худшее и все же не огрубели.

Сегодня день победы: уже отступает, уже бежит д у х т я ж е с т и, мой старый заклятый враг! Как славно хочет этот день завершиться, такой дурной и тяжелый поначалу!

А завершиться он х о ч е т. Уже близится вечер: сюда скачет он по морю, лихой наездник! Как убаюкивает он себя, блаженный, возвращаясь домой, на своих пурпурных седлах!

Небо ясно глядит, мир покоем глубок: о вы, диковинные гости, пришедшие ко мне, не правда ли, стоит жить у меня?»

Так говорил Заратустра, и тут снова донесся гомон и хохот высших людей из берлоги: тогда вторично заговорил Заратустра.

«Они клюнули, моя приманка действует, уже отступает от них враг, дух тяжести. Уже учатся они над собой смеяться, если я не ослышался?»

Моя пища для мужей воздействует, моя медоговорка и крутоговорка: и впрямь, я не кормил их пучащей ботвой! Напротив, я кормил их пищей воинов, пищей завоевателей: новые страсти-желания пробуждал я.

Новые надежды в их руках и ногах, их сердце ширится. Они находят новые слова, вскоре их дух во все ноздри задышит.

Такая пища, конечно, не для детей, но и не для томящихся старых бабонек и молодых бабенок. Их нутро переубеждают иным способом; им не врач я и не учитель.

От в р а щ е н и е отступает от этих высших людей: веселейте! это моя победа. Мое царство дает им уверенность, глупый стыд бежит прочь, они высказываются откровенно.

Они открывают свое сердце, счастливые времена возвращаются к ним, они вновь празднуют и пережевывают — они становятся б л а г о д а р н ы м и.

Э т о принимаю я за лучшее предзнаменование: они становятся благодарными. Еще немного, и они станут выдумывать для себя праздники и устанавливать памятники своим престарелым радостям.

Они в ы з д о р а в л и в а ю щ и е!» Так говорил Заратустра в веселии своему сердцу и загляделся вдаль;

звери его жались к нему и чтили счастье его и его глубокое молчание.



2.

Но вдруг насторожилось в испуге ухо Заратустры: в берлоге, до сих пор полной гомона и смеха, наступила внезапно гробовая тишина; — его ноздри почуяли дым благовоний и ладана, словно сжигали там кедровые шишки.

«Что это там? Что они делают?» — спросил он себя и подкрался ко входу в берлогу, чтобы неприметно для гостей наблюдать за ними. И, о чудо из чудес! что привелось ему увидеть собственными глазами!

«Все они вновь стали б л а г о ч е с т и в ы м и, они м о л я т с я, они ошалели!» — проговорил он и изумился до крайности. И впрямь! все эти высшие люди — оба короля, папа в отставке, коварный кудесник, добровольный нищий, странник и тень, старый прорицатель, совестливый духом и урод из уродов человеческих: все они, словно дети и верующие старушки, стояли на коленях и молились ослу. И как раз тогда урод из уродов человеческих принялся клокотать и хрипеть, будто нечто невыговариваемое вот-вот вырвется из него словом; но когда он, действительно, добрался до слов, вот те на, они оказались благочестивой престранной литанией, славословием обоготворенному и ладаном окуренному ослу. Литания эта звучала так:

Аминь! и хвала, и почет, и мудрость, и слава, и крепость богу нашему во веки веков!

— А осел кричал на это: «и-я».

Он несет наше бремя, он принял образ слуги, он терпелив сердцем и никогда не глаголет «нет»; и кто бога своего любит, тот его и карает.

— А осел кричал на это: «и-я».

Он не говорит: разве что миру, им сотворенному, изрекает он неизменно «да и я» — так восхваляет он свой мир. [Ведь] это хитрость его не говорит: потому редко бывает он неправ.

— А осел кричал на это: «и-я».

Неприметным проходит он по миру. Сера его кожа, которой обтянул он свою добродетель. Если есть у него дух, так он скрывает его; зато каждый верит в его длинные уши.

— А осел кричал на это: «и-я».

Что за сокровенная мудрость, что за длинные у него уши и что он всегда говорит: «да и я» и никогда не говорит «нет, не я». Не сотворил ли он мир по своему образу и подобию, а именно, так глупо, как только мог?

— А осел кричал на это: «и-я».

Ты ходишь прямыми и кривыми путями; тебе мало дела до того, что мнится нам, людям, прямым и кривым. По ту сторону добра и зла царство твое. В том невинность твоя, чтобы не знать, что есть невинность.

— А осел закричал на это: «и-я».

Только подумать, что никого не отталкиваешь ты от себя — ни нищих, ни королей. Малым сим не возбраняешь ты приходиться к тебе, и когда злые мальчишки дразнят тебя, то ты говоришь простодушно: «и-я».

— А осел кричал на это: «и-я».

Ты любишь ослиц и свежие смоквы, ты не привередлив в пище. Колючка щекочет тебе сердце, чуть только ты голоден. В том сокрыта мудрость бога.

— А осел кричал на это: «и-я».

*

* * *

1.

На этом месте литании Заратустра не в силах был дольше сдерживаться, сам завопил «и-я», еще громче осла, и прыгнул в самую середину своих ошалелых гостей. «Да что же это вы затеяли, люди? — выкрикнул он, срывая с пола молящихся. — Горе, если бы вас увидел кто иной, а не Заратустра:

Каждый решил бы, что вы с вашей новой верой тяжчайшие богохульники или наидураховские из старых дурех!

И ты, ты, старый папа, как это у тебя внутренне согласуется, что ты в образе таком поклоняешься здесь ослу, словно богу?»

«О Заратустра, — отвечал папа, — прости меня, но в делах божьих я просвещеннее даже тебя. Так и должно быть.

Лучше поклоняться богу в подобном образе, чем вовсе лишенному образа! Вдумайся в это слово, мой высокий друг: ты мгновенно догадаешься, что в слове таком есть зерно истины.

Кто говорил: «Бог есть дух» — тот до сей поры делал на земле самый большой шаг и скачок к неверию: такое слово на земле не легко исправить!

Мое старое сердце скачет и прыгает от радости, что есть еще на земле нечто для поклонения. Прости это, о Заратустра, старому благочестивому сердцу папы! — »

— «А ты, — обратился Заратустра к страннику и тени, — ты себя называешь и мнишь вольнодумцем? И ты занимаешься здесь подобным идолопоклонством и поповством?»

Впрямь, ты занимаешься здесь еще более скверным делом, чем у своих скверных девушек-смуглянок, ты, скверный нововер!»

«Да, дело скверное, — отвечал странник и тень, — ты прав: но при чем же тут я! Старый бог ожил, о Заратустра, что бы ты там ни говорил.

Урод из уродов всему виной: он его вновь пробудил. И он сам говорит, будто он его некогда убил: с м е р т ь ю богов всегда только предрассудок».

— А ты, — сказал Заратустра, — ты скверный старый кудесник, ты что содеял! Кто в наше свободное время будет впредь верить в тебя, если ты веришь в такой бого-ословский вздор?

Глупостью было то, что ты совершил; но как мог ты, такой умный, совершить такую глупость!

«О Заратустра, — отвечал умный кудесник, — ты прав, это была глупость, — да я за нее и расплачиваюсь тяжело».

— «А ты-то, — обратился Заратустра к совестливому духом, — взвесь-ка и приставь палец к своему носу! Нет ли здесь чего-либо противного твоей совести? Не слишком ли чист такой дух для такого моления и для духа, исходящего от этих богомольцев?»

«Тут что-то такое да есть, — отвечал совестливый духом и приставил палец к носу, — есть что-то такое в этом зрелище, даже благодетельное для моей совести.

Быть может, мне и не следовало бы верить в бога: но одно несомненно — в этом образе бог кажется мне наиболее вероятным.

Бог вечен, по свидетельству благочестивейших: у кого столько времени в запасе, тот может и повременить. Возможно дольше и возможно глупее: э т а к может он далеко пойти.

А у кого духа больше чем вдоволь, тот и сам, пожалуй, не прочь задурочиться до дурости и глупости.

Подумай-ка о самом себе, о Заратустра!

Ты и сам поистине мог бы, пожалуй, обратиться от преизбытка мудрости в осла.

Не идет ли совершеннейший мудрец охотно кривейшими из всех путей? За это говорит сама очевидность, о Заратустра: и ты сам — эта очевидность!»

— А ты наконец, — проговорил Заратустра и обернулся к уроду из уродов человеческих, который все еще лежал распростертый на земле, с протянутой к ослу рукой (ибо он поил его вином). — Говори ты, невыговариваемый, что ты тут набедокурул!

Ты кажешься мне преображенным, твои глаза пылают, мантия величия окутывает твое уродство: что сделал ты?

Правда ли, как утверждают вот эти, будто ты его вновь пробудил? Но к чему? Разве не был он со всей основательностью умерщвлен и устранен?

Ты сам кажешься мне пробудившимся: что сделал ты? Что переверотил? К чему сам обратился? Говори, невыговариваемый!»

«О Заратустра, — отвечал урод из уродов человеческих, — ты шельма!

Жив ли тот, или ожил, или основательно мертв, — кто из нас обоих знает это лучше всего? Тебя спрашиваю.

Но одно я знаю, — от тебя самого научился я этому, о Заратустра: кто основательнее всего хочет убить, тот смеется.

«Убивают не гневом, убивают смехом», — так говорил ты однажды. О, Заратустра, ты скрытный, ты безгневный крушитель, ты опасный праведник, — ты шельма!»

*
* * *

2.

Но тут случилось, что Заратустра, удивленный такими сплошь шельмовскими ответами, отпрянул ко входу

в свою берлогу и, обернувшись ко всем своим гостям, крикнул сильным голосом:

«О вы, проказники, собравшиеся здесь, вы, скомо-рохи! Что притворяетесь и прикрываетесь вы предо мной!

О, как у каждого из вас трепыхалось сердце от радости и злости оттого, что вам снова, наконец, удалось стать как дети, а именно благочестивыми, —

— что вы снова, наконец, поступали, как поступают дети, а именно молились, и складывали руки, и «отче наш» говорили!

Но пора вам покинуть эту детскую, мою собственную берлогу, где сегодня любая детская шалость ко двору. Охладите-ка здесь на вольном воздухе ваш детский задор и сердечный пыл!

Впрочем: не будете как дети — не войдете в царство небесное. (И Заратустра указал рукою наверх.)

Но мы вовсе и не хотим в царство небесное: мы стали мужчинами, — потому хотим мы земного царства».

*
* * *

3.

И еще раз взял Заратустра слово. «О вы, мои новые друзья, — говорил он, — вы диковинные, вы высшие люди, о, как вы сейчас нравитесь мне, —

— с тех пор, как снова стали веселыми! Все вы, впрямь, расцвели: мне кажется, для таких цветов, как вы, нужны н о в ы е п р а з д н и к и,

— какая-нибудь маленькая дерзкая нелепость, какое-нибудь богослужение, праздник во славу осла, какой-нибудь веселый шут Заратустра, буйный вихрь, который дочиста продул бы вам души.

Не забывайте этой ночи и этого праздника во славу осла, вы, высшие люди! Д о э т о г о додумались вы у меня, это принимаю я за доброе предзнаменование, — этакое изобретают только выздоравливающие!

И празднуйте вновь этот праздник во славу осла, — ради себя, но и ради меня! И в память обо м н е!»

Так говорил Заратустра.

*
* *
*

Песнь бродящих в ночи

1.

А между тем они один за другим вышли под открытое небо к прохладе задумчивой ночи; и сам Заратустра вел за руку урода из уродов человеческих, чтобы показать ему свой ночной мир, и большой крутлый месяц, и серебряные водопады близ берлоги. И вот стояли они безмолвно друг подле друга, такие старые люди, но с утешенным бодрым сердцем, и удивлялись про себя, что им так хорошо на земле; а таинственность ночи проникла им в сердце все глубже и глубже. И снова подумал про себя Заратустра: «О, как они сейчас нравятся мне, эти высшие люди!» — но он не высказал этого вслух: он читил их счастье и молчанье. —

Но тут случилось нечто такое, что было всего изумительнее в этот изумительный долгий день: урод из уродов принялся еще раз, уже в последний раз клокотать и хрипеть, и когда он добрался до слов, вот те на! вдруг выскочил из его рта округло и четко вопрос хороший, глубокий и ясный, который у всех, кто услышал его, взволновал сердце в теле.

«Друзья мои, скажите мне вы, — проговорил урод из уродов человеческих. — Как думается вам? Ради этого дня — я впервые доволен, что я всю жизнь жил.

И как ни много сказано этим признанием, мне и этого еще мало. Стоит жить на земле: один день, один праздник с Заратустрой научил меня любить землю.

«Э т о была — жизнь? — скажу я смерти. — Добро! Так еще раз!»

Друзья мои, как думается вам? Не скажете ли вы, подобно мне, в лицо смерти: Э т о была — жизнь? Добро! Во имя Заратустры: еще раз!» — —

Так говорил урод из уродов человеческих. А было это незадолго до полуночи. И что же, думаете вы, произошло тогда? Чуть услышали высшие люди его вопрос, они разом осознали свое преобразование и выздоровление и кто им все это дал: тут кинулись они к Заратустре, стали благодарить, благословлять, ласкать его, целовать руки ему, каждый выражая это на свой лад; так что одни смеялись, а другие плакали. Старый же прорицатель приплясывал от удовольствия; и хотя он, как полагают иные рассказчики, был упоен сладостью вина, несомненно, однако, еще сильнее был он упоен сладостной жизнью, так что и думать позабыл об усталости. А иные даже рассказывают, что тогда плясал и осел: очевидно, не напрасно напоил его перед тем вином урод из уродов человеческих. Все это могло быть так — могло быть и иначе; и если, по правде говоря, в тот вечер осел не плясал, то ведь произошли тогда события гораздо более значительные и диковинные, чем пляска какого-нибудь осла. Короче говоря, как гласит поговорка Заратустры: «Что за беда!»

*
* *
*

Заратустра же, пока все это происходило с уродом из уродов человеческих, стоял как пьяный: его взор угас, его язык заплетался, его ноги ходуном ходили. И кто мог бы угадать, какие мысли пробегали при этом в душе Заратустры? Но явно было, что его дух сейчас и отступил от него назад, унесся вперед и пребывал где-то в далеких далях, словно бы «на высоком горном кряже», — как сказано в Писании, — между двумя морями,

— между прошедшим и грядущим, блуждая, как тяжелая туча». Но мало-помалу, пока высшие люди, обнимая, поддерживали его руками, он немного пришел в себя и отстранил руками напиравшую толпу почитателей и старателей; но все же еще не говорил. Внезапно он повернул быстро голову, словно бы что-то услышал: тут приложил он палец к губам и проговорил: «И д е м!»

И тотчас стало кругом тихо и таинственно; из глубины же плыл медленным гудом звон колокола. Заратустра прислушивался к гуду, и прислушивались высшие люди; затем в другой раз приложил он палец к губам и снова проговорил: «И д е м! И д е м! В р е м я б л и з и т с я к п о л н о ч и!» — и голос его преобразился. Но сам он упорно не трогался с места: и стало еще тише и таинственнее, и все прислушались, даже осел, и почетные звери Заратустры — орел и змея, а равно и берлога Заратустры, и большой стылый месяц, и сама ночь. Заратустра же в третий раз приложил руку к губам и проговорил:

Идем! Идем! Идем! Будем бродить!
Бьет урочный час: мы пойдем бродить по ночи!

*
* *
*

О, высшие люди, время близится к полночи: и вот скажу я вам нечто, скажу на ухо, как тот старый колокол говорит на ухо мне, —

— так же таинственно, так же зловеще, так же сердечно, как ведет речь ко мне тот полуночный колокол, переживший больше, чем любой человек:

— тот самый колокол, что отсчитывал уже удар за ударом от биения-мучения сердца ваших отцов — ах! ах! как вздыхает она! как хохочет во сне! эта старая глубокая, глубокая полночь!

Тише! Тише! Уже слышится многое из того, что не смеет днем даже голос подать; но теперь, в прохладе ночной, когда и шум вашего сердца стихает, —

— теперь говорит, теперь звучит, теперь прокрадывается в ночные тревожные от бдения души: ах! ах! как вздыхает она! как хохочет во сне!

— разве не слышишь, как зловеще, сердечно, таинственно говорит к т е б е эта старая глубокая, глубокая полночь?

О м у ж, в н и м а й!

*
* *
*

4.

Горе мне! Куда кануло время? Не в глубокие ли колодцы окунулся я? Мир спит —

Ах, ах! собака воет, месяц сияет. Я готов скорей умереть, умереть, чем высказать вам, о чем думает сейчас мое полуночное сердце.

Нет меня — мертв я. Все миновало. Паук, что прядешь ты, прядильщик, вокруг меня! Алчешь крови! Ах! ах! роса садится, час близится —

— час, когда я в ознобе и зябну, час — как вопрос, и вопрос, и вопрос: кому будет это под силу?

— кому быть господином земли? Кому дано сказать: «Теките т а к, о большие и малые реки!» —

— близится час: о человек, о высший человек, в н и м а й! Эта речь для тонких ушей, для твоих ушей — что говорит глубь-полночь, знай!

*
* *

5.

Меня вихрь уносит, вся душа в танце. День-поденщик! День-поденщик! Кому быть господином земли?

Месяц остыл, ветер умолк! Ах! ах! Высоко ль вы уже взлетали? Вы танцуете: но нога — она не крыло.

Вы молодцы-танцоры, пришел веселью конец, вино осело на дно, все кубки — хрупки, могилы глухо шепчут.

Вы не так высоко взлетели: и вот косноязычат могилы — «Спасите мертвых! Почему так длительна ночь? Не опьяняет ли нас месяц?»

О, высшие люди, спасите могилы, пробудите трупы! Ах, что точит там червь? Близится, близится час, —

— бурчит колокол, бормочет сердце, еще точит древесный червь, сердечный червь. Ах! Ах! О, м и р г л у б о к!

*
* *

6.

Ах, шарманка-приманка! Ах, шарманка-приманка! Я так люблю твой звук, твой опьяненно-влюбленный ква-

куший звук! — как издавна, как издалека ко мне твой доносится звук, разносясь далеко от прудов любви!

Ты, старый колокол, ты, шарманка-приманка! Какая скорбь не пронзала твое сердце жалом! Скорбь отца, скорбь отцов, скорбь праотцев, твоя речь созрела, —

— созрела подобно золотой осени и поре полуденной, подобно моему сердцу отшельника. И вот ты говоришь: самый мир созрел, виноград уже рдеет,

— умереть хочет он, умереть от счастья. О, высшие люди, вам не пахнуло ль в ноздри, не вдохнули ль вы запах? Таинственно притекает к нам запах из бездны,

— благоухание и запах вечности, словно блаженство роз, словно от вина золотого запах старого счастья,

— опьяненного полночного счастья-смерти, которое поет: о, мир глубок, и г л у б ж е, ч е м д е н ь д у м а л в с т а р ь!



7.

Пусти меня! Пусти меня! Я слишком чист для тебя. Не прикасайся ко мне! Не стал ли мой мир сейчас совершенным?

Моя кожа слишком чиста для твоих рук. Пусти меня, ты глупый увалень, душный день! Разве полночь не светлее?

Пусть самым чистым быть господами земли, самым незнакомым, самым сильным полуночным душам, — что светлее и глубже, чем день любой.

О день, ты топчешь за мной? Ты тянешься за моим счастьем? Для тебя я богат, одинок, скрытый клад, золота склад?

О мир, ты хочешь м е н я? Для тебя я от мира? Для тебя я от духа? Для тебя я от божьего духа? Но послушайте, день и мир, вы слишком неловки, —

— имейте более умелые руки, хватайтесь за более глубокое счастье, за более глубокое несчастье, за любого бога, но не за меня:

— мое несчастье, мое счастье глубоко, ты, диковинный день, но я все же не бог, не ад бога: с к о р б ь — м и р г л у б и н.

*
* . *

8.

Скорбь бога глубже, о диковинный мир! Ухватись за скорбь бога, но не за меня! Что я! Опьяненная шарманка-приманка, —

— полуночная шарманка, колокольчик-квакуша, никому не понятная, но которая д о л ж н а говорить перед глухими, о высшие люди! Ибо вам непонятен я!

Где ты? Где ты? О юность! О полдень! О пора пополуночи! Вот и вечер пришел, и ночь, и полночь — пес воет, ветер:

— разве ветер не пес? Он визжит, он тьякает, он воет. Ах! Ах! Как вздыхает она, как хохочет она, как хрипит и кричит эта полночь!

Как она трезво теперь говорит, эта опьяненная поэтесса! Она, верно, перепила свое опьянение? Она приободрилась от бодрствования? Она пережевывает?

— свою скорбь пережевывает она во сне, эта старая глубокая полночь, а еще больше свою радость. Да, радость, когда и скорбь так глубока: н о р а д о с т ь г л у б ж е в м и р в о ш л а.

*
* . *

Ты, лоза виноградная! Что величаешь меня? Ведь я обрезал тебя! Я лют, ты вся в крови — чего хочет твоя хвала от моей опьяненной лютости?

«Все уже завершённое, все зрелое — хочет смерти!» — так твердишь ты. Благословен, благословен, нож виноградаря! Но все незрелое хочет жить: увы!

О скорби стон: «Сгинь! Прейди, о скорбь!» Но все страдающее хочет жить, чтобы созреть, ликовать и томиться,

— томиться по далекому, высокому, по более светлоокому. «Я хочу наследников, — говорит все страдающее, — я хочу детей, я с е б я не хочу», —

Но радость не хочет ни детей, ни наследников, — радость хочет саму себя, хочет вечности, хочет возврата, хочет всего себевечноравного.

О скорби стон: «Крушись, в крови будь, сердце! Пляши, нога! Окрылись, крыло! Восстань, воспрянь! О скорбь! Бодрей! Веселей! Ты, мое старое сердце! С т о н с к о р б и: «С г и н ь!»

*
* * *

10.

О, высшие люди, как вам думается? Кто я — прорицатель? Мечтатель? Опьяненный воздыхатель? Снотолкователь? Полуночный колокол?

Иль я капля росы? Или дуновение-дыхание вечности? Иль вы не слышите? Не обоняете? Сейчас стал мой мир совершенным, полночь тот же полдень, —

скорбь та же радость, проклятие то же благословение, ночь то же солнце, — бегите, или вы узнаете: мудрец тот же глупец.

Говорили ли вы когда, хотя бы раз, «да» единой радости? О, друзья мои, так вы говорили «да» и в с я к о й скорби. Все вещи сцеплены, снизаны, слюблены, —

— хотели ль вы, хотя бы раз, два раза, что уже было раз? Говорили ли вы хотя бы раз: «Ты, счастье, мне мило! Шмыг! Спыхло!» Так хотелось вам, чтобы все б ы л о е обратно было!

— чтобы все было сызнава, все было вечным, все было сцепленным, снизанным, слюбленным! О, так л ю б и л и вы мир, —

— вы, вечные, любите его всегда и вечно: и даже к скорби вы говорите: о сгинь, прейди, но возвратись назад! А х, р а д о с т ь — к в е ч н о с т и с т р е л а!

*

* * *

11.

Радость хочет вечности всех вещей, хочет меду, хочет дрожжей, хочет опьяненной полуночи, хочет могил, хочет слез утешения и слез на могилах, хочет золотой вечерней зари —

— чего только не хочет радость! она алчней, сердечней, голодней, страшней, таинственней, чем любая скорбь, она хочет с е б я, она впивается зубами в с е б я, воля кольца борется в ней до конца, —

— она хочет любви, она хочет ненависти, она сверхбогата, она дарит, отшвыривает, умоляет, слезно молит, чтобы кто-нибудь взял ее, благодарит берущего, ей б ы л а бы любя ненависть к ней, —

— так богата радость, что она жаждет скорби, жаждет ада, жаждет ненависти, позора, всего м и р а — ибо мир, о, вам ли не знать его!

О, высшие люди, по вас тоскует она, необузданная, блаженная — по вашей скорби, о неудавшиеся! По неудавшимся тоскует всякая вечная радость.

Ибо всякая радость хочет саму себя, потому хочет она и сердечных мук! О счастье! О скорбь! О, крушись, сердце! О высшие люди, знайте же, что радость к вечности стрела,

— к вечности в с е х в е щ е й стрела, к г л у б о к о й в е ч н о с т и стрела!

*
* * *

12.

Выучили вы мою песнь? Разгадали вы, чего хочет она? Веселей, веселей! Вы высшие люди, так спойте же мне мою хоровую песнь!

Сами спойте мне песнь, чье название «Еще раз», чей смысл «во веки веков»! — спойте, о высшие люди, хоровую песнь Заратустры!

О муж, внимай!
Что говорит глубь-полночь, знай!
«Спала, был срок, —
Глубокий сон разбил звонарь: —
О, мир глубок,
И глубже, чем дню дан намек.
Скорбь — мир глубин —,
Но радость — глубже в мир вошла:
Стон скорби: «Сгинь!»
Но радость к вечности стрела —,
— к глубокой вечности стрела!»

*
* * *

А поутру, ночь спустя, прынул Заратустра со своей постели, препоясал бедра и вышел из берлоги, ярый и могучий, как заревое солнце, восходящее из-за темных гор.

«Ты, великое светило, — проговорил он, как уже говорил однажды, — ты, глубокое око счастья, чем было бы все счастье твое, не будь т е х у тебя, кому ты светишь!»

И если бы они по каморкам оставались, между тем как ты уже бодрствуешь, и восходишь, и одаряешь, и оделяешь; как разъярилась бы тогда твоя гордая стыдливость!

Добро! Они еще спят, эти высшие люди, между тем как я уже бодрствую: н е о н и мои истинные спутники! Не их жду я здесь на моих горах.

К делу моему, ко дню моему порываюсь я: но непонятна им тайна знамения моего утра, мои шаги — для них не зов пробудный.

Они все еще спят в моей берлоге, еще упивается их сон моими полуночами. Но уха, того настороженно прислушивающегося ко м н е — настороженно п о с л у ш н о г о уха недостает их телам».

— Так говорил Заратустра своему сердцу, когда солнце восходило: потом взглянул он вопросительно ввысь, ибо слышал вверху над собой пронзительный крик своего орла. «Добро! — воскликнул он к небу, — вот что мне по вкусу и по нраву. Мои звери бодрствуют, ибо бодрствую я.

Мой орел бодрствует и, как я, прославляет солнце. Когтями орла хватает он новый свет. Вы истинные звери мои, и я люблю вас.

Но еще недостает мне моих истинных людей!» —

Так говорил Заратустра; но тут случилось нечто неожиданное, послышалось ему внезапно, будто тьмы птиц закружились, запорхали вокруг него, — однако всполох от такого множества крыльев и переполох над его головой были так велики, что он закрыл глаза. И впрямь, словно туча упала на него с высоты, словно туча стрел, что дождем сыплются сверху на нового врага. Но гляди! тут была она тучей любви и упала она на нового друга.

«Что со мной?» — подумал Заратустра в своем изумленном сердце и медленно опустился на большой камень, лежавший у входа в его берлогу. Но пока он махал руками и вокруг себя, и над собой, и под собой, обороняясь от нежности птиц, гляди! тут приключилось с ним нечто еще более странное: он угодил невзначай руками в теплую гущу косматых волос; и тут же раздался близ него рык — ласковый длительный львиный рык.

«Знамень е г р я д е т», — проговорил Заратустра, и сердце его преобразилось. И впрямь, чуть просветлело, — и вот лежит у его ног желтая могучая зверюга, и головой припадает к его коленям, и отпустить его не хочет в приизбытке любви, и напоминает собаку, которая находит своего бывшего хозяина. Однако и голуби в изъявлении любви были не менее ревностны, чем лев; и всякий раз, чуть прошмыгнет какой голубь мимо носа льва, как лев встряхивал головой, и диву давался, и еще смеялся добавок.

На все это Заратустра вымолвил только одно слово: «М о и д е т и б л и з к о, м о и д е т и» —, затем стал нем. Но с сердца его спала тяжесть, и из глаз его капали слезы и падали ему на руки. И уже ни на что больше не обращал он внимания и сидел недвижим, даже не обороняясь от зверей. А голуби сновали туда и назад, то отлетая, то подлетая, и садились ему на плечи, и ласкали его белые волосы, и не было конца их неж-

ности и ликованию. А могучий лев неизменно лакал слезы, падавшие на руки Заратустры, и при этом застенчиво рычал и ворчал. Так вели себя эти звери. —

Длилось все это не то долгое, не то короткое время: ибо, строго говоря, на земле для подобных вещей времени н е т —. А между тем пробудились в берлоге Заратустры высшие люди и выстроились к шествию, чтобы выйти навстречу Заратустре и приветствовать его добрым утром: ибо, пробудившись, заметили они, что его нет среди них. Но чуть достигли они выхода из берлоги и шорох их шагов опередил их, как лев свирепо навострил уши, круто отвернулся от Заратустры и прынул с диким рычанием к берлоге; а высшие люди, чуть услышали его рык, разом вскрикнули, будто единой глоткой, и кинулись вспять, и в миг простыл их след.

А сам Заратустра, оглушенный и ошеломленный, поднялся со своего камня, огляделся, постоял, диву дивясь, на месте, спросил свое сердце, пришел в себя, и оказалось, что он один. «Что же это послышалось мне? — медленно проговорил он наконец, — что же это сейчас причудилось мне?»

И уже вернулась к нему память, и в мгновение ока охватил он все, что произошло в разрыве между вчера и сегодня. «Вот тот камень, — проговорил он и бороду себе погладил, — на к о т о р о м сидел я вчера поутру; а здесь подошел прорицатель ко мне, а здесь впервые услышал я крик, который послышался мне, великий крик о помощи в беде.

О высшие люди, ведь это о помощи в а м в беде прорицал мне вчера поутру старый прорицатель, —

— помощью вам в беде хотел он соблазнить и искусить меня: о, Заратустра, говорил он мне, я пришел, чтобы ввести тебя в твой последний грех.

В мой последний грех? — воскликнул Заратустра и засмеялся гневно над своим же собственным словом:

что же еще оставалось у меня за душой, как не мой последний грех?»

— И еще раз погрузился Заратустра в себя, и снова присел на большой камень, и задумался он. Но внезапно вскочил, —

«С о с т р а д а н и е! С о с т р а д а н и е к в ы с ш е м у ч е л о в е к у! — выкрикнул он, и обратилось лицо его в медь. — Добро! Э т о м у — еще свой срок!

Мое страдание и мое сострадание — что в том! Разве я с ч а с т ь я домогаюсь? Я д е л а моего домогаюсь!

Добро! Лев пришел, мои дети близко. Заратустра созрел, мой час пришел: —

Вот оно, мое утро, брезжит мой день: в з о й д и же, в з о й д и, в е л и к и й п о л д е н ь!» — —

Так говорил Заратустра и покинул свою берлогу, ярый и могучий, как заревое солнце, восходящее из-за темных гор.



Конец книги «Так говорил Заратустра»

СТИХОТВОРЕНИЯ

*

Перевел Владимир Микушевич

ЕССЕ НОМО

Не железо и не камень;
Родом я всемирный пламень,
Не спастись мне от меня;
Вещи в свет я превращаю,
Угли вам я завещаю;
Несомненно, пламень я!

К ГЁТЕ

Непреходящее —
только примета!
Ненастоящее —
Бог для поэта...

Вечно вращается
мир, как волчок;
им восхищается
лишь дурачок.

Зрелище адское:
с правдою ложь...
Вечно дурацкое!
Ты н а с влечешь...

СИЛЬС-МАРИЯ

Здесь ждал я, ждал и сознавал, что нет
того, чего я жду; то тень, то свет
являлись мне вне зла и вне добра;
лишь волны, лишь бесцельная игра.

Я был один, подруга; так возник
вдруг Заратустра; мой пришел двойник...

С ВЫСОКИХ ГОР

ПЕСНЬ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ

О полдень жизни! Дивная пора!

Сад пышный летний,
где счастье беспокойное заметней: —
Я жду друзей с утра и до утра;
где вы, мои друзья? Пора! Пора!

Алеют розами седины льдин
для вас над кручей;
навстречу вам бежит ручей кипучий,
вас ветер-вестник ищет средь вершин;
так почему я все еще один?

Вас на высотах стол обильный ждет.

Кто в звездной дали
Бывал? Вы царство горное видали,
куда ведет заоблачный полет?
Где гости? Кто попробует мой мед?

Вы э д е с ь, друзья! Так в чем на этот раз
вы убедились?

Уж лучше бы вы просто рассердились!
Вы не узнали черт моих и глаз?
Неужто я не тот, кем был для вас?

Так значит, слишком я преобразен,
я победитель,
который сокрушил свою обитель,
и, супротив себя вооружен,
повержен я, самим собой сражен?

По-вашему, бежал я очагов,
чтобы в соседи
годились мне лишь белые медведи,
там, где отвык от Бога и богов
я, призрак средь безжизненных снегов?

Друзья, прощайте! здесь вам все равно
не жить со мною;
пренебрегите горною страной;
среди утесов сумрачных давно
охотник я и серна заодно.

Д у р н о й охотник я; натянут лук
мой слишком туго!
Не различит стрела врага и друга,
стремительно летит, пронзая вдрут;
держись-ка ты подальше, старый друг!..

Вы обернулись? Что ж, среди потерь
я стал суровым;
что было, то прошло; сегодня н о в ы м
друзьям ты, сердце, открываешь дверь;
я молод был, моложе я теперь.

Друзья мои, зачем читать нам тьму,
где потускнели
былые знаки и былые цели;
ответ не нужен ветхому письму,
а прикосаться б о я з н о к нему.

Вы не друзья, нет, отзвук давних гроз;
вы привиденья!
Стучится ваша ночь в мои владенья;
«Мы б ы л и?» — ваш назойливый вопрос,
в котором тлен... Где прежний запах роз?

О юность! Роковая западня,
зачем гоняться
за маревом? Не лучше ли меняться?
Не тот, кто старится день ото дня,
тот, кто со мной меняется, в меня.

О полдень жизни! Щедрая пора!
Сад пышный, летний,
где счастье беспокойное заметней;
я жду друзей с утра и до утра;
где н о в ы е друзья? Пора, пора!

* * *

Допета песня, песнь в устах мертва;
отброшен требник;
явился точно в срок мой друг-волшебник,
полдневный друг... обманчивы слова;
где был один, там в полдень стало два...

Победу нам среди желанных благ
судьба дарует;
со мною З а р а т у с т р а-друг пирует;
смеется мир, прорвал он ветхий мрак;
так свет и тьма отпраздновали брак...

ИЗ «ДИОНИСОВЫХ ДИФИРАМБОВ»

ТЫ ШУТ! ТЫ ПОЭТ!

В просветленном воздухе,
когда уже утешенье
росы кропит землю
незримо и беззвучно, —
ибо мягкие подошвы
у росы, как у всех утешительниц нежных, —
вспомни ты, вспомни, жаркое сердце,
как жаждало ты
слез небесных и росной влаги,
в жадном отчаянье жаждало,
когда на желтых травянистых тропах
гневные вечерние взгляды солнца
тебя преследовали среди черных деревьев,
ослепительные, злорадные взгляды солнца.

— «Жених и с т и н ы — ты? — издевались они —
Нет! Всего только поэт,
зверь хитрый, хищный, крадущийся,
обреченный на ложь,
добровольно, своевольно обрученный с ложью,
до добычи охочий,
пестротой морочащий,
сам себе морок,
сам себе добыча,
т ы — жених истины?..
Всего только шут! Всего только поэт!
Ты пестроречивый,
скоморох мороков,
пляшущий на лживых мостах слов,
на радугах лжи,
среди поддельных небес

заговорщик, притворщик,
ты шут! ты поэт!

Ты — жених истины?

Но где тишь, где гладь, где холод, где статя
статуи,

столпа Божьего,
воздвигнутого перед храмом,
стража Божьего?

Нет! враждебный этим доброжелательным кумирам,
ты уместнее в дедьях, чем в храмах,

по-кошачьи шалый,
прыгающий в окна,

шасть! раздражительно чуткий к дразнящим
запахам чащ,

так что в чащах

среди косматых хищников

дьявольски вольный, пестрый, по-рысьи рыскал,
весь похоть охоты,

алчно блаженный, адски блаженный, беспощадно
блаженный,

крадучись, хищно, л у к а в о рыскал.

Или ты уподоблялся орлу, который
неотступно вглядывается в бездны,

в с в о и бездны,

— как они отсюда вниз,

внутрь, вглубь,

извиваясь, вгрызаются в недра —

чтобы тебе потом

вдруг

в миг

прянуть напрямик

на б а р а ш к а,

в голодной ярости

на вожденное брашно,

ибо тебя приводит в бешенство бьяшка;
беленький блеет и тебя бесит,
по-овечьи, по-человечьи взлелеян
млеко, якобы благодравная бяка.

Итак,
орлиные, рысьи
повадки поэта;
тысячей личин т в о и вождельня морочат.
Ты шут! Ты поэт!

Ты так смотришь на человека,
что для тебя Б о г — б а р а ш е к, —
Бога р а с т е р з а т ь в человеке,
как овцу в человеке
и, терзая, с м е я т ь с я —
в о т о н о, т в о е б л а ж е н с т в о,
блаженство орла и рыси,
блаженство шута и поэта».

На ясном рассвете,
когда уже серп месяца
среди багрянцев
от зависти зелен
— враг дня —
и ускользает узкой стезей
тайком по розовым коврикам,
крив, пока эти кривляки
не соскользнут в бледную криницу ночи: —
так я отпал однажды
от истязания, слывущего истиной —
изнурен искажающими дневными исканиями,
истощен дневным светом,
так я отпал, потянувшись к тени,
извергнут, исторгнут
из лона истины:

помнишь ли, помнишь ли жаркое сердце,
чего ты жаждало?
Этого исторженья,
отторженья от истины!
Ты шут! Ты поэт!

ОГНЕННЫЙ ЗНАК

Здесь, где среди морей возник остров,
камень-жертвенник обрывисто-высокий,
здесь под черным небом зажигает
Заратустра свои зенитные костры,
огненные знаки для мореплавателей хитрых,
вопросительные знаки для хранителей ответа.

Это пламя с бело-седым брюхом
— в холодных далях извивается его похоть,
его шея вытягивается в поисках чистейших высот —
змея, прянувшая вверх в нетерпенье:
вот мой знак, воздвигнутый мною передо мною.

Сама моя душа — это пламя;
ненасытно вождедая новых далей,
все выше и выше разгорается ее тихий жар.
Почему бежал Заратустра от человека и зверя?
Почему он оттолкнулся от всякой тверди?
Он уже изведаль ш е с т ь одиночеств,
но и море для него слишком людно,
и его вознес остров, и он сам на горé пламя,
и метнул он крючок над головой,
выживая с е д ь м о е одиночество.

Хитрые мореплаватели! Осколки старых звезд!
Вы моря будущего! Небеса неизведанные!

Я пловец всех одиночеств, для них мой крючок:
отзовитесь на нетерпение пламени;
мне, рыбаку высокогорному, дайте выудить
мое седьмое, последнее одиночество! —

СОЛНЦЕ САДИТСЯ

1.

Недолго тебе томиться жаждой,
сожженное солнце!
Обетование в воздухе,
из неведомых уст на меня веет,
— грядет великая прохлада...

Мое солнце жарко светило надо мной
в полдень:
как рад я, что вы пришли,
вы внезапные ветры,
вы прохладные предвечерние духи!
Воздух странен и чист.
Не бросает ли на меня
ночь
свой косой совращающий взгляд?
Крепись, мое смелое сердце!
Не спрашивай: почему?

2.

День моей жизни!
Солнце садится.
Зеркальный поток
уже позолочен.
Дышит скала теплом:
не дремало ли пополудни
чуткое счастье на ней?

Средь зеленых отсветов
мрачная бездна еще играет в счастье.

День моей жизни!

Вечереет.

Уже надломлен

светоч твоего взгляда,

уже выпадает

роса твоих слез,

уже бесшумно бежит морем белым

твоей любви пурпур,

твое последнее блаженство еще медлит...

3.

Золотое веселье, приходи!

Ты смерти

затаеннейшее, сладчайшее предвкушение!

— Слишком быстро бежал я?

Лишь теперь, когда я устал,

твой жар вдруг настигает меня,

твой дар вдруг настигает меня.

Вокруг лишь волна да игра.

Все, что тяготило меня,

утонуло в забвении голубом, —

празден мой челн.

Он плавать в бурю отвык.

Ни страстей, ни надежд;

Тишь в море и на душе.

Седьмое мое одиночество!

Никогда не была

так сладка правота,

так тепел солнечный взгляд.

Не горит ли еще лед вершин?

Вся в серебре плышет

рыба: моя ладья.

ЖАЛОБА АРИАДНЫ

Кто обогреет меня, кто еще любит меня?
Где горячие руки?
Где сердце-жаровня?
Простерта в ужасе,
как будто коченея (кто мне согреет ноги?)
в немыслимом ознобе,
содрогаясь от острых, ледяных, студеных стрел,
твоих стрел, Помысел!
Не произнести твоего имени! Потаенный!
Жуткий!

Охотник заоблачный!
Тобою пронизанная,
ты язвительный глаз, пронзающий меня из тьмы!
Убиваюсь,
извиваюсь, корчусь, охваченная
всеми вечными муками,
сраженная
тобой, лютый ловчий,
ты неведомый — Б о г.

Рань меня глубже,
Рань, как раньше!
Пронзи, порази мое сердце!
Разве укусы стрел тупозубых —
казнь для меня?
Зачем ты снова смотришь,
не уставая от моей человеческой муки,
сладожестокими, божественными,
молниеносными глазами?
Ты убивать не хочешь,
а только мучить, мучить?
За что — меня мучить,
ты сладожестоким, неведомым Богом?

Ха-ха!
Ты подкрался
в такую полночь?
Чего ты хочешь?
Скажи!
Ты давишь, душишь!
Ах, слишком близко!
Ты слышишь мое дыханье,
ты подслушиваешь сердце,
ревнивец!
К кому ревнуешь?
Прочь! прочь!
Зачем здесь лестница?
Ты хочешь в н у т р ь
пробраться, в сердце,
в мои затаеннейшие
мысли пробраться?
Бесстыдный! Неведомый! Вор!
Что хочешь ты выкрасть?
Что хочешь ты вызнать?
Что хочешь ты вырвать,
мой враг?
Ты бог — истязатель!
Или ползти мне
к тебе по-собачьи?
Вне себя преданно и вдохновенно
вилять — любовью?
Напрасно!
Язви меня!
Лютейшее жало!
Нет, я не собака, я дичь,
ты, лютый ловчий!
Я твоя гордая добыча,
ты заоблачный хищник...
Ответь, наконец!
Ты молниеносец! Неведомый! Отвечай!
Ты, путегонитель, что хочешь ты — от меня?

Что?
Выкупа?
Выкупа хочешь ты?
Требуи побольше — в этом гордость моя!
Слов поменьше — другая гордость моя!

Ха-ха!
Меня хочешь ты? меня?
Меня — всю?..

Ха-ха!
Истязаеть меня ты, дурак (а кто ты еще?),
терзаеть гордость мою?
Дай мне л ю б о в ь — кто еще согреет меня?
Кто еще любит меня?
Дай горячие руки,
дай сердце-жаровню,
дай мне в моем одиночестве,
когда меня заставляет лед,
ах! лед семикратный,
жаждать хотя бы врага,
дай, отдай,
враг лютейший,
мне — т е б я!

Прочь!
И он убежал,
мой товарищ единственный,
мой великий противник,
мой неведомый,
мой бог-истязатель!..
Нет!
Воротись!
Со всеми твоими пытками!
К тебе текут мои слезы,
когда с тобою мы врозь,

и напоследок сердце
ради тебя зажглось.
Вернись, мой неведомый Бог,
вернись, моя б о л ь,
вернись, мой последний вздох!

Молния. Дионис является в изумрудной красоте.

Д и о н и с:

Образумься, Ариадна!
Малы уши твои, мои уши твои:
умное слово вмести!
Если не ненавидишь себя, как любить?
Я твой лабиринт...

ИЗ НЕ ОПУБЛИКОВАННЫХ ПРИ ЖИЗНИ СТИХОТВОРЕНИЙ И ФРАГМЕНТОВ

ПЕСНИ И ИЗРЕЧЕНИЯ

Ритм сначала, рифма следом,
писк божественный — душа;
этим песня хороша,
звук, не брезгающий бредом:
слово — музыка — душа.

Прыгать может и трунить
в ненасытном увлеченье
мысль без песни — изречение!
С песней речь соединить —

не мое ли назначенье?

* * *

Ночь; и опять над крышами
Движет одуловатый лик месяца;
Он, ревнивейший кот,
Ревниво подсматривает за влюбленными,
Этот бледный, жирный «лунный житель».
Похотливо рыщет по темным уголкам,
Заглядывает в полуоткрытые окна,
Подобно блудливому жирному монаху
Ходит запретными путями.

СТИХОТВОРЕНИЯ И ФРАГМЕНТЫ
ОСЕНИ 1884 ГОДА

* * *

Узники богатства,
чьи мысли как цепи лязгают...

* * *

Вы измыслили скуку священную,
жажду буден и понеделльников

ЛЮБЯ ЗЛЫХ

Вы боитесь меня?
Вы боитесь натянутого лука?
Горе! Был бы лук, а стрела найдется

Ах, друзья мои:
куда девалось все то, что звалось хоро
Где они все, «хорошие»!
Где невинность всей этой лжи!

...

Только поэт, который
умело, умно лжет,
способен сказать правду

«Зол человек» —
как один, говорили мудрейшие,
чтобы меня утешить

УТОМЛЕННЫЕ МИРОМ

...

Они любят и нелюбимы,
они истязают себя,
так как никто не хочет обнять их.

Вы, отчаивающиеся! Сколько мужества
требуете вы от зрителей!

Они отвыкли есть мясо,
играть с бабенками;
они слишком к себе беспощадны.

Для мятущегося тюрьма —
надежнейшее пристанище!
Как безмятежно сидят
пойманные преступники!
Лишь совестливого
мучит совесть.

ПО ТУ СТОРОНУ ВРЕМЕНИ

...

Назад! Вы слишком ко мне приблизились!
Назад, чтобы моя мудрость не раздавила вам
голову...

* * *

Хорошим зову я все:
Листву, траву, счастье, благословение, дождь

СПИНОЗЕ

В едином вездесущий Бог велик,
Любовь к Нему от разума и книг;
Сбрось обувь! Это святости родник!
Но был в любви твоей подвох.
Мятеж твой тайный мстителен и дик;
Еврея злил еврейский Бог...
Отшельник! Я тебя постиг?

ПРИЧУДЫ СОСТРАДАНИЯ

ОДИНОКИЙ

Вороньих стай
С тревожным карканьем полет;
Дом — это рай!
Ты видишь, снег вот-вот пойдет.

Замедли шаг,
Хоть потрудись назад взглянуть!
Какой дурак
Пускается зимою в путь?

Мир — это дверь,
За дверью холод немоты;
Твоих потерь
Нигде вернуть не сможешь ты.

А сколько зим
Там впереди, подумай сам!
Ты словно дым,
Пойдешь к холодным небесам.

Лети во мрак,
Пустынник, щебечи в бреду!
Припрячь, дурак,
Кровинку-сердце ты во льду.

Вороньих стай
С тревожным карканьем полет;
Так пропадай,
Скиталец; видишь: снег идет!

ОТВЕТ

Оборони
Меня, Господь, как от врагов,
И от родни
И от немецких очагов.

Мой друг, я вдаль
Пойду, забыв навек покой;
Тебя мне жаль
С твоей немецкою тоской.

ФРАГМЕНТЫ ЛЕТА 1888 ГОДА

1.

ГЛУХОЕ МОЛЧАНИЕ

Пять ушей — и ни звука!
Онемел мир...

Я наостривал ухо моего л ю б о п ы т с т в а,
пять раз я закидывал удочку,
пять раз не поймал ни одной рыбы. —
Я спрашивал, но в мою сеть ответ не ловился.

Я наостривал ухо моей л ю б в и.

4.

Блещущий, пляшущий ручей
в кривом русле,
пойманный горами:
между черными камнями
дергается, сверкает его нетерпенье.

5.

Охочего терять голову
не предостерегай;
от предостережения
бежит он к любой бездне.

7.

Кривые дороги у великих людей и потоков,
кривые, но ведущие к их цели:
сколько мужества нужно тому,
кто кривых дорог не боится!

13.

Уверен ты в своей смерти:
о чем же ты беспокоишься?

14.

Наперекор
Себе с собой самим
Женатый, неприкаянный
дракон в своем собственном доме

17.

Ваш Бог, говорите вы мне,
есть Бог любви?
А угрызения совести?
Стало быть, Бог грызет,
грызет любовью?

20.

Возвращайся в давку:
в давке жестче ты и крепче.
От одиночества рыхлость,
от одиночества порча...

22.

Уже подражает он
себе самому, усталый;
ищет путей проторенных,
а раньше любил н е х о ж е н ы е!

23.

Солнцу мудрость моя уподобилась;
я хотел им светить
и ослепил их;
солнце моей мудрости
этим нетопырям
выкололо глаза...

24.

Его состраданье безжалостно,
его рукопожатие сокрушительно,
не давайте руки великому!

25.

Такова теперь моя воля:
и с тех пор, как моя воля такова,
все свершается по моей воле —
такова моя последняя мудрость:
я хочу того, что должен хотеть:
так подавил я всякое «должен»,
и с тех пор никакого «должен» для меня нет.

26.

Я пренебрегаю маленькими
выгодами; когда я вижу
длинные пальцы лавочника,
я предпочитаю,
чтобы укоротили меня;
так мне велит щепетильность.

27.

Маленькие людишки,
доверчивые, душа нараспашку,
а двери с низкими притоками:
только для низких вход.

29.

Твои великие мысли,
сердцем зачатые,
и твои мысли крохотные,
зачатые головой,
разве не все они п л о х о н ь к и е?

31.

Хочешь поймать их!
Назови их
заблудшими овцами:
«Вашу дорогу, о, дорогу вашу
вы потеряли!»
Они пойдут за каждым,
кто так им польстит:
«Как?! И у нас была дорога? —
перешептываются они. —
Подумать только, и у нас была дорога!»

32.

Я просто спал, не прогневайтесь;
Я просто устал, я не умер;
Я не рычал,
Я просто храпел;
Храп — это песнь усталости,
не заклинание смерти
и не призыв могильный.

35.

Вы поднимаетесь?
И вправду вы поднимаетесь,
высшие люди?
Но не подобны ли вы —
извините, мячу,
прыгающему ввысь
от своего падения?
Не б е ж и т е ли от самих себя,
поднимающиеся?

38.

Вот он стоит,
пальцем левой ноги
больше привержен праву,
чем я всей моей головой;
чудовище праведности
в белой мантии.

40.

Чопорные мудрецы!
Все для меня игра.

41.

Люблю ли я вас?..
Так всадник любит лошадь:
она несет его к цели.

42.

Узкие души,
души лавочников!
Вы деньги в ящик бросаете,
а души туда же прыгают.

43.

Ты больше не можешь вынести
великолепье судьбы твоей?
Люби ее! Выбора нет!

44.

Воля освобождает.
Кому делать нечего,
тот из ничего творит.

45.

Одиночество
не произрастает, а странствует...
И не найти тебе другой подруги, кроме Солнца

46.

Сбрось в бездну свое бремя!
Забудь, человек! Забудь, человек!
Забвение — искусство божественное!
Хочешь летать,
хочешь обжить высоты,
бремя свое сбрось в море!
Вот море, бросайся в море!
Забвение — искусство божественное!

47.

ВЕДЬМА

Худо мы думали друг о друге?..
Мы были слишком друг от друга далеки,
теперь же, в этой маленькой хижине,
привязаны к о д н о й судьбе,
как мы можем враждовать?
Остается любить друг друга, когда друг
от друга не убежишь

48.

Истина — женщина
и ничего более,
лукавая в своем стыде;
ни за что не признается,
чего хочет больше всего,
только руки протягивает...
Кому она отдается?
Только силе одной!
Будьте тверже, мудрейшие!
Вы должны победить ее,
эту скромницу Истину:
ей для блаженства
требуется насилие;
она женщина, не более...

49.

Ах, разве ты не думаешь,
что должен ты презирать
то, чем пренебрегаешь?

53.

Мой дом на высотах,
высоты меня не влекут.

Я не поднимаю глаз,
я их опускаю;
мое дело — благословлять;
благословляющий смотрит сверху вниз...

54.

Он ощетинивается,
он локти
растопыривает;
купорос в его голосе,
в глазах ярь-медянка.

55.

Глаз благородный
за бархатным занавесом
редко светит
и только тому, кого чтит.

56.

У них в душе молоко,
но горе!
их дух сывороточный

57.

Я зеркало; другой пытит, коптит,
и я чужим дыханьем омрачен.

59.

Истины, не позолоченные
улыбкой,
зеленые, терпкие, нетерпеливые истины
расселись вокруг меня.

61.

Медлительные глаза,
редко любящие,
но когда они любят, в них виден
блеск золотых жил:
так дракон стережет сокровище...

62.

«Твоя дорога ведет в ад!»
Пусть! Лишь бы туда дорогу
мне глаголами вымостить

65.

«И дым на что-нибудь годен», —
говорит бедуин, и я ему вторю:
ты, дым, разве ты не возвещаешь
тому, кто в дороге,
близость гостеприимного очага?

67.

Путник устал,
а собака
встречает его злобным лаем

70.

Слишком долго сидел он в клетке,
этот беглец!
Слишком долго боялся палок!
Пугливо теперь
идет он своей дорогой:
даже тени палки достаточно,
чтобы он споткнулся

71.

За пределами Севера, за пределами льда,
за пределами сегодня,
за пределами смерти
в стороне:
наша жизнь, счастье наше!
Ни на суше,
ни в море
не найдешь пути, ведущего туда,
где живут гипербореи:
так пророчили о нас мудрые уста.

72.

О эти поэты!
Есть среди них жеребцы,
которые ржут целомудренно

73.

Смотри вперед, не оглядывайся!
Не может не пропасть
тот, кто любит заглядывать в пропасти

74.

Я с человеком и случаем
общителен, как с травой:
солнечный луч на заснеженном склоне

75.

Молния — моя мудрость;
алмазным мечом отсекала она тьму от меня

76.

Угадай, друг загадок,
куда девалась моя добродетель?

Она убежала,
испугавшись моих коварных крючков
и сетей

77.

Мое счастье для них мучительно;
мое счастье — тень для завистников;
они зябнут, позеленев...

78.

Одинокие дни,
нужна вам смелая поступь!

79.

Когда сам себе я в тягость,
в а м не спасти меня!

82.

Куда он ушел? Кто знает!
Известно, что нет его.
Звезда погасла в пространстве,
а без нее п у с т о т а...

83.

Еще шумит гроза:
однако уже нависло
полновесное в тихом блеске
над полями благословение Заратустры.

84.

Исцеляет одно из двух
(— только выбери):
скорая смерть
или долгая любовь.

89.

Из ничего они творили бога:
неудивительно: осталось ничего — —

90.

Исследователь с т а р ь я!
Любовь средь гробов и щепок,
вот ремесло могильщика.

92.

Они высятся,
тяжелые гранитные кошки,
первобытные чудища:
горе тебе, как и х свергнешь?

93.

Их ум — безумие,
их мысль — бессмыслица и недомыслие

99.

Царапцарицы
сложили лапы,
сидят они
и взгляд их — яд.

100.

Почему с высоты рухнул он?
Что совратило его?
Жалость к низшему совратила его;
и, разбившись, остыл он, застыл — —

102.

Волк за меня,
волк подтверждает: «Ты воешь лучше, чем мы,
волки» — —

103.

Не узрел ни один провидец ничего чернее
и хуже:
какой мудрец через ад прошел, наслаждаясь
адам?

104.

Новыми ночами ты облекся,
новые пустыни создала твоя львиная лапа

105.

Каменная красота
прохладит мое жаркое сердце

109.

Я тот, кому клянуся:
клянись мне в этом!

110.

Не то, что ты идиолов сверг:
идолопоклонника сверг ты в себе самом, —
в о т подвиг твой

111.

Нездешнее счастье мое!
То, что здесь я счастьем считал,
лишь тень при его свете

113.

На войне маскировка
решает все.
Лисья шкура —
моя тайная кольчуга

115.

Для такого высокомерия
не мала ли Земля?

117.

Отдал я все, что имел:
пожитки мои, мой скарб;
оставил себе лишь тебя,
моя большая Надежда!

119.

Где опасность,
там и я;
там я вырастаю из земли

120.

Говорит каждый полководец:
«Ни победителю,
ни побежденному не давай покоя!»

123.

Не грехами, не глупостью —
мучил меня человек
своим совершенством

124.

Звезды — осколки:
из них я выстроил мир

125.

На эту мысль
я ловлю будущее

126.

Что творится? Море ушло?
Нет, набухла моя земля!
Новый жар взрывает ее!

127.

Эта мысль —
еще жгуче-текучая, лава:
но лава всегда строит
сама себе твердыню;
мысль всегда подавляет
себя «законами».

128.

Когда нового голоса нет,
вы из старых слов составляете
закон:
где з а с т ы л а жизнь, там закон высится.

129.

Для начала
отвык я жалеть с е б я!

130.

Притворная ваша любовь
к быломu,
любовь могильщиков,
ограбление жизни:
обкрадываете вы будущее — —

131.

Худшее нареkanie,
я скрыл его — жизнь скучна:
отбрось ее, чтоб найти в ней вкус!

132.

Эта веселая высь!
То, что было звездой,
лишь пятнает ее.

133.

Наивысшую преграду,
мысль мысли,
кто создал ее?
Жизнь создала себе
наивысшую преграду,
и сама же через свою мысль перепрыгивает

136.

Если нуждаешься в том,
чего у тебя нет,
считай, что утратил это!
Так я утратил совесть.

137.

Втайне сожжен
не за свою веру,
а за то, что всякую веру
отверг он, страхом сражен

138.

Что вьется вокруг тебя,
то прививается.
Там, где ты долго сидишь,
высжииваются обычаи.

141.

Или от их стужи
застыло воспоминание?
Неужто билось, горело
это — мое — сердце?..

145.

«Люби врага,
не мешай грабителю тебя грабить»:
женщина слушает это — и слушается — —

147.

Наша охота за истиной —
неужто охота за счастьем?

151.

Подножные истины!
Они вытанцовываются!

153.

Облака — что до вас нам,
нам, вольным, простодушным, воздушным
духам?

154.

Или вы женщины
и потому жаждете,
чтобы любимые мучили вас?

156.

Когда одинокого
одолевают страх
и он бежит и бежит,
и он бежит, сам не зная куда?

когда бури ревут позади него,
когда молния против него,
когда его логово призраками
нагоняет жуть...

157.

Я словоделатель:
на что слова,
на что я!

158.

Слишком быстро
ко мне возвращается смех:
не успевает враг
передо мной извиниться

159.

При сумрачном небе,
когда стрелы и мысли убийственные
поражают врагов,
клеветают они на счастливого

ПРИМЕЧАНИЯ К СТИХОТВОРЕНИЯМ

«Ессе homo». — Стихотворение из поэтического цикла Ницше, помещенного им между предисловием к своему сочинению «Веселая наука» (1882) и его прозаическими разделами. Цикл Ницше именуется так: «Шутка, хитрость и отмщение. Пролог немецкими стихами» (основной заголовок воспроизводит название зингшпиля И.В. фон Гёте, 1790). Заглавие самого стихотворения (62-го по порядку в прологе) — это слова Пилата об Иисусе Христе (см. Евангелие от Иоанна, 19, 5): «Се Человек». Слова эти Ницше неоднократно обращает к самому себе, и именно они служили заглавием не опубликованной при жизни философа книги-исповеди.

«К Гёте». — Из приложения к «Веселой науке». Стихотворение варьирует, или пародирует, заключительные строки «Фауста» Гёте — мистический хор.

«Сильс-Мария». — Из того же приложения к «Веселой науке». Сильс-Мария — то место на востоке Швейцарии, где нередко бывал Ницше.

«С высоких гор». — Этим стихотворением завершается книга Ницше «По ту сторону добра и зла» (1886).

Из *«Дионисовых дифирамбов»*. — Над циклом «Дионисовых дифирамбов» Ницше работал летом 1888 г. 15 декабря того же года рукопись цикла, носившего тогда название «Песни Заратустры», была отправлена автором в Лейпциг в типографию. Однако вскоре Ницше востребовал свою рукопись назад и подверг ее редактированию. Цикл приобрел свой окончательный вид и заглавие — «Дионисовы дифирамбы» — 1 — 3 января 1889 г., т.е. в самые последние дни сознательной духовной жизни Ницше.

«Песни и изречения». — Написано весной 1882 г.

«Ночь; и опять над крышами...» — Написано летом 1883 г. Из рукописи, озаглавленной «Священные насмешки Заратустры».

«*Причуды сострадания*». — Ницше думал озаглавить свое стихотворение и так: «К отшельникам»; «Из пустыни зимы»; «В Германии поздней осенью».

Фрагменты лета 1888 г. — Летом того года Ницше переписал в новую тетрадь свои прежние поэтические наброски. Итогом этого лета стали «Дионисовы дифирамбы». Нумерация фрагментов дается по новому критическому собранию сочинений (т. 13), в котором общее число относящихся к 1888 г. стихотворных отрывков (обычно весьма кратких) достигает 161.

В переводе сохранены особенности пунктуации оригинала.

А.В. Михайлов
СТИХОТВОРЕНИЯ ФРИДРИХА НИЦШЕ

Новая эпоха вернула в наш обиход сочинения Фридриха Ницше, которые без особого труда может теперь раздобыть и прочитать в русских переводах любой человек. Переиздана по-русски пока лишь незначительная часть наследия Ницше, причем эти переиздания я разделил бы на четыре группы: старые непереведенные переводы, старые переведенные переводы, новые спешные и легкомысленные переводы, новые тщательные и основательные переводы.

Ницше приходит теперь в Россию во второй раз, поскольку на рубеже XIX—XX веков его творчество было уже переработано русским интеллигентским и полунинтеллигентским и еще более широким сознанием, притом по большей части произведено это было с жадностью и с малоразборчивой торопливостью, что, как то всегда и бывает, оставило в культурной памяти слабый след грустного и досадного. Во всяком случае, получилось так, что Ницше со всеми его мыслями приложился в те годы ко всему тому злу, какое нарастало по русским городам, как прекрасно сказал тогда русский художник М.В.Врубель; и не сделал он нам ничего доброго: и, как всегда, не пропущенное в печать тогдашней цензурой, прямо антихристианское и, стало быть, толком вообще не прочитанное в Ницше только еще больше бередило и смущало души.

Общий результат — онемение, и не польза, а вред. Чуть позже к Ницше обратились у нас и тонкие люди, философы и филологи, как, например, Фаддей Франце-

вич Зелинский, филолог-классик, профессор Петербургского университета. Однако полное собрание сочинений Ницше, которое стали издавать, только успело тогда начаться.

Сам же Ницше рассчитывал как раз на весьма разборчивых читателей. Не в том, правда, смысле, что они сейчас же будут очень точно и верно понимать его, что они будут конгениальными ему, а это значит — одного духа с ним. А в том смысле, что удар, который произведет в них его мысль и который они должны очень явно ощутить, — что этот удар не просто создаст в них общее впечатление тяжелого и глухого, но послужит поводом к разбирательству — что же случилось. Иначе говоря, Ницше даже рассчитывал на известное сочетание в своих читателях тупости и тонкости, глупости и ума. И он знал своего читателя — читателя немецкого, потому что, пока Ницше вел сознательную жизнь, которая закончилась в самом начале 1889 г., настоящей международной известности он не получил, а она только забрезжила на горизонте, отдаленно, так что Ницше и мог предполагать только немецкого, точнее говоря, немецкоязычного читателя. Ницше же небезосновательно представлялось, что немецкая культурная жизнь отличается чрезмерно большой инерцией, неподвижностью, филистерской сонливостью, недалекостью и что немца, и даже немецкого философа надо будить ото сна. Вот почему мысль Ницше всегда заключает в себе некоторый вызов и известную чрезмерность. Не просто о смысле всегда идет здесь речь, не только о смысле философском, но и о такой подаче этого смысла, которая возбуждала бы читателя и лишала бы его не заслуженной им самоуспокоенности. Мысль Ницше идет вразрез с общепринятым. А это одновременно и смысловой момент: Ницше мыслит иначе, и мыслит иное, — и момент как бы внешний: как изложить свою мысль. Причем это последнее, этот, казалось бы, внешний момент оформ-

ления мысли оказывается внутренним и совершенно необходимым — не формой мысли, но ее сутью. Мысль обязана оформлять себя художественно, и это по существу мысль — художественная. По своей внутренней сути и по своей внутренней потребности она отсылается к художественному слову — к такому слову, которое бережно, тонко и нежно принимает и раскрывает мысль в себе и изнутри себя, которое выступает как держатель, как страж порученного ему смысла.

Как только Ницше начинает ощущать в себе это тяготение философского слова к художественности, причем тяготение неперемное и идущее из глубин самой мысли, он начинает расходиться с общепринятой философией своего времени и с некоторым привычным академическим стилем мышления и изложения своих идей. Он сразу же оказывается по другую сторону от Канта и Гегеля, от всей классической немецкой философии рубежа двух веков, от ее спекулятивного и вынужденно многословного стиля, где любое внимание к слову, любое осознание его смысловой красоты и самостоятельности тонет в разработке — подобно музыкальной теме в руках не слишком умелого, но слишком ученого симфониста, — тонет в разработке или развитии всего того, что насаждает на философа своей слишком объемистой массой, подлежащей мыслительному прояснению, упорядочиванию (что так замечательно удавалось Гегелю — именно ценою внимания к каждому отдельному слову). Ницше оказывается по другую сторону и от Артура Шопенгауэра, великого критика немецкой академической философии и прекрасного стилиста, который немало не преодолел, однако, зазора между обычным академическим стилем философии и хорошим литературным слогом — если бы стиль был осознан им как внутреннее качество своей мысли, ему нечего было бы хвалить себя как хорошего стилиста; его стиль предпо-

лагал разрыв мысли и изложения, сути и формы. У Ницше такого разрыва уже не было.

Разумеется, Ницше оказывается по другую сторону и от такого философского публициста, как Давид Фридрих Штраус, которого он высмеял в одной из первых своих книг — в «Несвоевременных размышлениях». Именно Штраус первым из протестантских богословов решился утверждать (в книге «Жизнь Иисуса», 1835), что Иисус Христос — это не историческая, а только мифологическая личность, чем положил начало более нежелезному вековому суемудрию, тягостному, часто злокозненному: можно, напротив, вообразить себе, как смотрели бы на профессора, отрицающего историчность существования Александра Македонского или Карла Великого.

Итак, Ницше оказался по другую сторону от сложившегося стиля философской мысли, от стиля бесстыльности или же от стиля мысли, рвущейся к своему выражению через слово, однако не глядя на него и вопреки ему.

Вместе с тем он очутился в очень хорошей компании, — например, такого философа, как Платон, отличительной чертой мысли которого было то, что она, каких бы отвлеченных материй она ни касалась, никогда не порывала связи с живой непосредственностью житейского, незамысловатого слова и опиралась как на непосредственность речи, так и на непосредственность ситуации, внутри которой существует и изнутри которой рождается философская мысль — самая глубокая и порой наиболее далеко отлетающая от непосредственности мысль. То, что между непосредственностью слова и речи, затем художественностью слова в его смысловом самостоянии и, наконец, философской сутью целого был заключен самый тесный и неразрывный союз, не подлежит никакому сомнению: одно существует здесь по милости другого, все отдельное, на-

пример художественность речи Платона, — по милости слова и смысла. Но несомненно и то, что такой союз был заключен полувслепую и что ему суждено было распастся, мысли же и слову суждено было идти своими путями, иногда пересекаясь друг с другом, иногда бесплодно отвращаясь друг от друга.

Однако у Ницше, в его творчестве, слово и мысль, а именно слово со своим собственным весом, со своей заключенной в нем идеей, слово в своем самостоянии и мысль, направленная на слово, стали вступать в новый союз между собой, и тоже полувслепую. В эволюции своей мысли Ницше следует как бы инстинктивному велению — а это и в философии великое дело! Философия из академической, идущей своими проторенными путями, сворачивает на неторные тропы и из изложения наперед заготовленного смысла — тот уже стоит перед глазами мыслителя или разворачивается на его же глазах и задуман заранее (как у Гегеля) — превращается в экспериментальные поиски смысла. А такой смысл, какого философ только еще ищет и доискивается, — он тоже в известном отношении заготовлен и задуман заранее, но только уже не философом, а самой философией и ее словом: потому мыслитель и ощущает себя орудием судьбы, которая выше и сильнее его и которая внушает ему идти своим путем. С такой интуитивной ясностью — но только полуосознанной и полувслепой — и вступает Ницше на свой путь развития как мыслитель: ведь уже его первая книга, «Происхождение трагедии из духа музыки» (1872), нарушает условности ученого жанра. И не совсем филологической была она, и не совсем научной, но во всяком случае она не была наукообразной; и тут вдруг открылось, что важнейшие импульсы могут исходить для науки из произведения, которое переходит через границы филологии и науки вообще и устремляется в сторону малопонятного мифа или мифотворчества. Это открылось и для самого Ниц-

ше, но и для него самого — лишь подспудно, открылось его интуиции, которая словно повелела ему — расковываться, внутренне расковываться невзирая ни на что и выговариваться во всем, что только ложится, как бы само собою, на бумагу. А что значит здесь внутренне расковываться и выговариваться до конца? Это значит быть послушным своей мысли и своему слову — думать то, что подумается, не беспокоясь о порядке и системности своей мысли, пользоваться тем словом, какое представится наиболее подходящим, а при этом непрестанно вдумываться и во все то, что тебе думается, и быть упорным, неотступным, жестким аналитиком всего того, что тебе «само собою» приходит на ум.

Жизнь, какую вел Ницше, была мучительной. Нетрудно проникнуться состраданием к человеку, на долю которого выпала совершенно новая (для середины XIX века), никем еще не опробованная роль. И такой была эта роль по своей сущности, что она ввергала Ницше, и не могла не ввергать, в жестокие переживания, потому что захватывала для исполнения порученной роли и все человеческое в нем — даже всю житейскую сторону. Она все, решительно все подчиняла в нем себе — роли мыслителя, мыслящего «по наитию» и подвергающего анализу все находящее на него. Она подчинила себе весь образ жизни Ницше и всю патологическую предрасположенность его тела и души. В то же время эта самая патологическая предрасположенность Ницше особым образом предназначила его к исполнению такой роли (или такого долга — коль скоро он был предписан историческим часом), потому что явно сделала для него возможным целый ряд решений, на которые было бы трудно подвинуть человека и более уравновешенного, и менее склонного к нарушению условностей научной жизни, и попросту менее смелого, — сидевшая в Ницше и до поры до времени не проявлявшаяся болезнь предредила за него нарушение всех ученых и житей-

ских «конвенций». В итоге же само существование Ницше стало глубоко мучительным, стало таким уже потому, что сделаться послушным инструментом своей интуиции значит постоянно обрекать себя на неясность, неразведенность открывшегося или, вернее сказать, все открывающегося смысла.

Достаточно представить себе человека, на которого каждый миг обрушивается все доступное для XIX века содержание философского знания, скажем, все содержание тогдашней энциклопедии философии, какую читали университетские профессора философии, однако человека, на которого все это многообразное содержание обрушивается как принципиально бессистемное и еще не законченное. Прибавим к этому, что такой человек должен выносить всю эту ситуацию в самом непосредственном своем существовании и им искупать всю чрезмерность возложенного на него долга — и благодать, и наказание в одном. Однако все это продолжается еще и дальше: насколько явственно ощущает этот человек весь уносящий его вперед порыв, настолько ясно чувствует он и весь напор той мысли, которую он не в силах разграничивать, разделять и классифицировать; вместе с новым он вынужден нести в себе целое море всяких предрассудков и всякого рода наивностей. Такой человек и такой мыслитель обязан держать на себе новооткрывшийся хаос. И он, к примеру, вовсе не имеет шансов отрешиться от того самого протестантского многомудрия, которое так осудил в лице Д.Ф. Штрауса. И вовсе никуда не может удалиться от глубокой кризисности этого протестантского сознания.

Для этого сознания «бог умер», и Ницше был дерзновенен в такой степени, чтобы говорить о смерти Бога, и чуток — в такой, чтобы ощущать весь ужас нигилистически опустошенного мира.

Сам Ницше в большой мере сознавал уже, в каком положении находятся его читатели, — это в первую

очередь им, а не ему самому, надлежало уяснить суть и смысл всего того, что было уделом его мысли, это им, а не ему, досталось наводить порядок в его философии — не для придания ей несвойственной системности, но для вычленения и разделения присутствующих в ней мотивов, установления линий традиции и соотношения между разными ее составляющими. В начале мая 1884 г. Ницше пишет Мальвиде фон Мейзенбург: «Сколько сначала пройдет поколений, пока не произведут они на свет всего лишь несколько людей, способных во всей глубине прочувствовать вслед за мною, что я совершил! А затем мне внушает ужас мысль о том, сколь же неправомочные и совершенно неподходящие для того люди будут ссылаться на мой авторитет. Однако таковы муки всякого великого учителя человечества: он знает, что во всех обстоятельствах и несчастьях может сделаться для человечества роком — не менее, нежели благословением».

Конечно, стоит отметить для себя присущее Ницше ощущение своей личности как учителя человечества, если не основателя новой религии, — это ощущение редкостное и не подозревающее о возможности быть сколько-нибудь сдержанным в оценке самого себя. Не менее важно, однако, другое: эту его философию, как полагает Ницше, необходимо «прочувствовать», да и то этого удостоятся немногие и нескоро. Чувство упомянуто не без толку — оно как орудие познания отсылает нас, разумеется, не к мысли в ее умозрительности, но к мысли как целостному облику личности, как истечению человеческого существования, от которого она неотрывна, — это мысль как воплощенное человеческое существование во всей своей (таким оно задумано судьбою) неразгадываемой бескрайности. И, стало быть, во всех заложенных в таком существовании мыслительных возможностях, потенциях, которым не поставлено никакого предела, — все снова и снова, пока жив чело-

век, слившийся со своей мыслью, будут выходить они наружу и открываться в самую первую очередь для него самого!

Сам же Ницше всю свою сознательную жизнь пребывал в поисках существенного слова. Значит, слова, которое могло бы вынести на себе такую роковую спаянность существования и мысли, такую всецелую обреченность первого второй, которое могло бы полно и кратко, как то подобает прежде всего слову поэтическому, выражать суть и направленность новой философской мысли. А такое слово как раз и должно было сделаться словом художественным, сущностно поэтическим и своими средствами передавать характер мысли — тот самый характер мысли, который нам всем положено сначала «прочувствовать», то есть ощутить до дна, до глубины как облик смысла. А облик, его неложность и его цельность, — это ведь, собственно, залог того, что есть тут смысл, что он, бескрайне и хаотически открытый, все же не отсутствует. И вот отчего непременно обращение Ницше к поэзии, к стихам. Выходит, не по той причине Ницше пишет стихотворения, что у него был к тому талант, и не потому, что просто хочет их писать, — нет, это сочинение стихов, как и любая сторона жизни философа, находит свое место в облике его мышления, то есть в том, как подчинен он в целом его направленности и сути.

Почти нельзя сомневаться в том, что поэтический, версификаторский талант Ницше всем обязан сформировавшемуся характеру и облику его мышления; будь такой же талант дан человеку, не обремененному этими задачами, этими историческими сверхличными задачами, он, его талант, скорее всего не проявил бы себя сколько-нибудь заметно. Здесь же он подчинен облику мышления, облику мысли, а потому и собственно в области поэзии, поэзии немецкой, Ницше мог сказать свое яркое и свежее слово. Те литературоведы, что

склонны были рассматривать Ницше только как поэта, всегда отмечали значительную новизну его поэзии для его эпохи. Собственно говоря, в стихотворениях Ницше, особенно в чисто лирических, уже очень остро ощущается «конец века», стиль модерн, со всеми его искушениями утонченности, со всеми чрезмерностями эстетизма — по сути дела с тем, что местами явственно проглядывает уже в «Парсифале», последнем создании Рихарда Вагнера (1882), своими религиозными исканиями вызвавшим такую бешеную реакцию сопротивления в Ницше, в «Парсифале», где задуманный и исполненный трагизм порой приобретает черты некоторой вторичной декоративности или даже безмятежности — словно весь психологический накал сплюснен до плоского и лаконичного рельефа, в усталости от себя самого. Есть у Ницше этот предвиденный наперед «модерн», и есть «декаданс», над которым он все время размышлял и от которого он постоянно отрекся, отказываясь писать это слово иначе, как по-французски, во французской орфографии (коль скоро это и было специфически французское духовное проявление тех лет, коль скоро оно отвечало французскому состоянию духа). Но и это французское внес Ницше в немецкую поэзию — до Гуго фон Гофмансталя и до Стефана Георге, внес сюда во всей тонкости, поставив все на службу своей роковой мыслительной задаче. При этом Ницше все равно оставался и очень традиционным поэтом, для которого умерший в 1832 г. Гёте был все еще поэтом недавнего прошлого. Гёте как автор бесчисленных «ксений», пиршественных даров гостям, обычно кратких, рифмованных четверостиший или двустиший, по большей части именованных у Гёте «кроткими», но нередко яростных в своих обличениях и самоутверждениях, — Гёте, чеканящий в стихотворной форме задуманное им, такой колкий полемист Гёте был тоже весьма по душе Ницше, и он брал с него пример.

Стихотворения Ницше в Германии давно стали входить в хрестоматию, и он стал, так сказать, вполне «хрестоматийным», то есть, казалось бы, общепризнанным поэтом.

Однако до настоящего признания Ницше-поэту всегда было далеко. Этому есть несколько причин. Первая и главная — все-таки Ницше не поэт! То есть и здесь это не человек цеха, не представитель поэтической профессии — его поэзия существует только наряду с его философией, рядом с его прозаическими текстами — какой бы сложной устроенностью эти тексты ни отличались! — и внутри их. Поэтому даже вычленить поэтическое, собственно поэтическое, стихотворное наследие Ницше из всех его текстов — дело очень трудное и сомнительное, и если даже возможное, то с половинным успехом. Конечно, в Германии не раз выходили маленькие книжечки со стихотворениями Ницше, — но ведь читать его стихотворения нужно совсем не так, вовсе не в виде поэтического экстракта и отдельного сборника! Стихотворения Ницше иногда и отпочковываются от его книг, однако все равно неразрывно с ними связаны — и с книгами, и с несколько неупорядоченным, но притом непрерывным течением его мысли. Стихотворения Ницше лучше всего видеть внутри его книг, и еще лучше — внутри его потока мысли, к которому невольно обращается любой серьезный читатель Ницше, тем более что не опубликованных при жизни мыслителя текстов в его наследии не меньше, чем опубликованных.

Другая причина затруднений при восприятии Ницше-поэта — это его известная неуловимость. Как поэт Ницше — создание некоторой переходной эпохи в поэзии, или, вернее говоря, он сам осуществляет и демонстрирует нам такой переход. Его нельзя прикрепить к чему-то отдельному — к импрессионизму, нельзя прикрепить только к будущему: что только не сверкает неожидан-

ными мелкими и драгоценными крупницами в его стихах — тут и Фридрих Готлоб Клопшток из немецкого XVIII века, и Гёте, и Шиллер, и — не странно ли? — патетика старинной итальянской оперы («Жалоба Ариадны»), совмещенная с экспрессионистской, идущей из будущего, густотой и резковатостью. И у Ницше немало классических ровных, гармоничных стихотворных строк. И есть, внутри его поэзии, несомненные следы поэзии греческой и латинской, видимо, тоже и позднейшей европейской гуманистической. Во всяком случае, каждый читатель Ницше вдруг расслышит в нем то, что знает и испытал сам, — из прошлого ли, из будущего ли! Можно слышать в нем — внятно и отчетливо — *будущего* Гуго фон Гофмансталя, а русский читатель услышит предзнаменования футуристов и Марины Цветаевой. И это не пестрота, но — удивительная переходная многогранность! И воспринимаются все эти отзвуки и предзвучания не как «цитаты», но как радующие слух отзвуки и отблески: словно вся история поэзии пришла в поэтической мысли Ницше в возбуждение и все творчески задето тем, что он создает! Ведь это самая настоящая и *большая* поэзия — только не поэзия цехового поэта или потенциального члена какого-нибудь союза писателей!

Итак, причин немало для того, чтобы даже в немецкой культуре участь поэта Ницше была несколько странной. Удивителен, например, тот факт, что один из стихотворных циклов Ницше — «Идиллии из Мессины» — до 1980 г. ни разу не публиковался ни в одном собрании его сочинений (хотя было немало и полных собраний, и сверхполных!): из восьми идиллий, которые Ницше опубликовал в 1882 г. в одном не очень известном журнале, шесть перешли — однако в новых редакциях — в другие его книги; целиком же этот цикл не читается никем ровно 98 лет!

Главное, для чего понадобились Ницше стихи, для чего они стали уже внутренней потребностью его мысли, — это окончательно выводить мысль на бескрайние просторы возможного для нее. Можно наблюдать, как по мере выработывания у Ницше его особого стиля речи, стиля изложения, особой формы фрагмента, или афоризма, или изречения, стих начинает заявлять о своих правах на существование внутри философской книги. Стих проникает в такую книгу по мере того, как содержание и суть книги выходят за пределы и филологического, и философского, давно уже оставив позади себя свою принадлежность к какой-либо узкой и отдельной дисциплине знания. Такой выход за пределы и довершается поэзией: подобно тому как слово и стих ворвались в Девятую симфонию Бетховена и — тогда совершенно беспрецедентный случай! — заставили композитора писать финал симфонии на слова Шиллера, так стихотворное все более проникает вглубь книг Ницше — последний знак перехода в новое качество мысли. Книга «По ту сторону добра и зла» (1885) завершается поэтическим эпилогом «С высоких гор»; «Веселая наука» во втором издании (1887) получает целую дополнительную поэтическую книгу, и все знают, что наиболее известное сочинение Ницше — «Так говорил Заратустра» (1883—1885) — это поэтическая философия по ту сторону и философии, и поэзии, именно поэтому отмеченная своей особой строгостью, непоколебимостью мысли. И вот характерные свидетельства о ней самого автора: «...весь «Заратустра» — это взрыв сил, накапливавшихся десятилетиями; при таких взрывах и сам автор может взлететь в воздух» (в письме Ф. Овербеку 6 февраля 1884 г.); каждая из частей писалась приблизительно дней за десять. Подлинное состояние «вдохновенного», все создавалось на ходу, во время далеких походов быстрым шагом: абсолютная уверенность в том, что каждая фраза диктуется тебе издали.

Одновременно чувство предельной физической силы и гибкости...» Можно и нужно быть убежденным в интеллектуальной значимости даже и самых импрессионистических стихотворений Ницше. Хотя их мыслительному качеству надо ждать, пока читатель, по слову философа, сумеет прочувствовать это качество...

Тот же Ницше, какого узнаем и с каким знакомимся мы сейчас в этой книге, подготовлен Владимиром Борисовичем Микушевичем. И этот Ницше — особенный. Переложенный на русский язык весьма верно, точно и, как требуется, прочувственно, он одним свойством отличается от Ницше немецкого, оригинального: этот Ницше возникает для нас уже после русского серебряного века, после Велимира Хлебникова и русских футуристов. Вероятно, только поэтические средства этой эпохи и дают в распоряжение переводчика ту непременную виртуозность, которая позволяет воссоздавать на ином языке сложный состав иноязычной поэзии. Этот по-русски прочитанный Ницше — настоящий Ницше, имеющий отношение к своей подлинности; к этому русскому Ницше можно отнестись с полнейшим доверием. Конечно, всякий перевод своими средствами лишь реконструирует явление, помещая его совсем не на его собственное — на новое место в истории литературы и в истории мысли; в этом отношении переводчик может только указать через посредство своего текста на чужой феномен поэзии и мышления. Однако, помещая явление культуры на новое место, переводчик вместе с поэтом-автором стремится к той же самой существенности слова, какой был предан поэт-мыслитель. Это так в случае Фридриха Ницше, который жил и страдал самой существенностью своего слова, — оно новое и обращено в открывшуюся безграничность, такое слово только в себе и заключает окончательный критерий своей правдивости. Оно хрупко и ломко. Оно соединяется с незаконченностью, оборванностью, с молчанием,

безмолвием и той тишиной, с которой начинаются, которой завершаются столь многие стихотворения Ницше, которой многие из них проникнуты насквозь. Одаренный и в музыке — одаренный первым делом как талантливый ее слушатель, Ницше и здесь, вместе с другими, вместе с Вагнером, любимым и ненавидимым, обнаружил новое — способность музыки, но также и стиха, и слова проявлять безмолвие, делать его значимым и едва ли не главным в мысли. Вагнер был великим мастером этой молчащей напряженности, этой немолчащей тишины — знающие могут вспомнить, например, ту сцену «Кольца нибелунга», в которой Брунгильда вопреки своему желанию должна возвестить Зигмунду грядущую его гибель. Свойство этого оркестрового, просторного и широкого, мышления — этого молчания огромного оркестра ощутимо и в стихотворениях Ницше, в их музыкальности, которая, разумеется, возникает тут как совершенно единственная в своем роде. В.Б. Микушевич и выступил у нас надежным проводником всей такой необычайной сложности. К красноречию и к молчанию таких русских стихов следует прислушаться...

А.В.Михайлов
ФРИДРИХ НИЦШЕ:
НЕСКОЛЬКО ИЗБРАННЫХ СТРАНИЦ

О Фридрихе Ницше написано очень много. Немало написано о нем и на русском языке. И тем не менее есть потребность в том, чтобы вновь обратиться к нему, к его образу, к его текстам.

Мышление вещь трудная, и особо трудна мысль, когда попадает она, по каким-либо причинам, в особо критическое и кризисное свое состояние. А в таком состоянии и пребывала мысль Ницше. Это создавал и сам философ: «Сколько сначала пройдет поколений, пока не произведут они на свет всего лишь несколько людей, способных во всей глубине прочувствовать вслед за мною, что я совершил! А затем мне внушает ужас мысль о том, сколь же неправомочные и совершенно неподходящие для того люди будут ссылаться на мой авторитет. Однако таковы муки всякого великого учителя человечества: он знает, что во всех обстоятельствах и несчастьях может сделаться для человечества роком — не менее, нежели благословением», — пишет Ницше Мальвиде фон Мейзенбуг в начале мая 1884 г.

Совсем напрасно кто-нибудь скажет: смотрите, каким несносно высокомерным самомнением отличался этот Ницше! Хотя и это верно, но не в этом же дело. И, например, куда существеннее то, что философ сам предвидел судьбу своей философии — а именно то, что на нее будут ссылаться люди, для этого совсем не приспособленные, то есть ее не понимающие. Но мало и этого: Ницше этими самыми словами сам же и направляет путь своей философии. Он считает, что надо «глу-

боко прочувствовать» его философию, а мы ведь знаем, что даже и адекватное понимание мысли другого — это настоящая, далеко не простая проблема. И если ты, философ, требуешь, чтобы тебя не столько понимали, сколько «чувствовали» и через такое чувство постигали, то этим ты сам обрекаешь свою мысль на неопределенность. В такой неопределенности ее наверняка не поймут, и почти наверняка она будет иметь не благие, а самые роковые последствия для людей.

I.

О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ ИСТОРИИ ДЛЯ ЖИЗНИ

(отрывок из книги Ницше)

«Итак, история принадлежит охраняющему и почитающему, тому, кто в любви и верности смотрит назад себя — туда, откуда он пошел, ставши тем, чем он стал; в его благоговении как бы выражение благодарности за свое существование. Он печется обо всем, что наличествует испокон века, и рука его осторожна: те условия, в каких произрос он сам, он хотел бы сохранить для тех, кто произрастет после него, — тем-то и служит он жизни. Обладание утварью праотцев меняет в душе такого человека свою суть: ибо, скорее, утварь владеет его душой. Все мелкое и ограниченное, все ветхое и устарелое сохраняет свое достоинство и неприкосновенность благодаря тому, что хранящая и почитающая душа человека, влюбленного в древности, переселяется во все эти вещи, украдкой свивая себе в них гнездо. История города становится для него его же собственной историей; он понимает и городскую стену, и ворота с башней, и устав городского совета, и народное празднество — он понимает все это словно расцветенный картинками дневник своей юности, и во всем этом он вновь обретает и самого себя, свою силу, свое тщание,

свою способность суждения и свою нелепость, свои дурные привычки. «Тут-то и можно было жить, — говорит он себе, — потому что тут и можно будет жить, ибо мы упрямы и упорны в своем бытии и нас так просто не сломить вдруг ни за что ни про что». Так, с этим словом «мы» в душе, он и возвышается взглядом своим над всеми преходящими странностями единичной жизни и начинает ощущать себя духом дома, духом рода и города. Иной раз, переносясь взором через целые века, омрачающие и смущающие разум, он прямо обращается к душе народа как к своей собственной; чувствовать и предощущать верное сквозь все нагромождения, и чуть запах почти совсем стершихся следов, и инстинктивно читать, читать верно, бывшее — писанное и переписанное, и с ходу разумеет палимпсесты и многослойные полипсесты — вот в чем дарования его, вот в чем его добродетели. Такими-то доблестями наделенный, стоял Гёте пред Страсбургским собором — памятником Эрвину из Штейнбаха; буря чувств разодрала покрывало облаков, разделявшее их: Гёте вновь узрел это немецкое творение, чье воздействие проистекает «из крепкой суровой немецкой души». Подобное же чувство, подобное же влечение руководило итальянцами в эпоху Ренессанса, оно вновь пробудило в их поэтах античный итальянский дух, «чудесно зазвучали, словно и не прерывалось бряцание их, древние струны», — говорит Якоб Буркгардт. Но величайшую ценность историческое почитание древностей обретает тогда, когда оно простое и трогательное чувство радости и удовлетворенности простирает и на те скромные, грубоватые и даже жалкие условия существования, в каких находится человек или целый народ; так, к примеру, Нибур прямодушно признается в том, что среди степей и болот живет между вольными крестьянами, у которых есть своя история, довольный всем, — и не надо ему никаких художеств. И могла ли бы история служить жизни

лучше, нежели так, что она роды людей и население целых местностей, какие не столь уж облагодетельствованы судьбою, привязывала бы к их родным местам и нравам, делая их оседлыми и не давая им шататься по чужой стороне в поисках лучшей жизни, в состязании с другими за лучшую жизнь? Иной раз смотришь, и, кажется, только какое-то упрямство и неразумие словно железными скобами прикрепляет человека к таким-то соседям, к такому-то окружению, к нелегким обычаям, к этим беслесным горным хребтам, — но только неразумие такое самое что ни на есть благотворное; это известно всякому, кто поразмыслил о чудовищных последствиях авантюристической тяги в зарубежье порой у целых людских стай или же кто видит сблизил, каково состояние народа, утратившего верность своей предыстории и оттого брошенного на поиски все нового и нового и на беспокойный выбор все более нового в космополитических масштабах. А совершенно противоположное ощущение — оно что самочувствие дерева, оно держится своих корней и знает, что счастье не совсем случайно и произвольно, что оно вырастает из прошлого, его наследье, цвет и плод, чем и все твое существование извиняется и даже оправдывается; вот что теперь по преимуществу и называют настоящим чувством истории».

II.

Письмо Ницше Георгу Брандесу в Копенгаген. — Рассуждения об этом письме. — Коротко о русском ницшеанстве. — Способ философски мыслить. — «Метафизическая болезнь» Фридриха Ницше. — Реальный комментарий к письму. — Ницше сам называет свои основные философские труды

«Жизнеописание. Я родился 15 октября 1844 г. на поле битвы при Лютцене. Первым именем, какое довелось мне услышать, было имя Густава Адольфа. Предки

мои были польскими дворянами (Нецкие); кажется, что тип хорошо сохранился, несмотря на трех немецких «матушек». За границей меня обычно считают поляком; еще и в эту зиму меня в Ницце вписали в лист приезжих как «поляка». Меня уверяют, что на картинах Матейко можно видеть мою голову. Моя бабка принадлежала в Веймаре к кругу знакомых Шиллера и Гёте; брат ее стал преемником Гердера в должности веймарского генералсуперинтендента. Я был счастлив учиться в distinguished гимназии в Пфорте, из которой вышло столь много (Клопшток, Фихте, Шлегель, Ранке и т.д. и т.д.) замечательных в немецкой словесности лиц. У нас были (или есть...) учителя, которые сделали бы честь любому университету. Я учился в Бонне, потом в Лейпциге; старик Ричль, в те времена первый филолог Германии, выделял меня, можно сказать, с самого начала. В 22 года я стал сотрудничать в издававшемся Царнке «Центральном литературном листке». Основание Филологического общества в Лейпциге, поныне существующего, восходит ко мне. Зимой 1868—1869 г. Базельский университет предложил мне профессорскую должность; а я еще не был даже и доктором. Лейпцигский университет присудил мне докторскую степень задним числом, весьма почетно, без какого-либо экзамена, даже без представления диссертации. С Пасхи 1869 и по 1879 г. я оставался в Базеле; было необходимо отказаться от своих гражданских прав в Германии, потому что иначе меня как офицера («конная артиллерия») слишком часто призывали бы и это мешало бы исполнять академические обязанности. Тем не менее я знаю толк в двух видах оружия — в саблях и в пушках, а, быть может, еще и в третьем... В Базеле все шло очень хорошо, несмотря на мою молодость; случалось на докторских защитах, что принимавший экзамен был младше экзаменуемого. Большим благодеянием было для меня то, что между Якобом Буркгардтом и мною произошло сердечное

сближение — нечто весьма необычное для этого анахорета-мыслителя, живущего отдельно от всех. И еще ббльшим благодеянием — то, что с самого начала моего базельского существования у меня установились несказанно тесные отношения близости с Рихардом и с Козимой Вагнер, которые жили тогда в поместье Трибшен близ Люцерна словно на острове, порвав все прежние знакомства. В течение нескольких лет мы делили друг с другом все великое и мелкое — взаимное доверие не знало границ (в седьмом томе Собрания сочинений Вагнера вы найдете его «Послание», адресованное мне, в связи с «Рождением трагедии»). Благодаря таким связям я узнал широкий круг интересных людей (в том числе и «дам») — по сути дела почти все, что произрастает между Парижем и Петербургом. К 1876 г. мое здоровье ухудшилось. Я провел тогда зиму в Сорренто с моей старой знакомой, баронессой Мейзенбуг («Мемуары идеалистки») и симпатичным доктором Ре. Здоровье не улучшалось. Не прекращались стойкие, мучительные головные боли, которые лишали меня всяких сил. С годами эти боли достигли некоего пика постоянства, так что в году у меня бывало до двухсот дней с головными болями. Причина болезни, должно быть, исключительно локальная, потому что невропатологической основы для нее нет. У меня никогда не было ни малейшего нарушения умственной деятельности, но не было также ни жара, ни обмороков. Пульс оставался таким же медленным, как у Наполеона I (60 ударов в минуту). Мой особый номер заключался в том, чтобы в течение двух-трех дней подряд переносить, с полнейшей ясностью сознания, чудовищную боль, причем меня непрестанно рвало слезью. Стали распускать слух, будто я побывал в психиатрической лечебнице или даже скончался в ней. Нет большего заблуждения. Мой дух как раз только и вызрел в это страшное время, свидетельством чего — «Утренняя заря», которую я писал в Ге-

нуе, зимой, испытывая неслыханные мучения, вдалеке от врачей, друзей, родственников. Эта книга для меня своего рода «динамометр»: я создал ее, затратив самый минимум сил и здоровья. Начиная с 1882 г., впрочем очень медленно, дела мои все же пошли на поправку: казалось, что кризис позади (мой отец умер очень молодым и как раз в тот самый год своей жизни, в какой и я был ближе всего к смерти). До сих пор мне приходится соблюдать крайнюю осторожность и выполнять несколько условий, относящихся к климату и погоде. Не по собственному выбору, а по нужде мне приходится проводить летнее время в Оберэнгадине, зимнее — на Ривьере... Однако в конце концов болезнь принесла мне величайшую пользу — она раскрепостила меня, она вернула мне мужество быть самим собою... Да и кроме того я по своим инстинктам существо смелое, даже воинского склада: я долго сопротивлялся, и это обострило во мне чувство гордости. — Философ ли я? — Да что в том!..»

Это письмо Фридрих Ницше пишет из Турина в Копенгаген 10 апреля 1888 г. Оно адресовано Георгу Брандесу, датскому критику, историку литературы, эссеисту (настоящее его имя Моррис Коген). Брандес был европейской знаменитостью второй половины века: подхватывая дух времени и растолковывая его многочисленным слушателям своих популярных лекций и читателям своих книг, Брандес входил как желанный гость в интеллигентские дома всей Европы. Имя его не забыто и по сей день (хотя вряд ли его еще перечитывают). Одним из первых Брандес принес весть о Ницше, необыкновенном, новом немецком философе, и в Россию.

Здесь, в России, Ницше, русской традиции безусловно чуждый и для нее неожиданный и незванный пришелец, произвел впечатление огромное, притом полускры-

тое и не всегда уследимое: взятый из вторых, из третьих рук, доносившийся словно из далекого тумана, впоследствии переводившийся с опозданием, обыкновенно не-ряшливо и торопливо, Ницше подавал где-то в непроглядной глубине резкие и внятные сигналы. Эти сигналы воспринимались как призывы к действию и решимости, к стойкости сопротивления, к бурным порывам («Буря, скоро грянет буря!»), к человеческому самовозвеличению («Человек — это звучит гордо!») — к некой исступленности всего человеческого бытия, которому даже не требуется никакой цели, настолько преисполнен человек сознанием и своей силы и могущества, и гигантским влечением неведомо куда, и непреодолимым желанием что-то непременно сделать, неведомо что... Чуть позже наш великий композитор Александр Николаевич Скрябин перелагает все такие настроения в стихи — программу своей «Поэмы экстаза»:

...Что угрожало —
Теперь возбужденье,
Что угасало —
Теперь наслажденье.
И стали укусы пантер и гиен
Лишь новою лаской,
Новым терзаньем,
А жало змеи
Лишь лобзаньем сжигающим.

Неуклюжие и неловкие, эти стихи композитора превосходно (безбоязненно следуя стилю своей эпохи) воспроизводят и поэтику Ницше, и строй его образов и мыслей — когда и он творит, выйдя на просторы поэтической свободы, как в книге «Так говорил Заратустра». Словно совершается все в каком-то бушующем, и дикохаотическом, и куда-то безумно стремящемся, и притом совершенно замкнутом в себе пространстве, из которого

го все равно, как ни пытайся, никуда не вырвешься; тут нет и людей, потому что все поглотило собственное «Я», приобретшее космические размеры, зато изобильно населено это пространство устрашающе-неуловимыми Угрозами и Ужасами, и Укусами, и Терзаньем, — они-то и живы тут, эти неукротимые аллегории, а борющееся с самим собою великое «Я» только и делает, что в муках и борениях перерабатывает все такое — все сопротивляющееся и противодействующее ему в свою собственность, несказанно множа, и усиливая, и превосходя самого себя. Угроза переходит в возбуждение, ужас — в наслаждение, укусы пантер и гиен — в ласку и в новое терзанье, которое опять же не оставит человеческую личность, это разыгравшееся на просторах космоса «Я», в покое, а заставит его и впредь превышать самого себя и посягать на все большее — словно вытесняя сам мир из мира...

Боже! да ведь все то, что пытался довольно-таки косноязычно — а при этом как же точно! — выразить в стихах наш А.Н.Скрябин, — это и есть самый настоящий Ницше. И если русским людям в 1890-е годы было позволено получать от Ницше какие-то отдаленные импульсы, подобные раскатам дальнего грома, то почему бы и нам не поступать точно так же? Вот мы и получим Ницше из вторых — но верных рук А.Н.Скрябина, потому что очень многое в этих всего лишь девяти (!) приведенных нами стихах очень точно воспроизводит ницшевский мир — хотя бы в его сугубо поэтическом преломлении (как в «Заратустре»). Точно передана поэтика Ницше — поэтика лирического экстаза; точно передана эмоциональная атмосфера его поэтического мира; точно передан образный строй, и даже пантеры и гиены прямым ходом прибыли сюда из Ницше, потому что в мире европейского модерна рубежа веков все эти нетипичные для Европы живые существа тоже ведь расселились не без подсказки Ницше; точно передано, наконец,

и все боренье страстей, когда внутренний мир совершенно необузданной и не желающей уже знать ни о каком ограничении личности рождает вокруг себя словно олицетворенные «терзанья» и «наслажденья» и целые полчища таких страшных своей неопределенностью (чего только не дождешься от них!) существ, которые не сидят мирно по своим клеткам, а дико врываются в самый водоворот событий. Вот по крайней мере четыре вещи насчитал я, которые в стихах А.Н.Скрябина очень адекватно передают мир Ницше, — конечно, в его экстатическом, то есть исступленном лирическом преломлении. Конечно, при условии, что мы будем долго вчитываться и вдумываться в эти стихи, мысленно разворачивая их для себя и реконструируя на основании их нечто куда более объемное.

Не просто в целой книге «Так говорил Заратустра» мы узнаем то, что так явственно показал нам в своих стихах русский композитор, и наоборот, но вот что удивительно: ведь и в письме, которое направляет Ницше Брандесу, в письме столь любезном, и столь спокойном, и столь трезвом в рассказе о своей жизни, мы можем вполне обнаружить кое-что из того же странного мира. Что личность стоит в центре жизнеописания, тем более столь краткого, — это, конечно, только естественно, и никакого «экстатизма» здесь не уловить, то есть не найти никакой жажды завоевывать весь мир и на всем ставить свою печать творца и победителя, но ведь вместе с тем Ницше успевает показать нам в этом небольшом отрывке, как муки, страдания, болезни переделываются в творчество и в зрелость и как умственная высота достигается не просто так, но в борьбе со всеми внутренними помехами, через превышение их и через переделку их, путем крайнего напряжения, в нечто положительное.

Итак, с одной стороны, Ницше в этом отрывке — постскрипуме к своему письму — весьма трезв, он даже

поразительно уступчив, умеет отдать должное тем, кого повстречал на пути из больших, оказавших на него свое влияние людей, — и Ф.В.Ричлю, выдающемуся, хотя и не абсолютно «первому», филологу-классику своих дней, и Якобу Буркгардту, историку, искусствоведа, творчество которого до сих пор сохранило не только историческое свое значение и которого Ницше характеризует исключительно доброжелательно и даже пластично, и композитору Рихарду Вагнеру и жене его Козиме, дочери Ференца Листа, с которыми Ницше к этому времени давно уже успел перессориться, злоречиво отомстив им за все вольное и невольное в поздних своих текстах. Ницше добрым словом помянул даже и Мальvidу фон Мейзенбуг, подругу Герцена и Вагнера, о которой к этой поре успел уже не раз дурно обмолвиться, и — не называя имен — все свое женское, дамское окружение, о котором в других случаях отзывался дерзко и грубо. И с симпатичным доктором философии Паулем Ре Ницше к этому времени (как и с большинством других близких знакомых) тоже разругался. Что же касается «широкого круга интересных людей» — и «дам», — о котором Ницше утверждает, будто бы он знает его весь, как «произрастает он между Парижем и Петербургом», то для всякого биографа Ницше он дает тут совершенно ясные указания — через умолчание. Конечно же, Ницше, когда он пишет эти слова, имеет в виду прежде всего свое знакомство с Лу Саломе (Лу фон Андреас-Саломе, 1861—1937), молодой дамой, дочерью царского генерала, которая приехала в Европу из Санкт-Петербурга и сильно смутила сердце Ницше, когда в конце апреля 1882 г. он познакомился с ней в Риме благодаря доктору Паулю Ре. На редкость талантливая и экзальтированная Лу Саломе — позже она написала книгу воспоминаний о Ницше — вошла в жизнь философа как стихия, но только полная смысла — женственности и ума, и даже знаний. Но тоже и как персо-

наж европейского «конца века», европейского модерна с его утонченностью, изломанностью и декадансом; в образе Лу Саломе он предвоплощен — выявлен и выражен наперед точно так же, как в книгах самого Ницше предугадана и наперед воплощена перенасыщенная и переутонченная атмосфера того же «конца века».

Между Ницше, Лу Саломе, Паулем Ре разворачивается, при участии родственников, матери и сестры Ницше, драматическое действие, самая суть которого, по видимому, в неуловимости происходящего, в ускользающем и не поддающемся расшифровке характере и призвании самих действующих лиц, в многозначности вследствие этого каждого их поступка и слова — в непостижимости всего совершающегося. Слово эти реальные и живые лица переносятся в миф, который сами же и творят!

И что же тут странного: в 1892 г., ровно через 10 лет после всех этих переживаний лета 1882 г., в свет выходит драма Мориса Метерлинка «Пелеас и Мелисанда» (еще десятью годами позже — знаменитая опера Клода Дебюсси), и откуда же взяться всей импрессионистической символичности такой драмы, так завораживавшей, так и теперь захватывающей читателя и зрителя своей столь, казалось бы, расплывчатой и эфемерной образностью, которой она всякого берет словно в жесткие тиски? Откуда же ей и взяться, если не из жизни, где вся такая сверхчуткость к тающе-исчезающему ощущению и все такое пристрастие к беспредельной утонченности начинает исподволь культивироваться, а европейское общество постепенно созревает до всего этого, как бы ровно отсчитывая десятилетия: 1882 — 1892 — 1902... Конечно же, все из жизни, и Ницше в жизни же попадает ровно в то окружение, которое он предугадывает и предвидит своими книгами, своими ходами мысли — он его предугадывает, и он же творит... Но очень показательно, что с этого же 1882 г.

отсчитывает Ницше постепенное преодоление кризиса, перелом в течении своей болезни, пусть даже и оказался он мнимым.

Так получилось, что эти события взаимоотношений трех — Ре, Лу и Ницше — разворачивались быстро и столь же непонятно, так что уже 9 сентября Ницше пишет своей сестре: «Из обсуждения этих сцен на свет вышло то, что иначе, наверное, долго пребывало бы во тьме, а именно, что Лу была худшего мнения обо мне и до какой-то степени мне не доверяла; и когда я начинаю взвешивать обстоятельства, при которых мы познакомились, то, наверное, у нее было полное право поступать именно так (относя сюда же и действие некоторых ее осторожных высказываний на моего друга Ре). Но теперь она, конечно, думает обо мне лучше, и это главное, — не правда ли, любезная сестрица? В остальном же, если думать о будущем, то мне горько предполагать, что ты не будешь разделять со мной моего восприятия Лу. У нас с ней такое сходство дарований и намерений, что наши имена непременно будут когда-либо названы вместе, и всякое оскорбление, задевающее ее, прежде всего заденет меня».

Ницше твердо знал, что их имена будут названы и поставлены вместе рядом, — так это и случилось. Но почему? Основание — это совместное мифотворчество, это сотворчество мифа, которое Ницше продолжает и в своем только что процитированном письме. Обратим внимание: как знакомо уже вырисовывается пространство событий в этом письме — знакомо, потому что мы читали раньше отрывок из стихотворения — такого скрябинского, такого ницшевского, передающего по-своему все ту же атмосферу времени: и тут, в письме, главные действующие силы — это вновь готовые воплотиться «мнения», и «недоверие», и «лучшее мнение», и «неосторожные высказывания». Они-то и есть длинные элементы «мифотворческой» действительности.

сти — действительности, которая становится мифом по мере самопонимания, самоистолкования ее участников, не переставая, естественно, быть и «самой» реальностью.

И вот дальнейшее продолжение того же мифа — письмо, относящееся уже к самому концу того же 1882 г. Ницше пишет Паулю Ре:

«Лу [...] была другим существом, чем то, какое я встретил позже. Существо без идеалов, без целей, без обязанностей, без стыда. И на самой низкой ступени, на какой может стоять человек — несмотря на ее умную голову! Она сама сказала мне, что у нее нет морали, — а я-то думал, что ее мораль строже, чем чья бы то ни было, и что она каждодневно и ежечасно приносит в жертву что-либо свое. Между тем я теперь вижу, что она стремится только к забавам и увеселениям: и если помыслить, что сюда же относятся и проблемы морали, то я начинаю, мягко говоря, до глубины души возмущаться. Она обиделась на меня за то, что я не признал за ней право на «героизм познания», однако ей следовало честно признать: «Я бесконечно далека от чего-либо подобного». Героизм означает самопожертвование, исполнение обязанностей, каждодневно, ежечасно, а потому означает и нечто куда большее: вся душа должна быть полна одним, а все прочее, жизнь, счастье, должны быть в сравнении с этим безразличны. Я и думал, что вижу в Лу такую натуру. Послушайте же, друг мой, как смотрю я на вещи теперь! Она — это абсолютное несчастье, я же — жертва такового. Я весною думал, что нашел человека, который в состоянии помочь мне: для этого необходим не только сильный интеллект, но нужна и перворазрядная мораль. А вместо этого я обнаруживаю существо, которому угодно развлекаться и которое бесстыже до такой степени, что думает — самые замечательные умы как раз годятся для ее развлечений. Для меня итог всей этой путаницы таков: более, чем ког-

да-либо, я лишен средств искать для себя такого человека, а душа моя, которая была свободной, мучима теперь отвратительными воспоминаниями, которым конца и края нет. Достоинство моего жизненного призвания поставлено под вопрос поверхностным и аморальным, легкомысленным и бездушным существом — достоинство и имя мое, мое имя запятнано...»

Вот как стремительно совершаются перипетии этой безысходной драмы! И притом именно этот же год вместе с тем и несмотря ни на что дарит Ницше улучшение, поворот к лучшему. Тут мы наблюдаем уже не диалектику чувств и не диалектику «страстей», способных достигать своей противоположности и резко менять свои оценки, а настоящее всеислие чувств, страстей, настроений и состояний человека, которые одерживают верх над его личностью, как только сам он начинает думать, будто он в своем творческом своеобразии всеислен, стоит в центре своего, создаваемого им мира, будто он абсолютно свободен и, как личность, абсолютно суверенен. А наряду с этим — какие же прекрасные слова находит Ницше для «героизма познания»! Какие высокие и дельные это слова. И в то же время одно нельзя отделять от другого: «героизм познания» — он ведь здесь принадлежит тому, кто так, именно так строит всю жизнь свою и деятельность. Героичен в своем познании тот мыслитель, который в одиночку сражается со всеми помехами и препятствиями своему творчеству — с тем чтобы, возобладав над ними, и их тоже обратить в свое внутреннее достояние, и их тоже переделывать и претворить на свой собственный лад. Но ведь это ход мысли, уже известный нам! И это мотив мифотворчества, который вырастает на упроченной десятилетиями культурного развития мыслительной базе, — это основание философски продуманного и претворенного эгоцентризма, экстаз личности, которая, выходя изнутри своего абсолютно ценного внутреннего мира, весь

мир — противостоящий себе — обращает в свою собственность.

И вот наиболее примечательное. Даже восприятия и чувства этой личности, даже самые мельчайшие ощущения ее — даже и они выплывают изнутри такой личности и растекаются по необозримым космическим просторам противостоящего ей мира: они, ее же чувства и ощущения, противостоят ей, они же представляют ей угрозу, в них же и входит весь ужас бытия. И в то же время все это принадлежит ей, личности, а потому бесконечно ценно, самобытно и уникально. Вот с таким противоречием живет подобная личность, таким противоречием мучается, и нетрудно видеть в подобном раздвоении внутреннего мира личности болезнь, так сказать метафизическую болезнь. Героизм познания заключается в таком случае в том, чтобы принимать на себя эту метафизическую болезнь, которая опрокидывается внутрь человека и накидывается на его тело и тело тоже ввергает в судьбу такой доводимой до крайности мысли.

Когда в апреле 1888 г. Ницше писал Георгу Брандесу письмо с очерком своей жизни — то, о котором мы рассуждаем и которое комментируем, — оставалось всего восемь с небольшим месяцев до духовного конца Ницше. Болезнь погрузила мыслителя в тьму, из которой ему не было возврата. И письмо это — светлый миг. Оно вроде тех мгновений, какие даются тяжелобольным перед самой кончиной, — мгновений обманчивого выздоровления. Недаром Ницше отзывается в этом письме хорошо обо всех, стараясь воздать по справедливости каждому. Черта совсем редкая в его жизни! Но что же за болезнь жестоко ломала Ницше на протяжении 15 лет, прежде чем погрузить его во тьму? Современные врачи из числа тех, что судят здраво и сдержанно, не решаются ставить теперь диагноз. Нет оснований для того, чтобы полагать, будто Ницше был заражен си-

филисом, — точка зрения, которой одно время придерживались и которую развил в романе «Доктор Фаустус» Томас Манн, перенося на героя своего позднего романа обстоятельства мифологизированной жизни Ницше. Не решаясь забегать вперед врачей, мы можем видеть, однако, иное: болезнь и творчество Ницше находятся в отношении «предустановленной гармонии» — если только мы возьмем на себя смелость употребить не по назначению знаменитое понятие Лейбница. О том, какая тут болезнь и как влияет она на творчество, можно сказать со всей определенностью: болезнь влияет не так, чтобы вслед за телом «заболевал» и дух и чтобы, следовательно, в работах, в текстах Ницше сказывалось что-то болезненное и с годами все больше и больше такого болезненного. Нет, тут Ницше и за восемь месяцев до наступления душевного затмения совершенно прав: никогда не наблюдалось у него умственных, душевных отклонений, нарушений, напротив, его сознание отличалось особой ясностью — даже при нестерпимых болях; здесь мы можем положиться и на свидетельство самого Ницше.

Болезнь влияет на Ницше, на его мышление, очевидно, так, что она вынуждает его быть все смелее и сильнее: необходимо побороть болезнь, необходимо всякий раз в творчестве своем быть сильнее ее и необходимо переделать все болезненное в свою же силу, преобразовать боль в творческое напряжение, даже в наслаждение. Нужно отвоевать у болезни простор для своего труда и нужно заставить болезнь служить себе и своему труду (героизм познания!). Уступать же болезни можно лишь в одном — принимая те внешние требования, которые она ставит. Однако принять такие требования означает вступить в борьбу с болезнью на выгодных для себя условиях: так, болезнь принуждает жить в определенном климате, меняя местожительство в зависимости от времени года, но если соблюсти такие ус-

ловия, то тогда болезнь будет слабее и, значит, вероятнее выиграть бой с нею.

Зато мы можем так же хорошо видеть и то, что болезнь Ницше имела внутренний смысл для его мысли. Тут уже не болезнь влияет на рассуждения философа, на качество и направленность их, а суть самой философии влияет на состояние души и тела, — вернее, она предопределяет, каким ему быть. Философия здесь — это не какие-либо отвлеченные положения, тезисы, а в первую очередь и прежде всего (а это так или иначе и установил Ницше — своей мыслью и своей жизнью) самопонимание философа. Философ носит в своей голове какой-то образ самого себя — и как мыслителя, и как просто человека, и образ такой рождается не в результате теоретической его деятельности, но он, напротив, предшествует такой деятельности и в процессе ее только может лучше и яснее осознаваться и постигаться. Приходя к большей ясности относительно того, как он сам, мыслитель и человек, понимает себя, философ делает эту работу за себя и за других. В его мысли более ясным становится не только то, как он лично понимает себя, но и то, как вообще понимает себя человек. Совершая такой труд «за всех», философ, разумеется, не приходит тут к каким-то отвлеченным формулам самопонимания. Отвлеченным формулам и так никто не мог бы следовать в совершенно непосредственной жизни, но и эту непосредственную жизнь, в какую с самого начала входит и в какую погружается всякий человек, невозможно схватить отвлеченными формулами. И тут тоже нет никакой отвлеченности! Хотя какой-то степени ясности относительно того, чему следует человек в жизни, какому образу самого себя, какому самопониманию, философ может добиться (пусть даже то далеко не самая легкая тема его мысли!). Ницше и добивается этого — притом, в свою очередь, так, как то было возможно в пределах его собственного самопонимания!

Неудивительно при этом, если складывающийся тут образ самопонимания становится образцом для такого миропонимания, которое все больше распространяется и которое затрагивает все более широкие культурные слои Европы в эпоху символизма и модерна, в эпоху «конца века» и немецкого «югендстиля» (модерна). Стремясь постичь свое же собственное самопонимание, философ — особенно в эпоху Ницше, когда такая проблема впервые обнаруживала себя в философии и когда Ницше интуитивно подхватывал ее, будучи в этом отношении большим новатором и «первопроходцем», — может извлекать из недр своей мысли только художественный образ своего самопонимания. И ничего более! Большая заслуга Ницше — в той его смелости и раскованности, с которой он передает и воспроизводит такой, складывающийся в его сознании образ. Отсюда его полная загадок, ошеломляющая и озадачивающая книга — «Так говорил Заратустра», отсюда его неожиданная для своего времени глубокая лирика, вся подчиненная мыслительной, теоретической задаче. Другое дело, что по мере разворачивания образа, по мере обретения им художественной самостоятельности, его, оказывается, все труднее постигать и воспроизводить другим: все, что явилось результатом напряженной умственной деятельности, — все это и обращается вновь в задачу и загадку для других, в чем можно до бесконечности разбираться. Такие задача и загадка — метафора того, что нашел в себе философ, стараясь понять то, как понимает себя он сам и как понимает себя человек. Только художественный образ и выручает его здесь — но только художественный образ, выручая его, и обращает в загадку, и вновь «шифрует» то самое, что нашел в себе философ. Одно только искусство и становится уделом такой философии, коль скоро она поставила перед собой подобные цели и задачи, — одно только искусство, да еще все то, что сам же философ, как бы комменти-

руя самого себя, сможет сказать по поводу рождающихся в нем художественных образов (тут философ обращается уже в своего же собственного толкователя, начиная бесконечный ряд толкований, интерпретаций).

Но ведь мы видели уже, как понимает себя Ницше, и, кажется, к месту употребили тогда слова «метафизическая болезнь». Самопонимание Ницше неминуемо ведет к внутреннему раздвоению, при котором все внутреннее (что является достоянием душевного мира мыслителя) мыслится еще и как внешнее, как препятствие для самого же себя. Все, что принадлежит философу, этому мыслящему «Я», ставящему себя в определенные отношения с действительностью, с миром, все то же самое, как понимает это Ницше, и противостоит ему. Выходит, и душа и тело самого же философа — это его враги. Это противостоящие ему силы! Вот и основа для «метафизической» болезни — значит, для такой, исток которой исключительно во внутреннем мире человека и его собственном понимании своего мира. Можно ли заболеть от этакого? По-видимому, все же можно — но только при одном-единственном условии: мыслитель будет принимать свой образ мыслей вполне всерьез. А в этом не было недостатка у Ницше — «героизм познания»!

Итак, получается, что можно заболеть от своего самопонимания, если принимать его вполне всерьез. Так это и есть у Ницше. Но можно ли этому поражаться, если, так или иначе, мыслитель вынужден все более и более уверяться в том, что все принадлежащее ему, и тело, и душа, и даже ум, позволяющий ему мыслить и обеспечивающий работу мысли, — что все это в то же самое время и препятствует его мысли. Но ведь именно так и складывалось это у Ницше: по мере того как углублялось его самопознание, он все более и более убеждался в том, что все принадлежащее ему враждебно ему. В этом и заключалась болезнь Ницше — в раз-

двоении внутреннего мира (точнее, всего того мира, который есть мир «Я» и который это «Я» может считать своим), а начало раздвоению было положено определенным самопониманием, то есть, говоря иначе, определенным образом «Я». Такое «Я» мы можем называть крайне эгоцентрическим, и оно возникает в известной традиции мысли, подсказывающей, что личность должна все лучше и лучше и все полнее осваивать себя (и, казалось бы, как это хорошо и правильно!), но подсказывающей также и другое — а именно то, что все внутреннее (что личность учится все лучше понимать и все глубже осваивать) — это только ее, личности, обособленный мир и что в своих глубинах она не найдет ничего, что сближало бы и объединяло ее с другими людьми (напротив, все только разъединяет, коль скоро тут постановлено, что все это только личное достояние). Раздвоение — это, так сказать, болезнь личности, которая слишком долго додумывала себя в одном направлении, слишком далеко продвинулась в одном этом направлении. Такая личность способна создавать выдающиеся и неповторимые художественные произведения. Такого типа личности способны даже творить общую атмосферу, определяющую лицо искусства Европы целого периода и проникающую даже в быт людей. Но эти же личности вынуждены страдать и болеть от этого. В таких случаях говорят — свехутонченность, чрезмерный эстетизм... Однако во всем этом лишь внешнее оформление самопонимания личности (возникшего, конечно, не по произволу самой личности и не на пустом месте, а в своей традиции): она творит такие-то художественные образы, не может не творить их, и она же создает свою болезненность и страдает от своих болезней. Они заложены в «метафизику» ее самопонимания. Как только философ понял, что самопонимание, предшествующее любым теоретическим, умозрительным рассуждениям, — это тоже философия и тоже тема философии, и как

только он принял это свое самопонимание вполне всерьез, так и появилась возможность болеть исключительно от своего самопонимания. При условии, конечно, что такое самопонимание ставит человека в подобную исключительно трудную позицию, как то было у Ницше, — в позицию раздвоения всего того, что личность может считать «своим».

Мыслитель обязан все время обгонять свою болезнь, обязан все время брать верх над нею. Вот ситуация, в какой находился Ницше. Надо было все снова и снова овладевать своей внутренней раздвоенностью, надо было всякий раз становиться выше ее. Именно поэтому болезнь никогда и не могла овладеть мыслью Ницше, не могла оказать на нее болезнетворное воздействие, не могла сделать эту мысль патологической. А вместе с тем мысль, овладевая собой (через самопонимание), никогда не могла победить болезнь, потому что болезнь — это ее внутренняя, данная вместе с самопониманием, сторона, принадлежность самой же мысли, коль скоро уж она такая, коль скоро она утверждается на таком, а не ином самопонимании личности.

Если угодно, сознание здесь всецело определяло бытие тела — и тела, и души. И такое состязание мысли с болезнью, внесенной и «положенной» ею же самой, продолжалось до тех самых пор, пока мысль была в состоянии брать верх над болезнью и раздвоенностью (как источником болезни). В последние месяцы 1888 г. дело у Ницше явно дошло до ускорения в этом совместном роковом беге: мысль заметно становится все смелее, отважнее, все раскованнее, а внутри разгорается болезнь. Позже мы прочитаем некоторые из последних писем и записок Ницше: болезнь обогнала мысль, а мысль не смогла взять последних, поставленных ею же самую препятствий. Мысль, как оказалось, может быть врагом для самой же себя, — так это было у Ницше. Мысль враждует сама с собою, когда личность понима-

ет себя так, что вынуждена все «свое», все принадлежащее ей же самой представлять как внешнее препятствие самой же себе. Личность тогда способна небывалым образом разрастаться, заявляя свои права на весь мир и на весь космос как на свою собственность (свое «представление» или творение), но эта же личность в таком процессе вынуждена суживаться до геометрической точки «Я», обретая в такой сходящей на нет величине, в такой самотождественности, вновь и вновь удостоверяющейся в самой себе, залог возможности своих завоеваний, залог своего всеисилия. Принимая же свою мысль вполне всерьез, личность обрекает болезни все свое: в своей преданности мысли и познанию она вовлекает в свое дело все, с чем связана и от чего зависит. Все аффицируется ею — затрагивается, заражается: и душа, и тело. Это, конечно, ярко освещает для нас сущность познания, как разумел его Ницше.

Познание уже не то, чем было оно у Аристотеля, у Канта, у Гегеля и в новой традиции их истолкования. Познание — это для Ницше такой процесс, в котором участвуют и мышление, и душа, и тело: познание неотрывно от психологии и переживания, в познании же полновесно соучаствует и тело. Тело, душа и ум познают в своем единстве, в своей неразрывности друг от друга. Для теоретического познания такая неразрывная их взаимосвязь — это хаотическое смешение, из неприглядности которого трудно найти выход. Следовательно, когда Ницше говорит о героизме познания, то понимает он под этим нечто существенно иное, чем то, что имел бы в виду философ XVIII или XX в., скажем Иммануил Кант или Эдмунд Гуссерль. В ницшевском пафосе познания нет ровным счетом никакой «чистоты», о чем столь беспокоились классики философской мысли, нет в нем даже и элементарной вычлененности познания из всей массы переживаемых человеком процессов.

Если же смотреть так, как смотрел Ницше, стало быть в единстве с его самопониманием, то именно эта невычлененность процессов, неотделенность умственного и психологического, умственного и телесного, физического по их сущности и определяет ситуацию, в которой мысль сопряжена с болезнью тела и души. Такая мысль в своем стремлении к познанию ставит на карту сразу же и душу, и тело — потому что нет такой теоретической сферы, которая была бы попросту обособлена от душевных и телесных процессов человека. Такая же мысль заставляет и душу, и тело сострадать себе. И здесь своего рода раздвоение: это ведь не что иное, но мысль, мышление представляет в качестве препятствия для себя все, в том числе и свою душу, и свое тело, а в то же время и душа, и тело — это ее «свое», принадлежность мысли, и это вместе с ними, с душой и с телом, мысли приходится обгонять болезнь и одерживать над ней верх! Опять же неразрешимое и тяжелое по своим последствиям противоречие. Мысль управляет здесь телом — в том смысле, что она не желает отличать и окончательно отделять себя от тела, а потому вынуждает тело страдать вместе с собою.

Это вовсе не значит, что у болезни Ницше не было своих органических причин. Если бы мы осмелились утверждать нечто подобное, мы зашли бы в область медицины, между тем как даже далеко не все врачи берутся судить о болезнях столетней давности. Нам довольно того, что у болезни Ницше были метафизические предпосылки. Эти предпосылки таковы, что для них любая органическая причина болезни была очень удобным предлогом, которым можно было воспользоваться, реализуя то, что уже было заложено в самопонимании Ницше.

Таким образом, болезнь, которая мучила и преследовала Ницше в течение долгих лет, была по преимуществу «метафизической болезнью».

Если можно так сказать, Ницше болел с глубоким смыслом, и такой смысл был у его болезни. Пойдем дальше: какой бы эгоцентрической ни была мысль философа, то есть из какого бы эгоцентрического образа личности он ни исходил, все-таки на философе нет вины именно за это. Ведь всякий философ — это произведение определенной культурной эпохи. Хотя и философ тоже со-творит культуру, ему никогда не обойтись без того, с чем он приходит в мир, усваивая известные предпосылки культурного развития. Поэтому, сколь бы странен ни был образ мысли философа, можно быть уверенным, что итоги его мышления сами по себе не эгоцентричны, не принадлежат только ему одному, — всякий раз это выведение наружу, прояснение и, быть может, очищение того, чем живут и согласно чему живут другие люди. Философ может выводить наружу то, что иной раз спит непробудным сном в головах большинства. Философ всегда вправе был сказать: он бдит ради того, чтобы другие спали. Для Ницше, заметим, и этот чужой сон — тоже препятствие и раздражающий его фактор: мир сопротивляется его мысли хотя бы тем, что спит и не слушает его, тем, что не находится никого, кто бы бодрствовал с ним. Если так понимать дело, то философ выносит наружу не свой никому не интересный эгоцентризм (тем более доводимый, как здесь, до какого-то абсурда), а всегда нечто типичное. Именно поэтому Ницше мог бы с полным правом сказать, что он мыслит за других. И, продолжая, мог бы сказать, что он страдает за других. И жертвенно принимает на себя страдания других. Именно уже потому принимает на себя, что согласно тому, как понимал и как должен был понимать Ницше свою философию, он не мог не страдать, мысля, — философия его заключала в себе, как условие и следствие свое, метафизическую болезнь.

Но не говорил ли Ницше о том, что он страдает за других? Что он жертвует собой ради других? Чтобы узнать об этом, мы еще будем читать его последние письма и записки.

Письмо Ницше Георгу Брандесу с кратким своим жизнеописанием — это на удивление светлый и благожелательный текст. Словно кто-то подошел к Ницше и освободил его на время от вечных мук познания. И дал взглянуть на прожитое взвешенно и спокойно. В этом весьма велика была роль Георга Брандеса. Он был новым для Ницше корреспондентом; прежде они не были знакомы, но Брандес своим письмом тотчас же расположил Ницше к себе. Таким образом, Брандес никак не был связан с прошлой жизнью Ницше, не был причастен к его внутренним конфликтам, которые так омрачали отношения Ницше со всеми без исключения старыми друзьями. Благодаря этому и Ницше смог, кажется, посмотреть на себя несколько со стороны.

Тем не менее и это письмо содержит изложенную в наикратчайшей форме всю метафизику творчества Ницше, или, иначе, метафизику его познания. Бег наперегонки с болезнью излагается им впечатляюще и убедительно. В 36 лет, в 1880 г., Ницше создает книгу «Утренняя заря» и теперь очень хорошо сознает, что книга эта была написана «с самым минимумом сил и здоровья», то есть ему удалось тогда совсем незначительно обойти свою болезнь. После этого, кажется Ницше, дела его начали идти на поправку, между тем как в 1880 г. он находился ближе всего к смерти и отец его, пастор в Рёкене близ Лютцена, умер именно в 36 лет. Тексты великих мыслителей бывают порой до неисчерпаемости глубоки — даже при самой скромной и гладкой поверхности своей: они уходят вглубь, словно корни дерева. Такова и эта приписка Ницше к своему письму Брандесу.

А теперь маленький реальный комментарий к этому письму. Шведский король Густав Адольф — великий герой протестантской историографии, и Ницше, сын пастора, хорошо помнит, что это за честь — родиться «на поле битвы близ Лютцена», на том поле, где 16 ноября 1832 г., во время Тридцатилетней войны, пал Густав Адольф, защитник протестантского мира. Зато Ницше решительно заблуждался, полагая, что предки его — поляки. Ничего подобного! Генеалогическими изысканиями установлено, что предками Ницше были одни немцы, и этот точный вывод, к сожалению, обидел и оскорбил бы Ницше. Дело в том, что Ницше в резком тоне отзывался о немцах и переносил свою критику немцев на всю немецкую культуру XIX в. (с которой был неразрывно связан) и на немецкую политику, на политику Пруссии, на политику Бисмарка, а затем и императора Вильгельма II, вступившего на трон как раз в конце 1888 г., — как высказывался Ницше о нем, еще предстоит услышать. Зато Ницше высоко ценил еврейскую расу и роль ее в европейской культуре. Ницше договорился до того, что однажды написал: даже повстречаться с евреем — уже большое благодеяние. Знал ли Ницше, что Брандес по национальности еврей? Да. Он обращается к Брандесу как к представителю скандинавской культуры и искренне сожалеет, что не может писать по-датски или по-шведски.

О полученном Ницше образовании: он блестяще закончил гимназию, которая славилась на всю Германию. В той же гимназии учился, поступив туда чуть позже Ницше, будущий великий и «первый» немецкий филолог-классик Ульрих фон Виламовиц-Мёллендорф. Ницше умалчивает о том, что именно Виламовиц встретил первое философско-эстетическое сочинение, напечатанное Ницше (в 1872 г.), «Рождение трагедии из духа музыки», разгромным памфлетом, в котором обличал всю его филологическую несостоятельность. Ницше не-

удержимо влекло от филологии в сторону свободной философской мысли, а в какие страдания вылилась эта свобода, мы уже видели. Ницше, действительно, пренебрег внутренней строгостью филологической науки, и тогда им овладел экстатический порыв, последствия которого тоже налицо. Поскольку в том же самом письме Георгу Брандесу, постскриптум к которому мы так долго обсуждали, Ницше приводит и хронологию своих главных работ, весьма уместно и нам сделать это словами Ницше:

«“Рождение трагедии” сочинялось с лета 1870 г. по зиму 1871 г. (завершено в Лугано, где я жил вместе с семейством фельдмаршала Мольтке).

«Несвоевременные размышления» — с 1872 по лето 1875 г. (таких «размышлений» должно было стать 13: к счастью, здоровье приказало — нет!).

— То, что говорите вы о «Шопенгауэре как воспитателе», доставило мне огромную радость. Это небольшое сочиненьице служит опознавательным знаком: для кого нет в нем ничего личного, моего, тому, по всей вероятности, и вообще нечего за меня братья. В сущности, оно содержит план, по которому я жил до сих пор: это сочинение — мое твердое обещание.

«Человеческое, слишком человеческое» вместе с двумя продолжениями — с лета 1876 по 1879 г. «Утренняя заря» — 1880. «Веселая наука» — январь 1882 г. «Заратустра» — 1883—1885 гг. (каждая из частей писалась приблизительно дней за десять. Подлинное состояние «вдохновенного», все создавалось на ходу, во время далеких походов быстрым шагом: абсолютная уверенность в том, что каждая фраза диктуется тебе откуда-то издалека. Одновременно чувство предельной физической силы и гибкости...).

«По ту сторону добра и зла» — лето 1885 г. в Оберэнгадине и на следующую зиму в Ницце.

«Генеалогия морали» — между 10 и 30 июля 1887 г. она задумана, исполнена и в готовом к печати виде отправлена в лейпцигскую типографию.

Конечно, у меня есть и филологические работы. Только нам обоим уже нет дела до них».

К сказанному Ницше остается добавить, что в последний год сознательной жизни он готовит к печати несколько небольших сочинений — здесь и «Антихристианин», и подборка «Феномен Вагнера», и книга «Ессе homo» («Се человек»), в которой Ницше бросает взгляд на всю свою жизнь, на все свои книги, — этот текст дождался долго, пока его наконец не опубликовали — в 1912 г. Писавший в афористической манере, составляя свои работы из множества небольших разделов, или параграфов, или фрагментов (разных по размеру), Ницше в последние годы жизни намеревался сложить из них большой труд, который должен был содержать всю его философию в достаточно систематизированном виде. Такому труду он одно время давал название «Воля к власти»: то, как понимал Ницше собственную философскую деятельность, отражается и в том, как он понимает сущность мира вообще, и наоборот: сущность мира — это самоутверждающаяся воля, которая должна постоянно, ради собственного самоутверждения, превышать сама себя. На основе такого понимания воли возникает и ницшевское понятие «сверхчеловека» (или «надчеловека»): человек, утверждающий себя, должен постоянно превышать самого себя, и только при таком условии он утверждает себя как человек, только при таком условии он удовлетворяет своему понятию. Позднее вместо «Воли к власти» Ницше выбирает иное наименование для своего задуманного труда — «Переоценка всех ценностей». Вот и все основные труды, написанные и задуманные Ницше в течение жизни. Сочинение «О пользе и вреде истории для жизни», из которого мы

привели отрывок, составляет часть «Несвоевременных размышлений».

Вернемся к постскриптому: Ницше не упоминает о том, что участвовал во франко-прусской войне как санитар. После десяти дней подготовки Ницше всего две недели исполнял свои обязанности: в тяжелейших условиях он сопровождал повозки с ранеными в Карлсруэ, тогда же он и сам заболел сразу дизентерией и дифтеритом. Возможно, эти недели и положили начало тяжелым физическим страданиям Ницше в последующие годы.

Очень подробно Ницше рассказывает Брандесу о начале своего университетского преподавания. Но только он умалчивает о главном — о том, что решительно все — приглашение в Базель, присуждение докторской степени при необычных, ненормальных обстоятельствах — было осуществлено по подсказке и под давлением Фридриха Ричля, человека, пользовавшегося большим авторитетом в академических кругах. Собственных заслуг Ницше тут не было (при всей его одаренности), и скоропалительное приглашение на должность ординарного профессора, возможно, сыграло не лучшую роль в жизни Ницше. Можно думать, что на долю Ницше-филолога совсем не выпало испытаний, что он с посторонней помощью скачком одолел сразу же большую вершину, а потому и не слишком ценил филологию; так думали и думают многие.

Совсем особая тема — отношения Ницше с музыкой, его знакомство с Вагнером, под сильнейшее впечатление музыки которого он попадает в юности (только тот, кто по собственному опыту знает о невообразимо пленительной силе и власти этой музыки, может понять Ницше), позднейшая враждебность Ницше Вагнеру и его попытки разоблачить и развеять вагнеровские музыкальные волшебства и всю его идеологию. Это особая, громадная тема, и ее нельзя даже начинать сей-

час. Как композитор-дилетант, Ницше пробовал писать музыку, и такой музыки даже набралось на основательный том; среди сочинений Ницше — романс на стихи Пушкина «Заклинание». Вагнер благосклонно терпел рядом с собой Ницше-композитора, между тем как Ганс фон Бюлов, гениальный пианист и дирижер, дал ему резкую отповедь, когда Ницше обратился к нему со своими рукописями. Все эти отношения — Ницше, Ганса фон Бюлова, Вагнера, его жены Козимы (которая сначала была супругой Бюлова) — все это в сознании Ницше совмещается с миром греческих мифов: для Ницше при таком совмещении Козима Вагнер — это Ариадна, себя же он представляет тогда богом Дионисом (о котором с мифотворческой изначальностью, непостижимой для современников, возвещает он в своем «Рождении трагедии»), — между тем согласно критским мифам и «Теогонии» Гесиода Дионис — супруг Ариадны... Легкомысленно думать, что все это не имеет отношения к самой сердцевине философского творчества Ницше, — оно ведь внутри себя нарочито «запутанно» и питается из самых разнородных источников.

Такой же миф (точно так же относящийся к творчеству Ницше по существу) — его представление, будто он знает всех «интересных» людей между Парижем и Петербургом! Должно быть, оно положительно стимулировало сознание провинциала, — каким ведь в известном смысле и оставался Ницше. Куда правильнее было бы сказать, что он не знал почти никого (вот Я.Буркгардт — действительно европейская величина и европейски мысливший человек), но зато умел выискивать такие экзотически-редкие растения, как старушка Мальвида фон Мейзенбург (1816—1903) или девица Лу Саломе, которые побывали везде и повидали все, так что по ним и можно было создавать себе впечатление об общеевропейском столичном лоске, — они-то и пе-

редавали Ницше образ всего того, что творится между Парижем и Санкт-Петербургом. Эту способность оказываться в окружении немислимо фантастических особ Ницше разделял с Райнером Марией Рильке, у которого она, правда, была выражена куда ярче: читая имена его знакомых и покровителей, так и представляешь себе, что Рильке живет не на бренной земле, а в каком-то заколдованном замке, населенном вымышленными личностями с нарочно придуманными именами. О Ницше всего этого сказать нельзя, коль скоро его ближайшим другом был скромнейший композитор Генрих Кёзелиц, скрывавшийся под псевдонимом Петер Гаст. Да и Рихард Вагнер при всей своей гениальности и немислимой любви к роскоши все же никак не чужд земной простоты.

О метафизической болезни Ницше, которая, по его собственному признанию, принесла ему величайшую пользу, мы уже говорили более чем достаточно: не будь болезни, не было бы и феномена Ницше; не будь философского мышления Ницше, которое разгадывают вот уже сто лет, не было бы и феномена такой метафизической болезни и сознание всегда, без промаха, так и определялось бы бытием.

III.

ИЗ ПОСЛЕДНИХ ПИСЕМ И ТЕЛЕГРАММ НИЦШЕ

Письмо матери, Франциске Ницше, в Наумбург

Турин, 21 декабря 1888 г.

По сути твое бывшее творение теперь чудовищно знаменито — не то чтобы в Германии, потому что немцы слишком глупы и пошлы, чтобы постигнуть всю высоту моего духа; они и без того всегда позорились, подступаясь ко мне, — но — во всем остальном мире. Мои почитатели — исключительно изысканные натуры, сплошь

высокопоставленные и влиятельные личности, в Санкт-Петербурге, Париже, Стокгольме, Вене, Нью-Йорке. Если бы ты знала, в каких словах первые лица выражают мне свою преданность, не исключая и прелестнейших дам, — например, госпожу княгиню Тенишеву. Есть между моими почитателями подлинныя гении, — в наши дни нет другого имени, которое так выделяли бы, с которым обходились бы с таким почтением, как мое. — Ты видишь, в чем тут фокус: у меня нет ни имени, ни должности, ни богатства, а со мной обходятся словно с маленьким принцем — все, вплоть до уличной торговки, которая не успокоится, пока не выберет для меня самые сладкие грозди винограда (нынче фунт по 28 пфеннигов).

К счастью, я справлюсь теперь со всем, чего ни потребует от меня моя задача. Состояние моего здоровья на самом деле великолепно; мне без труда дается самое трудное, что не по силам пока ни одному человеку. Турин — это на деле моя резиденция; ах, как уважительно относятся здесь ко мне!..

Генриху Кёзелицу в Аннаберг

Турин, 22 декабря 1888 г.

Как забавно! Вот уже четыре недели, как я начал понимать свои собственные сочинения, — более того, ценить их. Нет, я не шучу: я никогда не знал, что они означают! я солгал бы, если бы сказал, что они — за исключением «Заратустры» — импонируют мне. Тут все как у матери с дитятей: она, может быть, и любит его, но она же совершенно невежественна в том, что такое есть ее дитя. — А теперь у меня абсолютная убежденность в том, что все хорошо уродилось, с самого начала, что все едино и стремится к одному. Позавчера я перечитал «Рождение» — это нечто неопишное, это глубоко, ласково, исполнено счастья...

Вот что замечательно здесь, в Турине: все совершенно очарованы мною, хотя я самый непритязательный человек и ни от кого ничего не требую. Однако, когда я вхожу в большой магазин, то у всех меняются выражения лиц; женщины на улице смотрят на меня, — и уличная торговка, моя старая знакомая, откладывает для меня самые сладкие грозди и снижает при этом цену!.. Само по себе это смешно... Я ем в самой лучшей трактирии — в два этажа с залами и кабинетами. Я плачу за обед один двадцать пять с чаевыми — и при этом получаю изысканнейшие блюда, приготовленные наизысканнейшим образом, — прежде у меня не было и понятия о том, что такое мясо, что такое овощи, чем вообще может быть настоящая итальянская еда... Например, сегодня нежнейшие «оссобуки», не знаю, как сказать это по-немецки, мясо с костями, в которых вкуснейший мозг! К ним брокколи, приготовленные невероятным образом, и тончайшие маккарони... Мои кельнеры лоснятся от добрых манер и предупредительности: самое лучшее при этом, что мне не надо ни с кем хитрить...

Поскольку в моей жизни все еще возможно, то я отмечаю для себя всех этих индивидов, — ведь они открыли меня в это неоткрывшееся время. Я не поручусь, что уже теперь меня не обслуживает мой собственный будущий повар.

Еще никто не принимал меня за немца... Я всегда читаю здесь «Journal des Débats», его инстинктивно поднимают мне, стоит мне только зайти в кафе...

В моей жизни уже не бывает случайностей: стоит мне только о ком-то подумать, и тотчас же в комнату очень вежливо входит письмо от него...

Францу Овербеку в Базель

Турин, 26 декабря 1888 г.

Дорогой друг,

только что я не мог удержаться от смеха: мне пришел на память твой старый кассир, которого мне надо еще успокоить. Весть благотворно на него подействует: ведь я уже с 1869 г. лишен гражданских прав в Германии и располагаю красивым базельским паспортом, который не раз уже возобновляли консульские представительства Швейцарии...

Сам же я работаю сейчас над запиской для европейских дворов в целях создания Антигерманской лиги. Мне хочется посадить так называемый «рейх» в железную рубашку, спровоцировав его на войну с отчаяния. И я не успокоюсь, пока молодой кайзер вместе со всеми причиндалами не окажется у меня в руках.

Между нами! Строго по секрету! — Наступило полное безветрие души! Я проспал десять часов без перерыва!

Н.

Карлу Фуксу в Дандиг

Турин, 27 декабря 1888 г.

Если хорошенько все взвесить, любезный друг, то отныне не имеет ни малейшего смысла говорить и писать обо мне; благодаря тому сочинению — «Ессе homo», — которое мы сейчас печатаем, вопрос о том, кто я такой, можно считать решенным на ближайшую вечность. Впредь можно не заботиться обо мне — только о вещах, ради которых я здесь... Кроме того, мои внешние обстоятельства могут в ближайшие годы претерпеть столь невероятное изменение, что даже любая конкретная деталь в судьбе и жизненных задачах моих ближайших друзей будет зависеть от этого, — не говоря уж о том, что столь эфемерные образования, как

«немецкий рейх», вообще не будут входить в расчет в том деле, какое грядет... Сначала выйдет в свет «Ницше против Вагнера», и если все удастся, то и по-французски. Проблема нашего антагонизма взята здесь на такую глубину, что, собственно, и вопрос о Вагнере тоже можно считать решенным. Одна страница «музыки» о музыке в этом сочинении — это, наверное, самое знаменательное, что я когда-либо писал... То же, что я говорю о Бизе, вы не должны принимать всерьез: пока я — это я, Бизе для меня тысячу раз пустое место. Однако это сильная ироническая антитеза Вагнеру; а начни я с похвал Бетховену, так то была бы бесподобная безвкусица. При всем том Вагнер до остервенения завидовал Бизе: «Кармен» — это ведь величайший успех во всей истории оперы, она по числу спектаклей превзошла все вагнеровские оперы, вместе взятые.

Юлиусу Кафтану в Берлине (черновые наброски)

Турин, конец декабря 1888 г.

I.

Уважаемый господин профессор,

Вы с вашим визитом в Сильс-Мария летом прошлого года относитесь к тем эпизодам из моей жизни, от которых волосы дыбом встают. Посылаю вам книгу, которая создавалась в те десять дней, пока вы пребывали там, чтобы у вас составилось хоть какое-то представление о том, что место, избранное для себя наиглубочайшим умом всех тысячелетий, не может сносить богословов.

II.

Достойнейший господин профессор, ваш визит в Сильс-Мария относится к тем эпизодам в моей жизни, от которых волосы дыбом встают. Это не мешает мне

быть благорасположенным к вам, свидетельством чему — посылаемая книга. — Через два года у вас и последние сомнения рассеются относительно того, что отныне я правлю миром.

Фридрих Ницше

Карлу Шпиттелеру в Базель (черновой набросок)

Турин, конец декабря 1888 г.

Уважаемый господин,

Вы, да доктор Видман — это крайний случай в моей жизни. Признаюсь вам, мне феномен Шпиттелера непонятен: простите, я привык к благоговейному отношению к себе — и не со стороны кого-нибудь, а со стороны первых умов нашего времени. Вам следовало бы знать, как пишет мне мсье Тэн... В сущности, я вас не понимаю. Ваших слов о «Генеалогии морали», которые застали меня в минуту глубочайшего погружения в ту колоссальную задачу, что стоит передо мной, мне никогда не позабыть. Соберите вместе все высокое, всю силу ума, все творения первых лиц всего человечества, и вы не получите и одной страницы этого творения, не говоря уж о его форме... Нет нужды читать меня много, достаточно одной страницы, чтобы создать ту дистанцию, которую никому не одолеть прыжком. А вы даже не заметили, что в моем сочинении о Вагнере речь идет обо мне.

Францу Овербеку в Базель (черновой набросок)

Турин, 29? декабря 1888 г.

Дорогой друг, твое письмо не неожиданно для меня. Я никому не ставлю в счет, если он не знает, кто я такой; никто не волен знать это. Мои дела были бы плохи, если бы я стал портить абсурдными претензиями те немногие человеческие отношения, какие у меня сложились с людьми. Ни разу в жизни я ни на мгновение не

чувствовал недоверия к тебе или хотя бы какого-то недовольства тобой: напротив — ты один из совсем немногих, кому я глубоко обязан. — А то, что я не человек, а судьба, — такое ощущение не передашь другому. Нет нужды, чтобы ты и сегодня верил мне: мне и самому не очень-то хочется в это верить. Коварства или задора мне тоже не занимать, так что иной раз я и посмеюсь над самим собой.

Францу Овербеку в Базель

Турин, 29 декабря 1888 г.

Знаешь ли, мои внешние обстоятельства вообще не изменятся в ближайшие годы, а может быть, не изменятся и вообще никогда. Каким бы авторитетом я ни пользовался, я не стану отказываться ни от своих привычек, ни от комнаты в 25 франков. Нужно, чтобы люди привыкали к такому сорту философов...

Мете фон Салис в Маршалинс

Турин, 29 декабря 1888 г.

Уважаемая фройляйн,
возможно, вы не запретите мне приветствовать вас по случаю нового года... Будем надеяться, что год будет хорошим. О старом ни слова: он был слишком хорош...

Меж тем я постепенно становлюсь знаменит — и неслыханным образом. Думаю, что еще ни один смертный не получал таких писем, какие получаю я, причем исключительно от изысканных умов, от людей, занимающих высокие должности и значительное положение. Отовсюду — не в последнюю очередь от лиц из самого лучшего Санкт-петербургского общества. А французы! Вы бы послушали, в каком тоне пишет мне мсье Тэн! Только что пришло очаровательное и, кто знает? может быть, написанное под действием чар письмо от одного

из первых и наиболее влиятельных деятелей Франции, который поставил себе задачу распространения и перевода моих сочинений, и это не кто-нибудь, а сам главный редактор «Journal des Débats» и «Revue des deux Mondes», мсье Бурдо. Он, кстати, пишет мне, что отзыв о моем «Феномене Вагнера» появится в «Journal des Débats», — и кто же автор? Моно... Среди моих читателей есть и один настоящий гений, это швед Август Стриндберг, который ощущает меня глубочайшим умом всех тысячелетий. Посылаю вам статью из «Kunstwart»'а с просьбой вернуть его мне при оказии, — там подлинно непревзойденным образом уточняется суть «Феномена Вагнера». — Здесь, в Турине, самое примечательное то, что все очарованы мною — все со словия. Со мной даже в самых мелочах обходятся как с государем — исключительно предупредительно открывают передо мной двери, подносят мне блюда. Лица всех меняются, когда я вхожу в большой магазин. — А поскольку я ни на что не претендую и ровен в обращении со всеми — мрачной физиономии тоже не строю, то получается, мне не нужно ни имени, ни положения, ни денег, чтобы все равно быть безусловно первым. —

Но чтобы был и контраст! — моя сестра пишет мне ко дню рождения крайне насмешливо: я вроде становлюсь нынче «знаменитостью»... Хороша же та нечисть, что верует в меня... И все это продолжается вот уже семь лет...

Теперь другой случай. Я всерьез считаю немцев подлейшей породой людей и благодарю небо за то, что по всем своим повадкам я поляк, а не кто-нибудь еще. Мой издатель, господин Э.В. Фритч, по случаю «Феномена Вагнера» опубликовал одну из самых неприязненных статей обо мне — в «Музыкальном еженедельнике», который сам же он и редактирует. Я немедленно написал ему: «Сколько потребуете вы за все мои книги? С искренним презрением, Ницше». Ответ: 11000 марок. —

Вот это по-немецки! И это издатель «Заратустры»! В эту зиму Георг Брандес снова отправляется в Санкт-Петербург, чтобы читать там доклады об этом безобразнике Ницше. Вот действительно исключительно умный и добрый человек, я еще ни от кого не получал таких деликатных писем. —

Генриху Кёзелицу в Берлин (черновой набросок)

Турин, 30 декабря 1888 г.

Старый друг,

под моим окном — словно я уже стал *princeps Taurinorum Caesar Caesarum* [князем туринцев, кесарем кесарей] и чем-то подобным — муниципальный оркестр Турина исполняет, между прочим, «Венгерскую рапсодию», я узнаю грандиозную «Клеопатру» Манчинелли... Затем я получил, по случаю «великолепнейшей “Генеалогии морали”», письмо от моего поэта Августа Стриндберга, в котором он присягает мне на верность, вновь выражая «всю глубину своего восхищения». Потом я — с героически-аристофановским задором — сочинил обращение к европейским дворам с призывом уничтожить династию Гогенцоллернов, этих багровокрасных идиотов, эту расу преступников в течение вот уже более ста лет, при этом я сделал свои распоряжения относительно трона Франции, относительно Эльзаса, а именно такие: Виктора Буонапарте, брата нашей Летиции, я провозгласил императором, а моего превосходного мсье Бурдо, главного редактора «*Journal des Débats*» и «*Revue des deux Mondes*», назначил послом при своем дворе, — потом я пообедал у моего повара (недаром его имя — де ля Паче)...

При моем дворе будут говорить по-немецки, ибо величайшие творения человечества написаны на немецком языке...

Турин, 31 декабря 1888 г.

Дорогой господин,

скоро вы получите ответ на вашу новеллу — он прозвучит как ружейный выстрел... Я созвал государей на конгресс в Рим, я намерен расстрелять молодого кайзера.

Руджеро Бонги в Рим (черновые наброски)

Турин, конец декабря 1888 г.

I.

Для меня крайне важно, чтобы представили меня итальянцам вы. Теперь у меня читатели по всему миру, сплошь избранные умы, в их числе мсье Тэн, люди опытные, занимающие значительные посты, исполняющие важные обязанности — в Вене, Санкт-Петербурге, Стокгольме, Париже, Нью-Йорке, — только не в Германии, и не удивительно, что и в Италии никто не знает меня! Как же может народ, состоящий из серьезных людей, первый народ Европы, связываться с этой исключительно стадной породой?...

II.

Что нам всем за дело, упаси господь, до династических безумств дома Гогенцоллернов!.. Это ведь не национальное, а всего лишь династическое движение... Князь Бисмарк никогда и не думал о «рейхе», он, со всеми его инстинктами, — только орудие Гогенцоллернов! — и вот это возбуждение национального эгоизма воспринимают как большую политику в Европе, почти что учат ей!.. Нужно положить конец всему этому — и у меня для этого достаточно сил.

Жану Бурдо в Париж

Турин, 1? января 1889 г.

Я искренне считаю возможным привести в порядок всю абсурдность нынешнего положения Европы с помощью чего-то вроде всемирно-исторического смеха — не проливая при том ни капли крови.

Мете фон Салис в Маршлинс

Турин, 3 января 1889 г.

Мир преображен, ибо Бог сошел на землю. Смотрите, как радуются небеса! Я только что вступил во владение своим царством, я брошу в тюрьму папу и велю расстрелять Вильгельма, Бисмарка и Штёкера.

Распятый

Козиме Вагнер в Байреит

Турин, 3 января 1889 г.

Принцессе Ариадне, возлюбленной моей

Что я человек, это предрассудок. Но я уже не раз жила среди людей и знаю все, чего можно от них ждать — от самого низкого до самого высокого. У индийцев я был Буддой, в Греции — Дионисом, Александр и Цезарь — это мои воплощения, равно как и творец Шекспира лорд Бэкон. Под конец я был Вольтером и Наполеоном, а, может быть, и Рихардом Вагнером... На сей раз я гряду, как Дионис, несущий победу, — он обратит землю в сплошное празднество... Не то чтобы у меня было много времени... Небеса ликуют оттого, что я здесь... Я висел и на кресте...

Козиме Вагнер в Байреит

Турин, 3 января 1889 г.

Это бревно, обращенное к человечеству, должна издать ты, в Байрейте, — под заглавием «Радостная весть».

Георгу Брандесу в Копенгаген

Турин, 4 января 1889 г.

После того как ты открыл меня, находить меня не требует хитроумия, — теперь трудно лишь терять меня...

Распятый

Якобу Буркгардту в Базель

Турин, 4 января 1889 г.

Моему достопочтенному Якобу Буркгардту

То была маленькая шутка, ради которой я прощаю себе скучное сотворение мира. Теперь вы, теперь ты — наш великий, величайший учитель: потому что у меня, вместе с Ариадной, отныне только одна обязанность — поддерживать золотое равновесие всех вещей, а во всем по отдельности у нас есть такие, которые стоят над нами...

Дионис

Паулю Дейссену в Берлин

Турин, 4 января 1889 г.

После того как не подлежащим сомнению образом было установлено, что, собственно, я сотворил мир, и мой друг Пауль, как выясняется, тоже предусмотрен в мировом плане: ему, вместе с мсье Катюлем Мендесом,

предстоит стать одним из моих великих сатиров и животных на праздничной процессии.

Дионис

Генриху Кёзелицу в Аннаберг

Турин, 4 января 1889 г.

Пой мне новую песнь: мир преображен, и небеса ликуют.

Распятый

Францу Овербеку и его жене в Базель

Турин, 4? января 1889 г.

Хотя до сих пор вы проявляли недоверчивость ко мне, что касается моей платежеспособности, я все же надеюсь доказать, что я — тот, кто платит свои долги, — например, вам... Я только что повелел расстрелять всех антисемитов...

Дионис

Эрвину Роде в Гейдельберг

Турин, 4 января 1889 г.

С опасностью вновь вызвать твоё возмущение своей слепотой в отношении мсье Тэна, некогда сочинившего «Веды», осмеливаюсь перенести в сонм богов тебя и твою прелестнейшую богиню...

Дионис

Генриху Винеру в Лейпциг

Советнику имперского суда Генриху Винеру

Хотя вы оказали мне честь тем, что оценили мое сочинение «Феномен Вагнера» как совершенно уничтожающее Вагнера, вышешпоименованный Вагнер все же ос-

меливается выставить на свет, in lucem aeternam, посредством всемирно-исторической неменяемости, свой «декаданс»...

Дионис

Ясновельможным полякам

Турин, 4? января 1889 г.

Я — один из вас, я еще больше поляк, чем я Бог, я окажу вам всяческие почести, какие только способен оказывать... Я пребуду меж вами как Матейко...

Распятый

Кардиналу Мариани в Рим

Турин, 4? января 1889 г.

Мир тебе! Во вторник я прибуду в Рим, чтобы благоговейно склониться перед Его Святейшеством...

Распятый

Умберто I, королю Италии

Турин, 4? января 1889 г.

Моему любезному сыну Умберто

Мир тебе! Во вторник я прибуду в Рим и намереваюсь видеть тебя и Его Святейшество папу.

Распятый

Якобу Буркгардту в Базель

Турин, 6 января 1889 г.

Дорогой господин профессор,
в конце концов я с ббльшим удовольствием был бы профессором в Базеле, нежели Богом, однако я не осмелился заходить в своем личном эгоизме столь далеко,

чтобы ради этого не сотворить мир. Вы видите — как и где ни живи, все равно приходится приносить жертвы. — Однако я зарезервировал за собой студенческую комнатку напротив палаццо Кариньяно (в котором я родился в облике Витторио Эммануэле), где, помимо всего прочего, можно, не отходя от письменного стола, слушать великолепную музыку, которую исполняют подо мной в «Галлериа Субальпина». Я плачу 25 франков с обслуживанием, сам покупаю себе чай и делаю все прочие закупки, страдаю от драных сапог и всякий миг благодарю небеса за древний мир, — люди не были достаточно просты и тихи для него. [...]

Что мне неприятно и слишком тяжелым бременем падает на мою скромность, так это то, что, в сущности, всякое имя в истории — это я; да и с детьми, которых произвел я на свет, дело обстоит так, что я, с известной недоверчивостью, размышляю над вопросом: не рождены ли все те, кто внидет в царствие божие, самим же Богом? В эту зиму я, одевшись попроще, дважды присутствовал на своих похоронах — сперва в лице графа Робиланта (впрочем, нет, это мой сын, а сам я Карло Альберто, это моя земная природа), но уж Антонелли-то был я сам. Дорогой господин профессор, надо, чтобы вы увидели это архитектурное творение, сооруженный им мол; поскольку я совершенно не сведущ в тех вещах, какие я творю, то вы вправе как угодно критиковать меня, я заранее благодарен вам, хотя не могу обещать вам, что извлеку отсюда пользу. Мы, артисты, народ необучаемый. Сегодня я посмотрел свою оперетку — в гениально-мавританском стиле, и теперь я с удовольствием констатирую и то, что и Москва, и Рим — грандиозные затеи. Видите, что касается пейзажа, за мной тоже никто не отрицает таланта...

Завтра прибудет сын мой Умберто с прелестной Маргеритой, но я приму их запросто, без сюртука. Все

остальное — Козиме... Ариадне... Время от времени совершаются и чародейства...

Я разгуливаю повсюду в своем студенческом наряде, а иной раз возьму да и хлопну кого-нибудь по плечу со словами: *Siamo contenti? Son dio, ho fatto questa caricatura...* Ну как, мы довольны? Я Бог, я и создал эту карикатуру...

Я велел заключить в железа Каиафу; кроме того, в прошлом году я — весьма трудоемким способом — был распят немецкими медиками. Я упразднил теперь Вильгельма, Бисмарка и всех антисемитов.

Вы вправе делать из этого письма любое употребление, какое не уронит меня в глазах жителей Базеля. —

Получив это письмо, Буркгардт забил тревогу и первым делом отправился к старому другу Ницше Францу Овербеку. Уже 7 января Овербек выехал в Турин и на следующий день был у Ницше. 9 января он пустился вместе с Ницше в обратный путь. 10 января Ницше был помещен в клинику нервных болезней в Базеле, а 18 января — в психиатрическую клинику Йенского университета. С 13 мая 1890 г. Ницше проживал у своей матери в Наумбурге. Незадолго до смерти матери (1897 г.) сестра Ницше, Элизабет Фёрстер-Ницше, перевезла брата в Веймар. Здесь к этому времени ею уже был основан Архив Ницше. Сестра занялась изданием и распространением сочинений Ницше, причем не останавливалась перед сокращениями и поправками в его рукописях и письмах.

Фридрих Ницше скончался 25 августа 1900 г.

ЭПИЛОГ. ПОСМЕРТНОЕ

В начале декабря 1888 г. Ницше намеревался направить свою книгу «Ессе homo» (которая так и не увидела свет при жизни автора) только что вступившему на трон императору Вильгельму II. Ницше работал над текстом сопроводительного письма — сохранились его черновые наброски. Книга и письмо так и не были отправлены адресату. Теперь это письмо — в самом просторном черновом варианте — читаем мы, возможно, слишком поздно. Но, читая его, мы должны задуматься над тем, не имеет ли оно к нам куда большее, куда более прямое и непосредственное отношение, чем к бывшему немецкому кайзеру. Только мы сами можем и должны это решать.

«Я оказываю германскому императору величайшую честь, какой только может он удостоиться, и честь эта тем более весома, что мне ради оказания ее приходится преодолевать в себе глубокую неприязнь ко всему немецкому: я вручаю ему первый экземпляр моего творения, в котором возвещает о себе близящееся небывалое — колоссальный кризис, какого еще не знала земля, глубочайший конфликт совести в пределах человечества, который будет вызван решением, принятым против всего, во что до сих пор веровали люди, чего они требовали, что почитали священным.

И при всем том во мне нет ничего от фанатика: кто меня знает, тот считает меня бесхитростным, разве что чуточку склонным к язвительности ученым, который всегда умеет поддержать бодрый тон, с кем бы он ни общался.

Это же мое сочинение создаст, как я надеюсь, иной образ — не образ «пророка». И тем не менее — или,

лучше сказать, тем более, потому что все пророки до сих пор лгали, — моими устами глаголет истина.

Однако истина моя ужасна: ибо до сих пор истиной называли ложь... «Переоценка всех ценностей» — вот формула, которой обозначаю я акт величайшего самоосмысления, какой должны совершить люди. Жребий мой хочет, чтобы я глубже, мужественнее и честнее, нежели кто-либо, заглядывал во все те вопросы, какими задавались все времена. Я не бросаю вызов ныне живущим, — я бросаю вызов нескольким тысячелетиям: я им противоречу, но притом я прямая противоположность того ума, что говорит «нет»... Есть и новые надежды, есть цели, есть задачи столь величественные, что пока не находится для них и понятий: я по преимуществу человек, несущий радостную весть, как бы ни приходилось мне вечно быть человеком рока...

Ибо как только проснется этот вулкан, у нас на земле случатся конвульсии, каких еще не бывало: понятие политики растворится в борьбе умов, все формации власти словно разлетятся в куски, — и произойдут войны, каких еще не бывало...»

**КРАТКАЯ ХРОНИКА
ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ФРИДРИХА НИЦШЕ**

1844

15 октября — родился Фридрих Вильгельм Ницше в Рекеле близ Лютцена (Саксония). Отец Ницше — пастор Карл Людвиг Ницше (1813—1849), мать — Франциска Ницше, урожд. Элер (1827—1897).

1849

30 июля — умирает отец Ницше.

1850

Переезд семьи Ницше в Наумбург.

1858

Октябрь — Ницше поступает в знаменитую гимназию Шюльпфорта близ Наумбурга.

1864

Окончание гимназии. С октября Ницше изучает богословие и классическую филологию в Бонне. Учитя у филолога Фридриха Ричля (1806—1876).

1865

Начиная с зимнего семестра 1865—1866 гг. продолжает изучать филологию в Лейпцигском университете под руководством Ф. Ричля.

1867

Завершает университетский курс.

497

С начала октября — вольноопределяющийся в Наумбурге. После неудачного падения с лошади в мае 1868 г. освобождается от службы.

1869

12 февраля — Ницше получает, по рекомендации Ф. Ричля, профессию в Базельском университете.

19 апреля — прибывает в Базель. Лекции об Эсхиле, о греческих лириках.

17 мая — первое посещение Рихарда Вагнера в Трибшене близ Людерна.

28 мая — вступительное чтение Ницше в Базельском университете — доклад «О личности Гомера» (издан под заглавием «Гомер и классическая филология»).

1870

18 января — доклад «Греческая музыкальная драма» в Базельском музее.

1 февраля — доклад «Сократ и трагедия».

Выходит в свет работа Ницше по источниковедению и текстологии Диогена Лаэртского. Публикуются статьи в филологическом журнале «Рейнский музей» и другие специальные работы.

9 апреля — Ницше становится ординарным профессором. Лекции о Софокле, Гесиоде.

Июль — начало франко-прусской войны.

Август — Ницше становится санитаром. Во время транспортировки раненых в Карлсруэ заболевает дизентерией и дифтеритом. Пребывание в Эрлангене и Наумбурге.

22 октября — начало нового семестра. Лекции о Гесиоде, о греческой метрике.

1871

Постоянное ухудшение здоровья. С 15 февраля освобождается до конца семестра по состоянию здоровья. Находится в Лугано вместе с сестрой Елизаветой (1846—1935). С 8 апреля в Базеле. 22 октября — начало зимнего семестра.

Чтение корректур книги «Рождение трагедии из духа музыки».

1872

В самые первые дни года выходит из печати «Рождение трагедии».

16 января — начинается цикл публичных докладов Ницше «О будущем наших образовательных заведений».

24 мая — начало летнего семестра — лекции об Эхиле, о доплатоновских философах.

Резкая критика «Рождения трагедии» в брошюре Ульриха фон Виламовица-Мёллендорфа «Филология будущего!».

Зимний семестр — лекции о греческой и римской риторике.

1873

Август — выходит из печати первая часть «Несвоевременных размышлений» Ницше: «Давид Штраус, исповедник и писатель».

Зимний семестр — лекции о жизни и сочинениях Платона.

1874

Февраль — выходит вторая часть «Несвоевременных размышлений» — «О пользе и вреде истории для жизни».

Летний семестр — лекции по античной риторике, об Эхиле.

Начало октября — выходит третья часть «Несвоевременных размышлений» — «Шопенгауэр как воспитатель».

Зимний семестр — лекции по истории греческой литературы, о «Риторике» Аристотеля.

1875

Летний семестр — продолжение лекций по истории греческой литературы и о «Риторике» Аристотеля.

Зимний семестр — продолжает читать историю греческой литературы и читает курс лекций о «древностях религиозной культуры греков».

1876

Февраль — Ницше вынужден прервать чтение лекций по состоянию здоровья.

Летний семестр — доплатоновские философы; о жизни и учении Платона.

Июль — выходит из печати четвертая часть «Несвоевременных размышлений» — «Рихард Вагнер в Байрейте».

Июль — фестиваль в Байрейте; открытие вагнеровского театра; первое исполнение «Кольца нибелунга» Вагнера. Ницше в Байрейте.

Годичный отпуск, начиная с октября. Живет в Сорренто.

1877

До начала мая — в Сорренто.

С сентября — вновь в Базеле.

Зимний семестр — лекции о религиозных древностях греков.

Здоровье и психическое состояние Ницше вызывает озабоченность окружающих.

1878

Летний семестр — «Труды и дни» Гесиода; «Апология Сократа» Платона.

Апрель — выходит из печати первый том книги «Человеческое, слишком человеческое».

Зимний семестр — лекции: фрагменты греческих лириков; введение в изучение Платона.

Продолжается ухудшение состояния здоровья.

1879

Март — выходит в свет второй том книги «Человеческое, слишком человеческое».

Май — Ницше вынужден выйти на пенсию.

Конец декабря — выходит из печати «Странник и его тень» (завершение «Человеческого, слишком человеческого»).

1880

Ницше живет в Наумбурге, Рива дель Гарда, Венеции, Мариенбаде, Стрезе, Генуе. Завершение книги «Утренняя заря».

Ницше в Генуе, Рекоаро, с начала июля в Сильс-Мария на востоке Швейцарии.

Июнь — выходит в свет «Утренняя заря. Мысли о моральных предрассудках».

1882

Ницше снова в Генуе, Мессине (апрель), Риме, Наумбурге, Лейпциге.

Выходят из печати стихотворные «Идиллии из Мессины» — журнальная публикация (май).

Август — выходит в свет «Веселая наука».

1883

Январь — февраль. Ницше в Рапалло. В конце января Ницше пишет первую часть книги «Так говорил Заратустра». Из письма Ницше Францу Овербеку от 3 февраля: «Между тем, собственно за считанные дни, я написал свою лучшую книгу и, что еще значительно существеннее, совершил тот шаг, на какой не решался в прошлом году».

В июле Ницше пишет в Сильс-Мария вторую часть книги.

Первая часть вышла в свет в конце апреля, вторая — в конце августа — сентябре.

1884

В январе Ницше завершает в Ницце третью часть «Заратустры», — как он полагал, последнюю.

Конец марта — выход в свет третьей части.

В течение года напряженная теоретическая работа.

1885

Зимой Ницше завершает четвертую часть книги «Так говорил Заратустра», которую публикует (апрель) лишь в 40 экземплярах: «Искушение Заратустры. Вероятно, книгу эту нельзя печатать — богохульство, сочиненное в настроении шута» (из письма Петеру Гасту 14 февраля).

1886

Август — выход из печати книги «По ту сторону добра и зла».

Начиная с октября Ницше пишет в Ницце пятую книгу «Веселой науки».

1887

Январь — февраль. Ницше открывает для себя Ф. Достоевского.

Июль — Ницше пишет в Сильс-Мария сочинение «К генеалогии морали».

Ноябрь — работа «К генеалогии морали» выходит в свет. Всю зиму Ницше проводит в Ницце.

1888

Апрель — Ницше переезжает в Турин, где живет до начала июня и куда затем возвращается в сентябре. Время напряженной работы над последними сочинениями. Весной в Турине Ницше составляет небольшую книгу «Феномен Вагнера» (выходит в свет в конце августа).

Летом, в Сильс-Мария, Ницше планирует четырехтомный итоговый труд — «Переоценка всех ценностей». Пишет и редактирует сочинения «Сумерки идолов» (частично издано в 1889 г.), «Антихристианин» (издано в 1894 г.).

В ноябре Ницше завершает книгу «Ессе homo» («Се человек») — опыт осмысления своей личности, своей деятельности, своих книг (полностью опубличована лишь в 1912 г.).

Ноябрь — получает от издателя первые экземпляры книги «Сумерки идолов».

Декабрь — редактирование «Ессе homo».

Планы колоссальной, небывалой международной деятельности: «Знаете ли вы, что я для своего международного движения нуждаюсь во всем крупном капитале евреев» (Петеру Гасту, 9 декабря). Через три месяца я дам заказ на изготовление издания «Антихристианин. Переоценка всех ценностей»; оно будет выпущено втайне — будет служить как издание в целях моей агитации. Мне потребуются ее переводы на все основные европейские языки: когда произведение выйдет в свет, я рассчитываю на миллионный тираж на каждом языке в качестве первого издания... Речь идет о смертельном ударе по христианству, так что очевидно, что единственная интернациональная сила, обладающая инстинктивным интересом к сокрушению христианства, — это евреи: тут настоящая инстинктивная вражда, не что-то «воображаемое», как у какого-нибудь «вольнодумца» или социалиста, — на черта мне нужны вольнодумцы. Итак, мы должны обеспечить себе все решающие потенции этой расы в Европе и Америке, — кроме того, такому движению требуется крупный капитал» (из письма, относящегося к декабрю 1888 г.).

15 декабря — посылает издателю рукопись «Ницше против Вагнера» (выходит из печати лишь в 1894 г.).

1889

2 января — завершение работы над рукописью стихотворных «Дионисовых дифирамбов».

3 января — наступает срыв и катастрофа. Ницше рассылает многочисленные краткие письма («Мир преображен, ибо Бог сошел на землю. Разве не видите вы, как радуются небеса? Я только что вступил во владение своим царством, я брошу папу в застенки и велю расстрелять Вильгельма, Бисмарка и Штёкера. — Распятый» — одно из писем этого дня).

8 января — Франц Овербек приезжает из Базеля в Турин и увозит с собой Ницше.

10 января — Ницше поступает в Базельскую клинику нервных болезней.

18 января — Ницше перевозят в Психиатрическую клинику Йенского университета.

1890

С 13 мая Ницше живет у матери в Наумбурге.

1894

Основание Архива Ницше в Наумбурге сестрой Елизаветой Фёрстер-Ницше (с 1896 г. Архив находится в Веймаре).

1897

Сестра переезжает вместе с Ницше в Веймар.

1900

25 августа — Ницше умирает в Веймаре.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>А.В. Михайлов. Вместо предисловия. Несколько слов о книге Ницше «Так говорил Заратустра»</i>	3
---	---

ТАК ГОВОРИЛ ЗАРАТУСТРА. **Книга для всех и ни для кого** (перевод *Я. Голосовкера*)

[ЧАСТЬ ПЕРВАЯ]

ПРЕДИСЛОВИЕ ЗАРАТУСТРЫ	29
РЕЧИ ЗАРАТУСТРЫ	47
○ трех превращениях	47
○ кафедрах добродетели	49
○ Об иномирниках	52
○ презрителях тела	56
○ радостях и страстных страданиях	58
○ бледном преступнике	60
○ чтении и письме	63
○ дереве на горе	65
○ проповедниках смерти	68
○ войне и воинской братии	70
○ новом идоле	72
○ базарных мухах	75
○ целомудрии	79
○ друге	80
○ тысяче и одной цели	83
○ любви к ближнему	85

○ пути создателя	87
○ старых и молодых женках	90
Об укусе ехидны	93
○ ребенке и браке	95
○ свободной смерти	97
○ дарящей добродетели	100
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	107
Дитя с зеркалом	109
На островах блаженных	112
○ сострадательных	115
○ жрецах	118
○ добродетельных	121
○ сволочи	125
○ таранулах	128
○ прославленных мудрецах	132
Ночная песнь	135
Песня-пляска	137
Песнь надгробная	140
○ самопреодолении	144
○ возвышенных	147
○ стране образованности	150
○ непорочном познании	153
Об ученых	157
○ поэтах	159
○ великих событиях	162
Прорицатель	167
○ спасении	171
○ человеческой мудрости	176
Час тишайшей тишины	179
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ	183
Странник	185
○ видении и загадке	189

О блаженстве поневоле	195
Перед восходом солнца	198
Об умаляющей добродетели	202
На горе Масличной	209
О прохождении мимо	212
О вероотступниках	216
Возвращение	220
О трех злых бесах	225
О духе тяжести	230
О старых и новых скрижалях	235
Выздоровление	260
О великом желании-чаяньи	267
Другая песня-пляска	271
Семь печатей (или Песнь о «да» и «аминь»)	275
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ	281
Жертва медовая	283
Крик в беде	287
Разговор с королями	291
Кровососная пиявка	296
Кудесник	300
Безработный папа	307
Урод из уродов человеческих	312
Добровольный нищий	318
Тень	323
В полдень	327
Приветствие	330
Вечеря	337
О высшем человеке	339
Песнь тоски-уныния	353
О науке	358
В кругу дочерей пустыни	361
Пробуждение	368
Праздник во славу осла	372

Песнь бродящих в ночи	376
Знамение	386

СТИХОТВОРЕНИЯ (перевод *В. Микушевича*)

Ессе homo	393
К Гёте	394
Сильс-Мария	395
С высоких гор	396

ИЗ «ДИОНИСОВЫХ ДИФИРАМБОВ»

Ты шут! Ты поэт!	399
Огненный знак	402
Солнце садится	403
Жалоба Ариадны	405

ИЗ НЕ ОПУБЛИКОВАННЫХ ПРИ ЖИЗНИ СТИХОТВОРЕНИЙ И ФРАГМЕНТОВ

Песни и изречения	409
Ночь; и опять над крышами... ..	409

Стихотворения и фрагменты осени 1884 года

Любя злых	410
Утомленные миром	411
По ту сторону времени	411
Спинозе	412
Причуды сострадания	412
Ответ	412

Фрагменты лета 1888 года	413
---------------------------------------	------------

Примечания к стихотворениям (<i>А.В. Михайлов</i>)	431
--	-----

<i>А.В. Михайлов. Стихотворения Фридриха Ницше</i>	433
<i>А.В. Михайлов. Фридрих Ницше: несколько избранных страниц</i>	448
Краткая хроника жизни и творчества Фридриха Ницше	497

Фридрих НИЦШЕ
Так говорил Заратустра
Стихотворения

Редактор *В.П.Гайдамака*
Художник *В.К.Кузнецов*
Художественный редактор *Г.А.Семенова*
Технический редактор *В.А.Юрченко*

ИБ № 19843
ЛР № 060775 от 25.02.92.
Подписано в печать 02.11.94. Формат 70×1081/32.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл.печ.л. 22,38. Усл.кр.-отг. 22,73. Уч.-изд.л. 27,87.
Тираж 5000 экз. С 122. Заказ № 867
Изд. № 49204

А/О Издательская группа «Прогресс».
119847, Москва, Зубовский бульвар, 17

Можайский полиграфический комбинат
Комитета Российской Федерации по печати
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93

ВЫЙДЕТ В СВЕТ

Н.Ф.Федоров. Сочинения в 4-х томах. Том I

Собрание сочинений русского религиозного мыслителя Николая Федоровича Федорова (1829—1903), родоначальника традиции активно-эволюционной, активно-христианской мысли, является первым научным и практически полным изданием его трудов. Оно составлено на основе двухтомной «Философии общего дела» (1906—1913), прижизненных публикаций статей мыслителя в русской периодике, а также большого числа неопубликованных материалов к III тому «Философии общего дела»; снабжено вступительной статьей, знакомящей с жизнью и основными идеями Н.Ф.Федорова, а также обширным содержательным и фактическим комментарием.

Первый том включает в себя главные и наиболее объемные сочинения Н.Ф.Федорова. Это «Вопрос о братстве и родстве... Записка от неученых к ученым» в 4-х частях; большая работа «Собор», примыкающая к «Записке» и составляющая как бы 5-ю ее часть (она представляет эстетические воззрения мыслителя); «Супраморализм или всеобщий синтез» — краткое, афористическое изложение учения «всеобщего дела» в виде двенадцати «пасхальных вопросов»; статей «Проект соединения церквей» (задумывалась как одно из предисловий к «Записке») и «Выставка 1889 года».

ВЫЙДЕТ В СВЕТ

Н.Ф. Федоров. Сочинения. Том 2

Второй том Собрания сочинений русского религиозного мыслителя Н.Ф.Федорова составлен на основе статей второго тома «Философии общего дела», а также некоторых работ первого тома (издания 1906—1913 гг.). В него вошли: статьи религиозного содержания, раскрывающие федоровские идеи активного христианства, обращения догмата в заповедь, условности пророчеств о кончине мира, а также статьи на евангельские темы и сюжеты — о Лазаре, Великом Пятке, благоразумном разбойнике, сотнике у креста; философские статьи, в которых в русле своего проективного, воскресительного видения Федоров дает характеристику основных философских категорий: свободы и необходимости, причины и следствия и т.д., высказывает некоторые антропологические и историсофские идеи («Горизонтальное положение и вертикальное — смерть и жизнь», «О начале и конце истории», «К спору о трех Римах» и т.д.), раскрывает свое отношение к западной, преимущественно немецкой, философии (Канту, Фихте, Шопенгауэру, Ницше) и к русской мыслительной традиции (славянофилы, В.Соловьев); целый ряд работ Н.Ф.Федорова об искусстве, полагающих основу его эстетике жизнетворчества. Отдельный раздел тома составили статьи о регуляции природы и умиротворении. Включены также большая статья «Музей, его смысл и значение» и две работы из I тома: «Самодержавие» и «Разоружение».

Новый книжный магазин
Издательской группы
«ПРОГРЕСС»

«ЧЕЛОВЕК ЧИТАЮЩИЙ»

предлагает
оптом и в розницу

книги по философии, истории,
географии, экономике,
языкознанию, словари,
энциклопедии,
художественную литературу

без посредников
по минимальным ценам.

Мы ждем Вас каждый день,
кроме воскресенья,
по адресу:
Зубовский бульвар, д. 17,
проезд: метро «Парк Культуры»,
магазин «Человек читающий»
(в здании «Издательская группа
«Прогресс»)

тел. 245-14-55

